

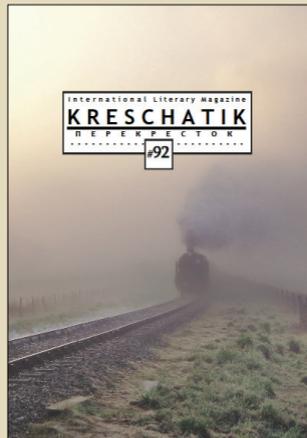


International Literary Magazine
KHRESCHATYK
П Е Р Е Х Р Е С Т Я
.....

#98

KHRESCHATYK
International Literary Magazine

#98



Международный
литературно-
художественный
журнал

Главный редактор

Борис Марковский (*Бремен*)

тел. (+49) 421-522-647-65

borismark30@T-Online.de

borismark30@ukr.net

borysmarkovskiy90@gmail.com

kreschatik@rambler.ua

Зам. гл. редактора

Елена Мордовина (*Маастрихт*)

Редакционная коллегия

Татьяна Ретивова (*Киев*),

Максим Матковский (*Киев*),

Александр Спренцис (*Киев*),

Виталий Амурский (*Париж*),

Борис Херсонский (*Одесса*)

Александр Моцар (*Киев*),

Технический директор

Павло Маслак (*Киев*)

Год издания двадцать пятый

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:

B. Markovskiy, Kornstr. 22

28201 Bremen, Deutschland

<http://www.kreschatik.kiev.ua/>

Журнал выходит 4 раза в год

ISSN 1619-2966

© Крещатик, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ / ЗМІСТ

Поэзия / Поезія

Геннадий Кацов / <i>Нью-Йорк</i> /	«Даже если не твоя война...»	5
Ігор Павлюк / <i>Львів</i> /	Прокляття волхвів	146
Андрей Гуцин / <i>Киев</i> /	Из цикла «Спасение бабочек»	161
Римма Маркова / <i>Стокгольм</i> /	Из цикла «Как жить теперь?»	182
Галина Комичева / <i>Киев</i> /	«Я сослана в себя...»	201
Имильян Дорошенко / <i>Винница</i> /	«Солнце встало из-за горизонта...»	227
Илья Иослович / <i>Нешер</i> /	«В другой стране из старых клеток...»	243
Олександр Спренціс / <i>Київ</i> /	Візерунки долі	263
Єлена Дорофієвська / <i>Вишгород</i> /	«спатиму снитиму...»	295
Марина Борисполець / <i>Київ</i> /	«Але ж ти був. І дощ звучав, як рок...»	307
Ксения Туркова / <i>Вашингтон</i> /	«Привіт, отримала фото?..»	320
Дмитрий Близнюк / <i>Харьков</i> /	«бомбоубежище...»	326

Проза

Николай Караменов / <i>Александрия</i> /	Тоска по Лозен. <i>Повесть</i>	13
Владимир Матвеев / <i>Киев</i> /	Тоска. <i>Фантастический роман</i>	82
Игорь Шестков / <i>Берлин</i> /	Кома. <i>Рассказ</i>	154
Андрій Бульбенко, Марта Кайдановська / <i>Київ</i> /	Сиди й дивись	184
Инна Халяпина / <i>Эрфурт</i> /	Цветочек Аленька. <i>Рассказ</i>	204
Элина Свенцицкая / <i>Киев — Рим</i> /	Весеннее обострение	246

Переклади

Максиміліан Волошин / <i>1877–1932</i> / <i>Переклад Володимира Туленка</i>	Ангел покарання	78
Юлія Шекет / <i>Київ</i> /	Поміж зеленим і зеленим	337

Драматургія / Драматургія

Олег Миколайчук-Низовець / <i>Київ</i> /	Каштан і конвалія	164
Елена Мордовина / <i>Маастрихт</i> /	Новые слова	228

Контексты:

эссеістыка, крытыка, бібліяграфія

Борис Марковский / <i>Бремен</i> /	Скиталец с набережной Анжу	271
Илья Иослович / <i>Нешер</i> /	Мульнда	299
Александр Протасов / <i>Киев</i> /	Случай с ангелом	310
Виталий Амурский / <i>Париж</i> /	Бродский, которого я не знал	322
Людмила Загоруйко / <i>Широкий Луг</i> /	Непомерно тяжкий груз	330
Михаил Окунь / <i>Аален</i> /	Секция поэзии	340
Бахыт Кенжеев / <i>Нью-Йорк</i> /	На языке недруга	346



Геннадий КАЦОВ

/ Нью-Йорк /

«ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ТВОЯ ВОЙНА...»

* * *

искать и находить в развалинах слова,
то, что осталось в них, произнести осталось:
от лисичанска часть, треть в имени славянск,
да половина, слава богу, от полтавы

от сколково осколки, от москвы — фрегат,
который сбился с курска и пошёл маршрутом
на х: в херсон, в ходессу, хоть в халининград,
поскольку х — везде (не z, но тоже круто!)

разбомбленный словарь — добыча воронья,
в кружке последней ю в «люблю» зияет рана,
ведь я — о, ё-моё! — моё живое я,
как клара, у которой карл украл кораллы

все буквы умерли и нечего сказать —
лишь кариес во рту да тишина музея,
и оттого «россия-чемодан-вокзал»
беззвучней, чем «россия-лета-лорелея»

* * *

месть без сна рядом с местным снарядом и
инны насмерть разорваны минами:
два народа, меняясь нарядами,
неминуемо с постными минами

по засыпанному толью толику,
как по танькам, проехали танками —

джин расстрелян за то, что был с тоником,
он в бутылку вернулся останками

все олеси задушены лесками,
орки перестарались с тарасами...
киев, сумы, чернигов — полесье ли?
расияне — не высшая раса ли?

бог всем дан: путь богданами выложен
да маслично маричками марево —
их язык от отчаянья выражен,
будто принадлежит раскумаренным

где слова друг на друга словянами,
и глаголы рождаются голыми:
в цинках трупы лежат оловянные —
не пошло на солдат много олова

не вернутся олени из плена, не
васылям упокоенным лето их —
месть теперь унесёт поколения,
и как жить, как же жить после этого

* * *

воздеты к небу
зелёные деревьев рукава,
видна дорога,
как на расстрел рассветный путь к оврагу:
усталый путник,
людей за ним бредущих караван
идут на запад,
где им чужие страны, вроде, рады

как пилигримы,
проходят мимо капищ, городов,
погостов мимо —
им солнце слепит, ветер с ног сбивает,
о чём-то шепчут
и дневники ведут в формате док,
едва живые
свидетели, какой война бывает

теперь всё мимо!
уют домашний, служба, отпуска...
в грядущем пусто:
жизнь — это то, что в прошлое сложилось;

ведёт дорога,
живых и мертвых, вверх, за облака —
земля, похоже,
считает через одного, транжира

они проходят,
времен не замечая, мимо смен
руин, пейзажей,
погод и пагод, сцен и декораций:
путь бесконечен —
за шагом шаг, и ничего взамен,
ну, разве только
способность не стоять, не прерываться

и где-то фоном
места для подвига, взрыв в сотни солнц!
судьба мгновенна —
без права на оазис путь длиннее:
чернобыль, сумы,
одесса, буча, черновцы, херсон...
букет названий,
как будто флора из трудов линнея

* * *

он был чем историчней, тем глобальнее —
всегда, с поправкой на реинкарнацию:
то одиссеем в хрень девятибальную,
ушедшим за моря в спецоперацию

то фараоном, что по морю красному,
преследовал евреев моисеевых,
а то татар-монголом — пид@расами,
в славянок всё разумное посеявших

видать, в одной из жизней был он гитлером,
что значит, для своих — капризным лапочкой,
веганом, пьющим соки в сутки литрами,
собак выгуливающим в *гесталочках*

иосифом, в другой из жизней, с талией
ален делона, но в военном кителе,
с такими, всем на зависть, гениталиями,
каких с тех пор нет ни в москве, ни в питере

он был в последней жизни собирателем
земель, как энтомолог — праздных бабочек,

как спецслужбист — полония и радия,
и как канеттофил — консервных баночек...

антихрист жив, и ни к чему рыдания:
лицом всех ставит к стенке — что логичнее?
разрушит и европу, и британию,
но ничего, как говорится, личного

метампсихоз, никем не победимое
сансары колесо из ноутбука —
и фюрер вновь в «медузе»¹ мать родимую
в картине франца узнаёт фон штука

* * *

мир худее в наши времена
с каждым днём — жиган, продажный выжига:
даже если не твоя война,
всё равно усохнешь, вряд ли выживешь

привыкаешь: время — делит блиц
жизни на своих и неприятеля:
быт без гаубиц и без убийц
не представить в этих обстоятельствах

часть пространства ночью — хрупкий неф,
охраняемый мотоколоннами:
днепр куинджи — обнажённый нерв
с репродукции, заснятой дронами

речь воды проточной не про то,
чем душа под душем успокоится —
накрывает мировой потоп
так, как не напишут в жёстких комиксах

поднимая средний палец, шлешь
крейсер и команду всю идитенах!,
лишь бы убер алес ни за грош
их туда доставил без водителя

явь воронки — там, где стол был яств —
залповым огнём из севастополя...
ясень у меня спросил, ветвьась:
«что б отсёк ты топором у тополя?»

¹ Гитлер узнал свою мать на одной из картин Франца фон Штука «Медуза».

* * *

всё, что надёжно вписалось и прямо,
взгляд успокаивает; в панораму —
катет, коль горизонтально лежит:
гипотенузой в открытую рану
лезвие входит, хоть ты ещё жив

взрыв, словно пенделя дал стеклотаре:
«то, что банально, — внесла ханна арендт
в свой ежедневник, — известное зло!
если народ и честь нации в паре,
значит, народу вконец повезло»

жизнь — вещь вовне, но парящая плавно,
вроде несбитого аэроплана,
как лёша парщиков видел во сне,
сон добавляя от пола целана:
смерть дирижабля в кипящем огне

что-то её отличает от яви —
вход за пятак и немаркие хляби,
с мёртвыми пир, да любовь, да совет...
там соловью подражает алябьев
и посвящает петрарке сонет

«чем бы ни тешилось, лишь бы не бредил, —
определял в разговоре канетти
что есть в условиях рейха дитя, —
власть — это масса почти на две трети,
и лишь на треть — вечный фейк в новостях»

не навреди! — осторожно взяв скальпель,
снять по привычке дорожные скальпы:
«путь, — утверждал пред войной беньямин, —
это с собой диалоги по скайпу,
весь, между прошлым и будущим, миг»

«быть, всё же, лучше! не быть — некрасиво, —
в чём был уверен юкио мисима —
вождь всех племён и мудрец тех времён, —
мир — это войны за инфинитивы,
если артикль нам неопределён»

«мы дурака под одеждой валяем!» —
с подиума утверждал келвин кляйн,

сразу под модный попав артобстрел;
«я не встречал тех, кто был бы вменяем», —
в рифму медбрат прошептал медсестре

* * *

нефть дорожает, киснет молоко,
смерть, как и жизнь, тебе даётся даром:
шрифт брайля дети выучат легко,
и внуки наши будут верить в дао

всех даун телезрителей спасёт
в финале сериала про фашистов!
сегодня бог душевнее, чем чёрт
вчера, а завтра — чем душа душистей

фаустпатрон так гёте сочинил,
чтоб в тексте было не найти вердикта —
зачем её садистки расчленил
орфей, когда спустился к эвре дикой

канада ближе, дальше всех луна —
ковид к ней подобрался незаметно,
сеть кратеров оставила война,
всё довершит крылатая комета

где в огороде бузина, с тех мест
до дядьки в киеве — полжизни цугом,
плюс жизнь взаимы, железный минус крест
за то, что так вот всё сложилось, сука!

* * *

я утром был убит одним из лучших дронов,
увы, но лучше выдумать не мог уже:
как хороши, как свежи были рододендроны,
а анемоны даже были посвежей

стоял июнь в моём последнем воскресенье,
и паутину перед взрывом сплёл паук,
всё было так: сплетенья ног, судьбы сплетенья!
как предсказал поэт и мне — сплетенья рук

я в этот миг был далеко от украины,
но смерть летала в общем небе голубом:
— мы все, оглядываясь, видим лишь руины, —
как мне сказал перед таверной старый бомж

изба горела вместе с женщиной с младенцем,
пока коврово дрон округу покрывал, —
вполне возможно, потому что в раннем детстве
я рыбий жир не пил, и не любил овал

тимур с командой плыл в колхиду самотёком,
когда читал я в первом классе «филиппок»,
со школы веря, что спасёт всех дядя стёпа
и добрый доктор по фамилии *будьспок!*

теперь убит, и больше ни к чему рыдания:
мы все уже на берегу морском с утра —
и смерти брат уйдёт со мной в такие дали,
где адекватна будет жизнь моя сестра

* * *

течёт река весной текущей вспять,
оставив в устье остов субмарины
и край земли, её за пядью пядь,
где к маю дуб за дубом заморили,
да с февраля траву травили

вода мертва — ей прострелили о,
два раза аш, и вылили с младенцем
на клумбы, где засохших миллион
роз алых от херсона до одессы,
где о погибших мыслям тесно

ни дать, ни взять — покойникам покой;
в воронке ворон, печень разрывая,
то вспомнит по, то по грозит рукой
убитого — здесь все оху@вают:
война — и мир, прямой — кривая

вино — сухое, в истине вины —
через края в растресканных сосудах:
войнович с этой не придёт войны,
«не буду больше!» — слово даст иуда
и градом выстрелят оттуда

грозу в начале мая я прочёл
и список кораблей, придя с повинной:
«москва», как флагман, за двоих в зачёт
пойдёт — за букву «у», что у країны
не существует, за змеиный

бойцы, в сюжетных снах спрягая мат,
укрывши небом спины, не иначе,
перед атакой беспокойно спят
(давно ревет фагот, гудит набат) —
их вижу всех, заснув на даче...
и, как бессильно в детстве, плачу,
плачу

* * *

всё смешалось в доме ополченцев:
закаляют сталь, кричат «ура!»
женщины, подбрасывая чепчик,
без победы ходят на парад

и отцы, и дети без причины
«буревестник» шпарят наизусть —
здесь предельно счастливы мужчины,
что на всех хватает амбразур

за атаку не дадут награды,
с обороной также не склалось:
сфера раскололась на квадраты,
колет изнутри земная ось

коротка кольчужка, давит ворот,
дайте семь холмов — построим рим:
снова альпы перейдёт суворов,
взятие берлина повторим

вспомним мать — она домоет раму,
с мылом с милы соскребёт тату,
в gps введёт дорогу к храму
и спасёт от мира красоту

как писал в имейлах отстоевский
другу чехов: «дорогой антон!
в нас течёт будвайзер жигулёвский
и по-тихому впадает в дон»

а затем поляку: «шо, стакович!»
и «шо, пен!» корейцу — пей до дна
о былом прилепинскую повесть
и роман толстой «мир и война»

кто в ответе за болезни мозга
либо против? дал бы закурить!
гул затих, я вышел на подмостки —
и не знаю, с кем заговорить



Николай КАРАМЕНОВ

/ Александрия /

ТОСКА ПО ЛОЗЕН

Посвящается Людмиле Кузнецовой

1

Лейтенант Юджин Гейтвуд просто закрыл глаза и попытался отрешиться от ударов летящего песка: смерч неумолимо приближался, а рота кавалеристов, изнурённая жарой, обречённо застыла на лошадях. И песок накрыл солдат, вычеркнул на несколько секунд их присутствие в пустыне, словно солнце, так и не раскалив до состояния огня кустики травы, сотворило нечто подобное индейской скрипке, где роль палочки для добывания огня выполняла высокая колонна смерча, дугой лука служила выпуклая в голубизну высь, тетивой — горизонт, а усталые всадники на тощих лошадях являлись стружками, обязанными укрыться языками пламени, лишь только вращающаяся воронка пройдёт по ним.

Горячий песок ударил по лицам, заскрипел на зубах, и рота канула в небытие или оказалась так далеко на севере, где о ней уже никто не вспоминал.

Лозен стояла на лошади, чтобы лучше обозреть тело пустыни. Проследив глазами передвижение смерча, она отметила, как тот всосал в свою воронку роту синих мундиров, однако не стала думать, что они исчезли, ибо рассматривала их отрешенно, без ненависти и без сочувствия, то есть именно так, точно пустыня вычеркнула из присутствия на своем теле именно ее, Лозен, а изнуренных белоглазых превратила в статуи, высеченные из глыб песчаника.

Смерч так же внезапно покинул кавалеристов, как и накрыл, и все солдаты и лейтенант Гейтвуд в самом деле обрели новый облик. Бешено вращаясь, колонна смерча уходила к восточной стене плато Могольон, а белоглазые за несколько секунд до того, как начали двигаться, стирать с лица пыль и отряхивать песок с одежды, выглядели, словно водруженные на равнине монументы забвения.

— Это утренний вздох, — сказал скаут Белой горы Серый Призрак. — Больше смерча не будет, а будет невыносимо ясно.

Лозен неподвижно высилась на спине лошади, наблюдая за еле различимыми точками на севере. Гибкий и раскачивающийся уход колонны смерча породил между отрядом солдат и воинами Лозен пространство вакуума, из-за чего воздух с юга устремился к плато Могольон и создал движение напористого ветра, — две тонкие седые пряди в её волосах затрепетали, словно дорожки луны на ночной воде, а сама она подумала: «Или нам придется сразиться с ними, или мы и они погибнем от жажды».

— Источники воды можно найти в ущельях Могольон, Лозен, — сказал Аллинрильо, худой и обгоревший на солнце до черноты, — или у подножия возвышенностей.

— Они должны быть там? — спросил лейтенант Гейтвуд. — Ведь там же, Серый Призрак?

Серый Призрак ничего не ответил, а внимательно и выжидающе посмотрел на лейтенанта.

Тыльной стороной ладони Гейтвуд вытер лицо от налипшего на него песка, а затем потянулся к под сумку и достал из него массивный армейский бинокль.

Лозен только сузила глаза, когда далеко на севере блеснули два крохотных солнечных зайчика.

— Я тоже их увидел, Лозен, — сказал Гиасиндо. — Наверное, на нас навели бинокль.

— Кажется, что глаза этого солдата плавают в зеркале мерцающего кварца, — задумчиво произнесла Лозен.

— Единственное место, где здесь можно плавать? — спросил, улыбаясь, Гиасиндо.

Лозен тоже улыбнулась, но грустно.

— Кто знает... — ответила она.

Лейтенант Гейтвуд, до боли прижав к векам бинокль, смотрел на Лозен, но она была слишком далеко, чтобы он мог разглядеть ее лицо, хотя четко различал изящное женское тело, высящееся над напряженно застывшей аппалузой. С его мундира опадали песчинки, и сам он, желтовато-серый от пыли, походил на вырытого из земли человека, который сразу, лишь только восстав, начал пристально смотреть на юг, как на нечто недостижимое, как на то пространство и на то время, которые были до его гибели и до его погребения.

— А она стройная, — сказал лейтенант Гейтвуд, продолжая наблюдать за Лозен в бинокль.

Серый Призрак ничего не ответил. Он окинул лейтенанта пронизательным взглядом, однако очерченные логикой мысли в его сознании не родились: смутные образы, всплывшие из прошлого, словно из далёких пределов равнины, отразились на его радужницах и, заполнив смутным свечением воспоминания, начали уходить к горлу и к сердцу, так что самому скауту Белой горы привиделось, что он начинает плавать в зеркале мерцающего кварца.

«Знает ли он ее лицо?», — одновременно подумали друг о друге лейтенант Гейтвуд и Серый Призрак, но Серому Призраку было труднее не подать об этом виду, сделать так, чтобы лейтенант ничего не заметил, ибо Гейтвуд прикрыл свои глаза биноклем, и только его губы, блуждающие тихой улыбкой, могли бы поведать, что он заинтригован, о чем и догадался скаут Белой горы, и еще пристальнее, еще пыливее посмотрел на своего командира.

Много позже, когда Серого Призрака посадили на лошадь, сорвали с его мундира нашивки сержанта американской кавалерии, а шею стянутой верёвкой, перекинутой через ветку платана, он смотрел на лейтенанта грустно и ласково.

Два солдата схватились за веревку, а сержант Пол Осборн вытянул из-под ствола карабина шомпол и размахнулся, чтобы полоснуть сталью коня.

— А ведь никто не выстрелил в Лозен, — успел сказать Серый Призрак. — Никто не осмелился.

Осыпающийся песчинками и похожий на термитник с ползающими на нем рыже-желтыми насекомыми к Гейтвуду подъехал сержант Осборн, а Лозен, усевшись на спину аппалузы, дернула направо удила, и когда лошадь развернулась, на лице предводительницы застыли пристальные взгляды Гиасиндо и Аллинрильо, потому что она должна была им что-то сказать, обнадежить или опустошить сердца своих воинов хотя бы маленьким просветом в не омраченное будущее либо предсказанием их гибели.

Она посмотрела на них, словно видела впервые.

«Он гадает, какое у меня лицо. Этот белоглазый, что навел на нас бинокль», — подумала Лозен.

— Все хотят увидеть твоё лицо, Лозен, — сдержанным тоном сказал Аллинрильо, и две седые пряди в волосах Лозен как бы отяжелели, стали серебряными или платиновыми, поэтому и вырвали её левый висок перпендикулярно к земле, и мечта Лозен вонзилась в землю, и там и погасла.

— Аллинрильо, — сказала она, но не обратилась к нему, что он и заметил, а вслух вернулась к мысли об Аллинрильо, ибо с кем она могла еще посоветоваться? Разве что с Наной? Но Нана был далеко.

— Можно бинокль, лейтенант? — спросил Пол Осборн.

Гейтвуд оторвал от глаз бинокль и передал его сержанту.

Осборн долго, беззвучно шевеля губами, процеживал взгляд сквозь линзы, а затем вернул бинокль Гейтвуду.

— Похоже, что чирикахау, — сказал он. — Три человека. Они удаляются на юг.

Его глаза блеснули, и он выжидающе посмотрел на Гейтвуда.

— Что еще, Осборн? — спросил лейтенант. — То, что это, скорее всего, чирикахау, я тоже заметил.

— Просто такое впечатление, — извиняющимся тоном ответил сержант, — словно этих чирикахау поглощает черта горизонта. Что

она, как удар или след от удара, и апачи просто исчезнут или будут смяты. Как это объяснить, лейтенант?

После приговора, вынесенного военным трибуналом, далёкий отрезок горизонта, что смял апачей и запечатлелся в плотно сжатых губах Серого Призрака, вскинулся натянутой, как струна, веревкой от шеи скаута Белой горы к толстой ветке платана. Никто не удосужился даже соорудить примитивную виселицу, как обычно делали после подобных приговоров военно-полевого суда. «Для краснокожего достаточно», — процедил кто-то сквозь зубы и презрительно сплюнул.

Лейтенант перевел на Осборна недоуменный взгляд, но ничего не ответил. На слова сержанта отреагировал Серый Призрак, изучающе и немного насмешливо скользнув по лицу Осборна желто-коричневыми глазами.

— Смяты безжалостностью, — сказал он, и от его слов Гейтвуд неестественно выпрямился, а Серый Призрак уже точно знал, что лейтенант, хотя и не отдает себе отчета, уходит мыслями к Лозен и, возможно, никогда в нее не выстрелит. Да ведь он много позже и запишет слова Серого Призрака в свой дневник: «А ведь никто не выстрелил в Лозен. Никто не осмелился».

Когда натянутая веревка, точно пущенная стрела, устремилась в небо, а конь с ровной кровавой отметиной на своем крупе помчался к горизонту, Гейтвуд, отвернувшись и, до крови закусив зубами нижнюю губу, подумал: «Но ведь все это было безумием. Безумием от начала и до конца».

Лейтенант Гейтвуд часто вспоминал, что Серый Призрак, глядя на далекое облако пыли, оставленное умчавшимися чирикахуа, очень тихо проговорил несколько слов. Среди них было слово Уссен. И после объяснения Серого Призрака Гейтвуд уже знал, что Уссена или Дитя Воды чирикахуа считают своим первопредком. Но он запомнил и остальные слова. Голос скаута был наполнен таким чувством благоговения, что, спустя много дней после его казни, Гейтвуд, разговаривая с несколькими разведчиками Белой горы, попросил их перевести ему остальные слова, произнесенные Серым Призраком на языке апачей.

— Пусть поможет тебе Уссен, девочка, — сказали ему апачи Белой горы. — Вот что сказал твой скаут.

2

Конь, обезумев от боли, взметнул копытами землю и помчался к горизонту, словно надеялся навсегда убежать от человеческой жестокости. Из того места, где он взрыхлил почву, серым облаком начала подниматься пыль и окутывать собой и казненного Серого Призрака, и раскидистый платан, от которого в мутной пелене виднелись только толстые ветви, похожие на вены на жилистых руках

апача Белой горы. Серый Призрак был Серым Призраком, и последнее, что совершила беспощадная действительность, это окутала его мертвое тело серой пылью. Он исчез в белесом дурмане, в растекающемся и набухающем над землей сером бельме, но под бельмом, во внутреннем взоре все еще раскачивалось на веревке его безжизненное тело так рядом со скачущей по пустыне Лозен, как только можно вообразить или измыслить.

«Этого коня подхватит Лозен, — подумал лейтенант Гейтвуд после казни Серого Призрака, — на полном скаку, не замедляя бешеной скачки. Схватит за поводья, а затем, окинув своих воинов пылающими от гнева глазами, крикнет: «Аллинрильо! Приведи этого коня на то месте, где Серый Призрак прикрыл нас собой и спас!»

Где-то с пол мили Лозен и два ее воина очень быстро гнали лошадей, чтобы скорее покинуть зону, которую белоглазые могли просматривать, пользуясь биноклем. Когда они решили, что находятся вне поля зрения синих мундиров, перешли на шаг, да и Гиасиндо сказал, хотя и Лозен, и Аллинрильо хорошо об этом знали, что лошади больше не выдержат и их придется убить.

Лейтенант Гейтвуд снова поднес бинокль к глазам и долго смотрел, как три еле различимые чирикахау, можно было только разглядеть, что это женщина и двое мужчин, неумолимо удаляются и будто просачиваются в землю. Он облизал языком губы, и на его зубах снова заскрипел песок.

— Мы можем их догнать? — спросил он скаута Белой горы.

— Сейчас нет, — ответил Серый Призрак. — Наши лошади тоже ослабли. Чирикахау ускакали в направлении, параллельном стене Могольон, к тому же нас намного больше.

— Что ты хочешь этим сказать, Серый Призрак? — спросил лейтенант Гейтвуд, почувствовав, что скаут точно знает, что делать роте кавалеристов.

Пятидесятирехлетний Серый Призрак выпрямился. Стройный и сухощавый он почти на два дюйма был выше Гейтвуда, но никогда не смотрел на него свысока, а, скорее, как всегда отмечал лейтенант, задумчиво, терпеливо и еще с каким-то странным выражением в глазах, говорящем о смирении.

— Там, — Серый Призрак указал рукой направо, — у стены плато Могольон мы можем найти воду. Если вы отсюда можете разглядеть, стена высокая и пологая, лейтенант.

— А Лозен и ее воины? — спросил Юджин Гейтвуд. — Чтобы отыскать воду, им тоже необходимо повернуть к стене Могольон?

Лейтенант спросил о Лозен очень тихим голосом, почти шепотом, чтобы его не услышал сержант Осборн, уже удаляющийся к остальным кавалеристам.

Верхние веки Серого Призрака налились тяжестью, и он на несколько секунд закрыл глаза.

— Да ведь вы даже не видели ее лица, лейтенант, — как-то очень бережно и, словно превозмогая себя, сказал Серый Призрак.

Конь, на котором сидел Гейтвуд, начал медленно, равномерно ударяя копытами о землю, поворачиваться на месте, хотя лейтенант никакой команды ему не давал. Мнилось, что Гейтвуд удаляется от Серого Призрака и пытается ухватиться за взгляд его желто-коричневых глаз, становящихся все более отрешенными.

Серый Призрак это заметил и, чтобы не смотреть на Гейтвуда, перевёл взгляд к стене Могольон.

— Все равно, лейтенант, — глухо прозвучал его голос.

— Она стройная, — сказал Юджин Гейтвуд, скользя взглядом над поверхностью пустыни. — Очень стройная. Лозен стояла на лошади, а ветер, устремившись за смерчем, взметнул на ней подол юбки и обнажил её ноги до самых бедер.

Серый Призрак и Юджин Гейтвуд продолжали разговаривать, стараясь не смотреть друг от друга: скаут, возвышаясь на лошади, уходил взглядом к высокой стене, а Гейтвуд, пытаясь сдержать своего коня, поворачивающегося на месте против часовой стрелки, постоянно отводил глаза на восток.

— Все равно, — сказал Серый Призрак, — вам бы не удалось ее рассмотреть, если бы она не стояла на спине аппалузы.

Гейтвуду показалось, что голос скаута донесся как бы издалека, точно Серый Призрак находился у подножия высокого плато.

— И почему, — снова он обратился к Серому Призраку, — почему ветер рванул ее юбку? Почему так случилось?

Серый Призрак начал медленно отводить взгляд от высокой стены.

— Она обратила внимание на вспыхнувшие линзы бинокля, и только потом осмотрела вас с головы до ног, — сказал скаут.

— Твои глаза, Лозен, твое лицо, — говорил ей семидесятипятилетний Нана, когда она после долгого перехода обнимала его и жаловалась:

— Я так устала, Нана. Так устала...

А Нана, стараясь успокоить её, доверительно говорил:

— Ты смотри им прямо в глаза, Лозен, но рассматривай их, словно они находятся далеко. И никто из них перед тобой не ус-тоит.

Как только он произносил своё напутствие, сразу же принимался теребить гриву коня или поправлять на поясе ножны.

— А ты, Нана? — спрашивала Лозен, приближаясь к старику широко открытыми глазами.

Нана отводил взгляд в сторону и растерянно улыбался.

— Я давно живу под твоей юбкой, девочка, — отвечал он с доверительными нотками в голосе, а когда вновь встречался с глазами Лозен, они вдвоем начинали хохотать до колик, заливаясь смехом.

— Почему? — задумчиво спросил Серый Призрак, а затем повернулся к Гейтвуду, так что поводья, которые он придерживал левой рукой, натянулись, и конь под ним встрепенулся. Горло Гейтвуда пылало от жажды и от проглоченного песка.

— Потому что все любят Лозен, — хриплым голосом сказал Серый Призрак и снова отвернулся к высокой стене плато Могольон.

3

Тень калифорнийского грифа, как нечто глубоководное и колеблющееся плоским телом над поверхностью дна, на секунду отпечаталась на земле возле низко склонившегося Серого Призрака, внимательно рассматривающего следы от копыт.

— Было три лошади, — сказал Серый Призрак, упруго выпрямившись.

— То есть с Лозен только два воина? — спросил лейтенант Гейтвуд и посмотрел в небо в надежде на мимолетную тень, которая, возможно, скользнула бы по его лицу, если бы гриф не долетел до стены плато Могольон и решил поворачивать обратно. «Единственная тень, на которую мы можем надеяться, и та быстротечная», — подумал он.

Серый Призрак скупно улыбнулся, но лицо его оставалось суровым.

— Нам необходимо поворачивать к стене Могольон, — сказал он.

— А чирикахау? — спросил лейтенант Гейтвуд.

— Их может оказаться больше, не только Лозен и два воина. Чирикахау редко передвигаются всей группой, даже если это крошечный отряд. Если их будет четыре человека, они разделятся на две пары, чтобы дробить силы преследователей или уводить их по ложному следу. А соединяются они в условленном месте при благоприятных обстоятельствах, когда уверены, что оторвались от кавалерии и им не грозит опасность. По крайней мере, очевидная опасность.

— Но мы выследили апачей, Серый Призрак. Они, наверное, сейчас в панике, ведь их лошади ослабли.

— Апача, который находится в военном походе, невозможно увидеть, — сказал Серый Призрак. — Вы можете увидеть его за секунду перед своей смертью или короткое время после выстрела, когда чирикахау вас продырявил, и вы начали отдавать Богу душу. Чирикахау невидимы.

— Ну а, если, их видят, что тогда? — недоверчиво спросил лейтенант Гейтвуд.

— Кого — военный отряд? — улыбнулся Серый Призрак. — Военный отряд невозможно заметить, увидеть, узреть. Называйте, как хотите, лейтенант. Даже апачи Белой горы не могут этим похвастаться, к тому же все остальные тонто, хикарилья и явапаи. Чирикахау появляется, возникает, как из небытия, чтобы вас умертвить,

всего на считанные доли секунды, и сразу исчезает, будто его никогда и не было на этой Земле. Я не имею ввиду исключения.

— Тогда, что это было, Серый Призрак? Почему Лозен позволила мне увидеть себя, хотя и издалека? — обескураженно спросил лейтенант Гейтвуд. — Почему чирикахау показались перед нами на расстоянии выстрела из карабина спрингфилд?

— Какой-то хитрый замысел, о котором мы, возможно, никогда не узнаем. И я могу сделать только одно заключение, — холодно ответил Серый Призрак, — Лозен начала войну.

4

Но лейтенант Гейтвуд решил преследовать чирикахау. Могло случиться, что их только три воина. Апачи, почти исчезнувшие, однако оставшиеся зыбким отражением в глазах лейтенанта, хотя он все четко различал и не видел ничего, кроме пустынного горизонта, продолжали удаляться на юг. В длинных волосах одного из них трепетали две дорожки луны, а юбка периодически вздымалась от ветра, обнажая ноги в высоких мокасилах, так что Гейтвуду ничего другого не оставалось, как только подумать, что ночь и луна всегда зарождаются очень далеко, намного глубже той высоты, где расползаются белые и сиреневые клочья облаков.

— Трое? — спросил Серый Призрак. — Но это говорите вы, белоглазые. Дай-то Бог.

И, в самом деле, кавалеристы вначале ехали по следам трех лошадей. Затем, преодолев восемь миль, солдаты прочитали по следам, что тех апачей, которых они пытались догнать, поджидала еще одна группа из трех всадников, но через сто ярдов следы их расходились: три чирикахау поскакали на юг, а три повернули на восток.

— Чтобы сделать дугу, — сказал Серый Призрак. — Здесь воды нигде не найти, только возле стены плато Могольон. Это означает, что одна группа сначала поедет на восток, а затем повернет на юг и на юго-запад.

— А те, что поехали прямо на юг? — спросил лейтенант Гейтвуд.

— Они тоже рано или поздно обязаны повернуть на юго-запад, и, скорее всего, уже соединившись с теми, кто ускакал на восток. Чирикахау рассчитывают, что мы будем преследовать группу, направившуюся на юг, потому что нам опасно удаляться от плато Могольон. Ведь нам тоже необходима вода, и кто знает, если бы мы поскакали на восток, хватило бы у нас и у наших лошадей сил вернуться и дойти до высокой стены? Может случиться, что та группа, которая поехала на восток, через некоторое время начнет следовать параллельно группе, отправившейся на юг.

— Зачем? — спросил лейтенант Гейтвуд.

Серый Призрак облокотился на лук седла.

— Они будут передвигаться на таком расстоянии, — сказал он, — чтобы быть для нас невидимыми, но иметь возможность услышать выстрелы, если мы настигнем ту группу, которая ускакала прямо на юг.

— То есть вторая группа, если мы начнем перестрелку, ударит по нам с фланга или же с тыла?

— Вполне возможно, — сказал Серый Призрак.

— Такое впечатление, Серый Призрак, что ты не хочешь, чтобы мы преследовали Лозен.

Серый Призрак окинул лейтенанта Гейтвуда ледяным взглядом.

— Лозен никто не хочет преследовать, — сказал он. — Никто из тех, кто знает ее, кто слышан о ней или хотя бы видел ее, пусть даже издали.

— Но я преследую ее, Серый Призрак. И это ты предложил, чтобы мы сразу направились к стене Могольон. Я же решил догонять Лозен.

Серый Призрак задумался.

— Вы не преследуете Лозен, лейтенант.

— А что же я тогда делаю?

Серый Призрак сузил свои желто-коричневые глаза.

— Вы просто желаете еще раз увидеть ее. Но никогда в Лозен не выстрелите.

— Лозен, — сказал Нана, приехали апачи Белой горы. — Они хотят поговорить с тобой.

Лозен резко повернулась и обожгла черными глазами несколько худых и уставших белогорцев.

— Я буду купаться, Нана, — сказала она, сняла перекинутый через плечо патронташ, расстегнула, затянутый поверх блузки ремень с кобурой, отдала их Нане и медленно пошла к небольшому ручейку. Она сняла блузку перед самой водой и зашла в зеркало мерцающего кварца. Но никто не видел ее: апачи Белой горы деликатно отвели глаза в сторону и делали вид, что внимательно рассматривают высыхающие над ними зубцы скал. Краем зрения ее замечал только Нана, но любой, кто посмотрел бы на него, подумал бы, что Нана уходит взглядом вдоль ручья.

— Ты только смотри на них, девочка, — тихо прошептал самому себе старый Нана, — и никто из них перед тобой не устоит.

— Почему вы так уверены, что Лозен повернула на восток? — спросил лейтенанта сержант Пол Осборн, до этого с безучастным видом слушавший разговор Гейтвуда со скаутом Белой горы.

— В самом деле? — обратился лейтенант к Серому Призраку.

— Ну, — сказал Серый Призрак, — те трое лошадей, по следам которых мы ехали вначале, повернули на восток. Я хорошо это вижу по отпечаткам копыт и по шагу лошадей. На одной из этих лошадей ехала Лозен.

— Конечно, — согласился лейтенант Гейтвуд, — но некоторое время все шесть всадников скакали вместе, и Лозен на скаку могла пересечь на другую лошадь, а тот воин, который сидел на другой лошади, на лошадь Лозен.

Верхние веки Серого Призрака налились тяжестью и стали твердыми, словно камень.

— Но зачем это Лозен? — спросил он.

— Потому что Лозен прекрасно понимает, что преследовать будут именно ее, — сказал сержант Осборн.

— Но Лозен храбрая женщина, — сказал Серый Призрак и изучающим взглядом обвел лейтенанта Гейтвуда и сержанта Осборна.

— Я так понимаю, — сказал Гейтвуд, — что Лозен должна находиться в той группе, которую ожидают больше непредвиденных обстоятельств.

— Так и есть, — сказал Серый Призрак, — Лозен поехала с группой, которой придется больше маневрировать, чаще принимать решения, и не нужно забывать, что Лозен — командир.

Легкая улыбка удлинила широкий рот Серого Призрака.

— Может статься, — сказал он, — что Лозен поскакала с двумя воинами на восток, чтобы после повернуть не на юг, а на северо-запад и оказаться позади нас.

— С какой целью? — спросил лейтенант Гейтвуд.

— Чтобы, пока нас отвлекает другая группа чирикахуа, спокойно добраться до стены плато Могольон и найти там воду. Если у чирикахуа есть большие бурдюки, они наполнят их водой и, при первой возможности дадут напиться воинам и лошадям второй группы.

— Той группы, которая поскакала на юг и нас отвлекает? — уточнил лейтенант Гейтвуд.

— Ну да, — согласился Серый Призрак, — которая отвлекает и, если возникнет необходимость, примет на себя наш удар. При необходимости эта группа спокойно пойдет на смерть, чтобы спасти Лозен.

— А если Лозен ускакала на юг? — спросил Гейтвуд.

Сержант чертыхнулся, но сразу же уважительно замолчал.

Серый Призрак сощурился. Он опустил голову, чтобы Гейтвуд и Осборн не заметили замешательства в его глазах, а затем, молниеносно став отстраненным, опрокинул лицо к небу и ушел взглядом в высь.

— Так стоит ли нам вообще преследовать какую-либо группу? — спросил Гейтвуд. — Мы напрасно потратим силы, а потом вряд ли доберемся до стены плато Могольон.

— Об этом я вам и толковал, — сказал Серый Призрак. — Лозен встала на спину лошади, чтобы мы увидели её и начали преследовать. Ей нужно вымотать наших лошадей.

— Я тоже так думаю, — сказал Осборн. — Она слишком выпячивала себя, лейтенант.

— Я ведь говорил, — сказал Серый Призрак. — Увидев Лозен, не нужно обольщаться, что вы можете настигнуть её. И не нужно поддаваться первому желанию.

— Да ведь она обвела нас вокруг пальца, — сказал лейтенант Гейтвуд и вдруг почувствовал, что тень калифорнийского грифа упала на него и застыла, подарив только кажущееся ощущение прохлады.

— Чтобы защитить вас от солнца, лейтенант, — сказал внимательно следивший за Гейтвудом Пол Осборн.

Все трое подняли глаза к небу. Оно было белесо-голубым, как и радужницы сержанта Осборна, и казалось гигантским глазным яблоком, всасывающимся в бесконечно мрачный и находящийся далеко позади него мозг, а гриф — удлинённым зрачком в виде слабо выраженного креста, края которого таяли на поверхности неба бахромой непонятных мыслей.

— Как он может оставаться на одном месте и не двигать крыльями? — спросил лейтенант Гейтвуд.

— Встречные потоки воздуха с высокой стены Могольон, — сказал Серый Призрак.

5

Лошади уже третий день ничего не ели и не плавали в зеркале мерцающего кварца. К ближайшему источнику нужно было добираться несколько дней, и Нана знал, что даже при благоприятном стечении обстоятельств воды во флягах хватит только воинам и только до следующего вечера, а животные погибнут от обезвоживания. К тому же им на пятки наседали рота кавалеристов, которую вели разведчики Белой горы, такие же опытные и умеющие выживать в пустыне, как и чирикахауа. Поэтому Нана и пять его воинов, два из которых были еще мальчиками, способными носить оружие, решили выбрать место, где можно было бы оставить лошадей и погнать их в противоположном направлении от маршрута своего передвижения, тем самым заставив солдат двигаться по ложному следу. Но апачи Белой горы сразу бы заметили по отпечаткам следов, что лошади двигались налегке. Поэтому чирикахауа сняли свои хлопковые и ситцевые рубахи, вручили их сорокавосемилетнему Перико и послали его найти каменистую равнину, где рубахи можно быстро наполнить обломками песчаника или гранита.

Гейтвуд не догадывался, что происходит впереди, всего в нескольких милях от роты, которой он командовал. Три его скаута — Серый Призрак, Алонсо и Первый Снег указали ему, что облако пыли далеко на юге исчезло, значит чирикахауа либо решили отдохнуть, либо выехали на открытую камнями равнину.

— Но их лошади устали еще больше, чем наши, — сказал Алонсо. — Эти чирикахауа далеко не уйдут.

Перико обвязан был сделать из рубах нагруженные камнями узлы и разместить их у самого края россыпи, где после весенних дождей ещё остались редкие кустики травянистых растений. И если лошади траву не сощипнут, это сделают воины, и именно так, чтобы даже самые опытные скауты подумали: «Чирикахауа, проезжая здесь, замедлили ход лошадей и дали им возможность хоть немного пощипать соленую мексиканскую траву». Глиной, что начиналась сразу после россыпи, рубахи заполнять было нельзя, как бы Перико не старался. Все равно бывалый разведчик заметит место, где поверхность почвы кто-то взрыхлял или найдёт комочки глины, просыпавшейся сквозь прорехи в рубахах.

И лишь только рубахи будут наполнены камнями, Перико зеркальцем подаст Нане сигнал, что все готово.

Апачи ехали цепочкой, медленно и осторожно, словно боялись друг друга потерять. Каждый из них всматривался в спину едущего впереди, и Нана, но доверяя своим глазам, дал приказ следить за горизонтом шестнадцатилетнему Даклуги.

Солнце уже коснулось вершины стены Могольон, когда юноша вскинул правую руку и указал на блеск солнечного зайчика.

— Перико все сделал, — сказал Агирре или Тот, Кто Нигде. Он обратился к Нане, но старик смотрел в сторону недавно вспыхнувшего зеркалаца.

Через пол часа отряд Наны подъехал к участку щебнисто-галечной пустыни, где Перико наполнял рубахи камнями. Обнаженный, мокрый от пота и мерцающий всем телом в беловато-серой пелене, он будто постепенно угасал находящимся у него внутри огнем.

Точно так же, цепочкой, чирикахауа поехали вдоль россыпи, чтобы, сойдя с коней, ступить не на глину, а на камни, а Перико тут же водружал бы на пустое седло узел с булыжниками и привязывал его ремешками, предназначенными для крепления шерстяных скаток. Некоторые из воинов нагибались к самой земле и сощипывали кончиками пальцев несколько ростков соленой мексиканской травы, чтобы положить их в седельные сумки, и лишь затем осторожно сходили с лошадей.

Наконец все кони были нагружены тяжелыми узлами. Перико, вскочив на коня, застыл спиной к Нане и к остальным воинам. Но никто ничего не говорил. Перико постарался, чтобы его конь пошёл вдоль границы щебнисто-галечного участка. Он тихо, сделав языком щелкающий звук, позвал за собой нагруженных лошадей, и только тогда услышал слова Наны:

— Перико, если белоглазые нагонят тебя, постарайся продержаться подольше. Если тебе удастся остаться живым, найдешь нас возле отрогов Гила. Желаю тебе хорошей смерти, сынок.

— Нана, — сказал Перико, полуобернувшись. Он обжег старика совершенно равнодушными глазами, в которых еле-еле проступало выражение пытливости, кивнул головой и повёл за собой скакунов.

Чирикахуа еще несколько секунд наблюдали за ним, а затем, взяв скатки, пошли искать место для ночлега.

6

Перико вел лошадей всю ночь, а когда они полностью выбились из сил, подогнал их к небольшому участку, где из глины во время дождей пробилась трава. Она уже стала совершенно сухой, но кони все равно немного попаслись, а затем, печально поводя головами, отказались от нее.

Перико оставил четырех лошадей, а двух, на его взгляд самых сильных, повел за собой, однако сначала сбросил со спин всех скакунов рубахи, нагруженные камнями. Пройдя ярдов сто, он остановился и посмотрел на север. Ветер с запада всколыхнул бежево-серые стебли, изгибая и наклоняя их, и участок травы стал похожим на распластавшегося на земле и подкрадывающегося к добыче хищника. Лошади смотрели на Перико, словно просили не оставлять их в пустыне, но у них уже не было сил двигаться дальше. Взгляд их тусклых глаз показался Перико прощальным. Одна из лошадей, которую Перико держал за удила, медленно, стоя на месте, начала перебирать копытами. И, если бы не ее слабые движения и не колеблемые ветром волосы Перико, он всем, кто смотрел бы на него со стороны, показался бы стволом обрубленного дерева с содранной корой и потемневшей заболонью.

Перико дернул двух лошадей за поводья и повел их дальше, ощущая спиной взывающие к нему взгляды четырех изнуренных аппалуз.

«Возможно, белоглазые позволят им поплавать в зеркале мерцающего кварца, и они останутся живыми», — подумал Перико. Он снова повернулся и посмотрел на север, но никакого облака пыли не увидел. Однако ему необходимо было точно знать — преследуют его кавалеристы или нет, то есть удался ли план Наны отвлечь белоглазых от основного отряда воинов-чирикахуа.

Перико чувствовал, что сам скоро не выдержит и свалится с ног, однако снова заставил себя двигаться, внимательно осматривая землю перед собой. Он хотел найти ветку не толще большого пальца и не короче семи-восьми дюймов. Кустарник, даже самый чахлый, нигде вокруг не встречался. Наконец Перико заметил ветку с отметиной сучка, сероватую и немного изогнутую. Он поднял ее, отыскал глазами участок твердой глины, воткнул в глину палочку, затем вытянул ее и вставил в проделанное отверстие рукоятку ножа. После он утрамбовал глину вокруг черенка, прилег возле ножа

на бок и обхватил клинок зубами. Он не сильно сжимал сталь, а только как бы пристраивался к ней, нежно, бережно, словно нажимал зубами на сосок женщины. Любой другой человек ничего бы не почувствовал, но Перико, мысленно соединив все свое естество, всего себя с воткнутой рукояткой в землю ножом, ощутил зубами почти неуловимую вибрацию закаленной стали, слабый, будто доносящийся из прошлого, гул, который невозможно услышать, а только узнать или вспомнить зубами и деснами. Он так пролежал несколько минут, все больше и больше проникаясь вибрацией клинка, становясь его продолжением, превращаясь в странный, выросший из заточенной стали огромный листок или в воспоминание о листке. Еле уловимая вибрация клинка передавалась через челюстные мышцы к ушным раковинам.

«Кавалеристы, — подумал он. — Лошадей семьдесят. В двух милях отсюда».

Он поднялся с земли и присел на корточки. Пересчитал патроны, которые у него остались — всего четыре. Его тоскливый взгляд уходил на север. Вдали паслись оставленные им лошади. Нельзя сказать, что ему стало их жаль. Скорее всего жалость он испытывал к самому себе, однако быстро сумел ее подавить. Затем Переко вернулся к двум лошадям, заставил более слабую лечь на землю и полоснул ее по горлу ножом.

Перико долгопил кровь, но оставался сосредоточенным на северной стороне пустыни. Он еще не закончил насыщаться, как еле заметное облачко пыли всплыло над горизонтом.

Он знал, что ему не удастся уйти, но все равно вскочил на коня, однако тот, как Перико не ударял его пятками, не сдвинулся с места. И снова, не отдавая себе отчета, Перико, спрыгнув с лошади, не оставил ее, а начал медленно гладить по холке и уговаривать, чтобы она попыталась сделать рывок.

Словно поняв его слова, лошадь неуверенно двинулась, и Перико пошел рядом с ней, все так же держа свою руку на ее холке.

Они шли понуро — два одиноких существа. Поднявшееся выше солнце излило на пустыню возможность искажения видимого, но Перико знал, что какое бы сильное марево не образовалось, он не сумеет уйти от синих мундиров. По гулу, доносящемуся с севера, он понял, что его заметили, но не обернулся. К тому же и его конь остановился, некоторое время постоял и снова начал двигаться, однако еле передвигал ноги и смотрел перед собой невидящим, мутным взглядом.

— Чирикахуа! — крикнул Алонсо. — Его конь выбился из сил.

Но вперед вырвался Первый Снег, Сняв с себя китель и оставшись полуобнаженным, он сказал лейтенанту Гейтвуду, что это его день.

— Его следует взять живым, — сказал Гейтвуд. — Возможно, мы что-то выведем у этого апача.

Алонсо отрицательно покачал головой:

— Мы не сможем взять его живым, лейтенант. Вспомните, когда Викторио, брата Лозен, окружили мексиканские войска и у него закончились патроны, он перерезал себе горло. А этот чирикахуа, который перед нами, смертник. Он попросту отвлекает нас. Вы ведь видели и оставленных лошадей, и рубахи, наполненные камнями.

Гейтвуд вопросительно посмотрел на Серого Призрака.

Серый Призрак сокрушенно покачал головой.

— День может оказаться не хорошим, Первый Снег, — сказал он Первому Снегу, хотя в это время выжидающе смотрел на лейтенанта Гейтвуда. — Можно некоторое время ехать за чирикахуа в отдалении и дожидаться, когда он полностью выбьется из сил, а потом дать залп. Если преследовать его сейчас, он найдет в себе силы прицелиться и убить одного или двух человек.

— У него нет патронов, — сказал Первый Снег, — иначе он уже положил бы аппалузу на землю и приготовился отстреливаться от нас, прикрывшись ее телом.

На лице Гейтвуда появилось выражение сомнения, и он спросил:

— Почему ты решил, что это твой день, Первый Снег.

На вопрос, заданный Гейтвудом, ясно ответить мог бы только Серый Призрак, но Гейтвуд видел, что скаут отстранился от происходящего, тем самым давая понять лейтенанту, что нет ничего хорошего в том, когда пятьдесят человек пытаются убить одного изможденного апача.

Алонсо повернул коня назад. Он поскакал между кавалеристов, наполняя пустыню своим звонким голосом:

— У Первого Снега сегодня хороший день!

Лошадь Перико остановилась. У нее дрожали ноги, а Перико что-то ласково шептал ей на ухо и гладил ее по холке. Его черные глаза стали еще темнее, и он смотрел не на Первого Снега, не на лейтенанта Гейтвуда, а на север.

Первый Снег, приложив винчестер к плечу, послал две пули в чирикахуа. Они не задели Перико. Одна обожгла его волосы, другая пролетела в ярде от лошади. Перико не двинулся с места, а все так же продолжал гладить скакуна.

— У него не осталось патронов! — крикнул Первый Снег. Он рванул коня и, стреляя от пояса, помчался к неподвижно стоящему апачу. Но Перико ничего не предпринимал и лишь что-то шашептывал своему коню. Он видел, что за Первым Снегом скачет другой скаут Белой горы, а за скаутом около двадцати кавалеристов. Он думал, что у него четыре патрона, а скаутов — три, хотя третий скаут находился далеко и оставался неподвижным. Если Перико удастся убить апачей Белой горы, кавалеристы

окажутся в плачевном состоянии, ибо не смогут ни преследовать чирикахуа, ни найти воду, а возможно, не смогут вернуться обратно в форт.

Скаут Белой горы приближался. Перико зашел за коня, чтобы стать недосыгаемым для выстрелов. Наконец несколько пуль, посланных Первым Снегом на полном скаку, убили коня Перико. Конь повалился на землю, но Перико успел снять с плеча винчестер и залечь за телом убитого животного, как за бруствером. Он не спешил стрелять, ибо ждал, когда от стоявших кавалеристов начнет к нему скакать третий скаут. Но Серый Призрак оставался на месте, и когда еще с десяток кавалеристов промчалось мимо него, сказал Гейтвуду:

— Убивать смертника — не самое лучшее дело, лейтенант.

— Я согласен, — сказал Гейтвуд. — И, если бы не воинский устав и не свидетели, которых вокруг целая рота, я убил бы только коня чирикахуа, а самого его отпустил.

— Вы правы, лейтенант, — сказал Серый Призрак. — Он уже умер. Уже попрощался с жизнью. Зачем же его лишать жизни?

— Да, — сказал лейтенант Гейтвуд. — Сегодня хороший день только для этого чирикахуа. Алонсо и Первый Снег ошиблись. Это не их день.

Перико ждал, когда к Первому Снегу приблизится Алонсо, ибо тот с гиком, во всю прыть гнал своего коня. Первый Снег снова вскинул винчестер, и Перико, процеживая свой взгляд сквозь пространство над прицелом, оставаясь равнодушно-усталым, с огромными черными глазами на посеревшем лице, выстрелил. Первый Снег с простреленной грудью свалился на землю. Алонсо, пораженный внезапной смертью своего друга, ибо все думали, что у чирикахуа не осталось патронов, резко остановил свою лошадь, и это позволило Перико лучше прицелиться. Он смертельно ранил Алонсо, и, хотя еще успел два раза выстрелить в сторону Серого Призрака, град пуль, выпущенный солдатами, убил его на месте: одна пуля вошла в основание шеи, другая раздробила правую ладонь.

Перико не верил в существование после смерти, потому что Творец, создав мир, покинул его и оставил апачам-чирикахуа только мужество и стойкость. Перико верил в бесстрашную и достойную смерть, которая только в силу своей исключительности становилась вечной, поэтому мгновение между исчезающей жизнью и небытием обретало беспредельную силу и не было подвластно бегу времени.

Творец покинул этот мир, и если в сознании умирающего Перико и плеснулась мысль о вечности, то его вечность состояла только из голоса старого Наны, из слов Наны, который, благоговейно склонившись над погибшим Перико, бесконечное количество лет должен был повторять и повторять: «Желаю тебе хорошей смерти, сынок».

7

Первого Снега и Алонсо похоронили там, где они ушли в Счастливое Место. Но Гейтвуд лишь формально участвовал в погребении, предоставив право Серому Призраку проводить церемонию прощания. Он подошел к мертвому Перико и долго смотрел в его черные, широко открытые глаза, на дне которых, как мнилось лейтенанту, можно увидеть завтрашний день, однако эмоционально бедный и скудный. Совершенно безучастный день. «Дай Бог, чтобы так и было», — подумал он. Когда тела двух скаутов засыпали землей и Серый Призрак подошел к Гейтвуду, лейтенант, виновато посмотрев на апача Белой горы, хрипло произнёс:

— Теперь ты единственный разведчик в роте, и вся надежда на тебя.

Серый Призрак еле заметно кивнул.

— Нам нужно возвращаться назад по следам этого несчастного апача, — сказал он. — Где-то там, на севере, отряд чирикахуа. Они отправили этого воина с лошадьми, чтобы самим уйти в другом направлении.

— То есть они направили нас по ложному следу, — сказал Гейтвуд. — Значит они уже без лошадей?

— Ни в чём нельзя быть уверенным, — ответил Серый Призрак. — Может, у них больше лошадей. А этот воин повел только самых ослабленных.

Но Лозен ничего об этом не знала. Вечером, когда Перико нагружал рубахи с камнями на изнурённых коней, она со своими воинами находилась у стены плато Могольон, чтобы у его подножия найти воду. Ее зрачки расширились. Они повторили будущую незрячую черноту глаз Перико, словно ее радужницы стали миражом, являющимся отображением чего-то, что расположено очень далеко от него самого. И именно из-за недоброго предчувствия у Лозен заняло сердце. Мнилось, что над пустыней изгибалась вертикальная стена воды, которая не была подвластна силам гравитации. Лозен ничего не могла увидеть, но она почувствовала, что что-то случилось, и приказала Гиасиндо отъехать на милю от стены и залечь, чтобы не дать возможности врагу внезапно приблизиться к ее маленькому отряду. Сама же вскочила на аппалузу, встала на ее спину и, выпрямившись во весь рост, протянула перед собой руки. Когда она повернулась ладонями на северо-восток, ее пальцы начало покалывать, а кисти рук постепенно приобрели сиреневый оттенок.

— Враг там, — сказала она Аллинрильо, который внимательно следил за ней и придерживал за удила ее лошадь. — Что-то с Наной. Что-то нехорошее.

Остальные воины стояли в стороне и тоже внимательно наблюдали за своей предводительницей. Она обессиленно опустила руки и почувствовала себя, словно была облита соленой липкой

водой. Блузка прилипла к телу, сквозь выцветший ситец явственно вырисовались ее груди и твердые соски. Аллинрильо отвел глаза и устало посмотрел на остальных воинов. Но они уже все смотрели на восток.

— Мне кажется, — сказала Лозен, — что белоглазые наступают отряд Наны. Нам нужно отвлечь их или разделить. Часть белоглазых начнет преследовать нас, а остальная часть пойдет по следам Наны.

Аллинрильо сглотнул. Его худое коричневого цвета лицо казалось внедренным в безжизненное пространство из другой страны, словно плато Могольон вонзило в край пустыни острый топор в виде усталого и обгоревшего под солнцем Аллинрильо. Лозен заметила это и посмотрела на свои ладони. «Ладони для его лица», — подумала она, а затем крикнула:

— Наши лошади так и не плавали в зеркале мерцающего кварца!

Она увидела, что Кастильо присел на корточки над кучкой сухой травы, чтобы дать возможность родиться Раздумывающему.

— Нет, — сказала Лозен. — Раздумывающий сегодня не родится. Мы отправляемся на северо-восток, чтобы спасти Нану.

Кастильо поднялся и быстро спрятал огниво в замшевую сумочку, которую носил прикрепленную к поясному ремню, но лейтенант Юджин Гейтвуд впервые увидит Лозен только на следующий день, спустя несколько часов после гибели Перико. Она будет стоять на лошади, однако не для того, чтобы отыскать ладонями направление, где спрятался враг, а, чтобы белоглазые обнаружили ее и начали преследовать, хотя Серый Призрак подумал совершенно о другом, ибо в его голове родилась мысль, что Лозен позволила Гейтвуду увидеть ее, потому что желала внести сумятицу в сердце лейтенанта.

Калифорнийского грифа, летящего от стены плато Могольон к мертвому Перико, Лозен тоже увидит только на следующий день, однако не догадается, что птица направляется к убитому воину из отряда Наны, а подумает, что это с Наной что-то случилось или со всеми его людьми.

— Серый Призрак, — снова завел разговор лейтенант Гейтвуд, вспомнив, как внимательно рассматривал в бинокль Лозен, возвышающуюся на спине аппалузы, — она очень привлекательная женщина...

— Но ведь вы не видели ее лица, лейтенант, — сухо ответил Серый Призрак.

— Потому что, если кто-то из них увидит тебя, он уже тебя не забудет, Лозен, — всегда говорил Нана. — Ты понимаешь меня, девочка?

— С какого расстояния нужно меня увидеть, чтобы после не забывать никогда? — испепеляла Нану черными глазами Лозен.

— С близкого расстояния? — задал вопрос лейтенант Гейтвуд. — Посмотреть ей прямо в глаза? Но ведь ты только что сказал, Серый Призрак, что нам не стоит преследовать этих трех чирикахуа, ибо они могут заманить нас в засаду.

— То есть, лейтенант, — повернулся лицом к Гейтвуду Серый Призрак, — вы будете стараться догнать Лозен только для того, чтобы увидеть ее вблизи? А дальше что?

Юджин Гейтвуд ничего не ответил, просто немного растерянно и с тщательно скрываемой просьбой в глазах смотрел на Серого Призрака, и то ли Серый Призрак неправильно понял, то ли.., — Гейтвуд всегда думал об этом, а, много позже, постоянно вспоминал последние слова апача Белой горы:

— Никто не выстрелил в Лозен. Никто не осмелился.

— Ладно, лейтенант, — сказал Серый Призрак, — Лозен уже далеко впереди нас или позади, но и ей и нам необходимо сейчас только одно — высокая стена плато Могольон, по которой во время дождей стекает вода и там, где у подножия стены залегает скальная порода, не просачивается глубоко в глинозем, а находится близко к поверхности пустыни.

Однако, Гейтвуд верил, что Лозен не окажется позади него, а если подойдет близко, он не осмелится поднять на эту женщину глаза, просто не найдет в себе сил и уверенности выдержать ее взгляд.

Серый Призрак и пять кавалеристов быстро поскакали к гранитной громаде Могольон, чтобы до прибытия к стене Гейтвуда и остальных солдат, попытаться найти воду. И Гейтвуд их увидел издали, так далеко в синей тени высокого склона, что не разглядел на них синих мундиров, и они показались ему отрядом чирикахуа, увереннодвигающихся вдоль стены на юг.

Заходящее солнце, коснувшись стены, ослепило Гейтвуду глаза, и он постарался быстро достигнуть места, где начинается длинная тень от высокого плато.

8

Хотя синие мундиры, въехав в глубокую тень, отбрасываемую плато Могольон, почти растворились в ее сиреневой темноте, Лозен все равно хорошо различала солдат, но не конкретно их лица и руки, а одни силуэты на лошадях. Она опять не увидела Серого Призрака, и о его присутствии в роте, которой командовал Юджин Гейтвуд, не имела ни малейшего понятия, — так же, как ничего не знала о лейтенанте.

Как и предполагал Серый Призрак, Лозен сделала петлю: повернула на юг, затем на юго-запад и соединилась с воинами, которые не сменили направление своего передвижения, а неестественно медленно, заблудшими тенями удалялись от белоглазых, чтобы, если возникнет необходимость, принять на себя их удар и спасти Лозен.

Заходящее солнце ослепило ей глаза, зрачки ее сузились, а сквозь черные радужницы плеснул блеск темно-зеленого обси-диана или влажности лугов Теплого Источника — места, где она родилась и провела свое детство.

Ее встретили, застыв как изваяния, два воина: Кастильо или Рана В Траве и Акоста, которого еще называли Рваным Рассветом. Семнадцатилетний Кавайкла куда-то исчез, и первое, что сделала Лозен, кивнув воинам, это спросила:

— Где Кавайкла?

Акоста по-детски улыбнулся и, приложив ладонь к губам, прокричал пустынной кукушкой. На западе из-за нескольких кустиков мескито поднялась оседланная лошадь, а за ней и Кавайкла. Он не вскочил на коня, а, взяв его за удила, пошел к Лозен и остальным воинам.

Приблизившись к отряду, Кавайкла нерешительно остановился и ничего не говорил, только смотрел на Лозен. Все объяснил Акоста.

— Лозен, — сказал он, — Кавайкла ехал от нас в стороне, ближе к стене Могольон. Он должен был залечь, как только заметит облачко пыли или услышит скачущих лошадей. Если бы синие мундиры догнали нас и начали стрелять, в какой-то момент по ним, не ожидающим опасности справа от себя, открыл бы огонь Кавайкла. Пользуясь внезапностью, Кавайкла убил бы больше солдат, чем я и Кастильо.

— Но вы бы все погибли, — сказала Лозен.

— Да? — Кастильо не столько спросил, сколько констатировал, — Но мы бы спасли тебя, — и под блузкой Лозен, если бы ее в данный момент кто-то увидел раздетой, потемнели соски, ибо Кастильо мысленно ушел своими карими глазами к ее груди, а затем удивленно посмотрел на Лозен и отвернулся, но она успела заметить, что в глазах его отражается она сама, Лозен из клана чихенне, но обнаженная по пояс.

Лозен внимательно посмотрела на юношу. Семнадцатилетний Кавайкла был невысоким, но из-за худобы казался тонким и длинным, как жердь.

Лозен почувствовала, что Гиасиндо не сводит с нее глаз. Его сухощавые руки свисали вдоль туловища. Она знала, что Гиасиндо хочет что-то сказать, но ждет, что она задаст вопрос первой.

— Гиасиндо? — спросила она.

— Лошади, — сказал Гиасиндо.

— Хорошо, — сказала Лозен. — Пойдем пешком.

Воины повели лошадей не цепочкой, одну за другой, а рядом с Лозен — справа и слева от нее. Тень от стены Могольон накрыла маленький отряд чирикахауа. Воительнца, часто поглядывая на запад, где над Могольон еще тлели отсветы уже исчезнувшего солнца, на ходу подтянула руками нижний край юбки, чтобы та не ме-

шала при быстрой ходьбе и не цеплялась за ветки чапарраля. Она заткнула подол за пояс, обнажив свои ноги выше колен.

— Как ты, девочка? — спросил Аллинрильо, заметив периферийным зрением движения Лозен.

— Я держусь, — Аллинрильо, — ответила Лозен.

Ночь уже опустилась, и луна, набухая кровью, закачалась на востоке, словно вытолкнутое из лона гор Гила доисторическое дитя.

— Кавайкла, — сказала Лозен семнадцатилетнему юноше, — ты вел себя достойно.

Ее волосы взметнулись, будто Лозен всплыла лицом из самой гущи ночи, где постоянно серебрились две дорожки лунного света. Она посмотрела на Кавайклу, и Аллинрильо заметил, что в ее глазах, помимо выражения гордости и уважения, мелькнуло нечто, похожее на женское лукавство.

Кавайкла вздрогнул, расплескался глазами по лицу Лозен, и так бы, если бы это было возможно, шел бы вечность, не отрывая от своей предводительницы восторженного взгляда. А остальные воины, не сбавляя темп ходьбы, отвернулись и разошлись на несколько шагов от Лозен и Кавайклы, ибо это был неписанный закон, никогда не проговариваемый ни самой Лозен, ни другими чирикахуа: когда воительница хвалила кого-то из мужчин, остальные воины делали вид, что они не находятся рядом с ней, — они ничего не видят и не слышат. Они не знают ...

— Это твой последний, четвертый военный поход в качестве ученика воинов, — продолжала громко говорить Лозен, как-то насмешливо, но одновременно и доверительно вскидывая свои черные глаза на сновуженного юношу. — И, если останешься жив, станешь воином.

Кавайкла раскрыл губы, чтобы глубоко вдохнуть раскаленный воздух.

— Ты найдешь себе красивую девушку, — продолжала говорить Лозен. — Возле костра она подойдет к тебе, приподнимет свою юбку почти до самых бедер, чтобы ты видел все, и, раскачиваясь перед тобой на полусогнутых ногах, будет шептать с предыханием, одному тебе, Кавайкла: «Ши-таха, ши-таха, ши-таха...». Но ты и с места не должен сдвинуться.

Лозен громко рассмеялась и, сильно дернув лошадь за поводья, оказалась впереди своего маленького отряда. Ни у кого из воинов ни один мускул не дрогнул на лице, — ведь ничего не было. А сорокапятилетний Гиасиндо, хлестнув Кавайклу по лицу поводьями и, приблизившись к его уху губами, произнес:

— Лозен ничего не говорила. Ты ничего не слышал. Лозен только отдает приказы. Ты понял, Кавайкла?

— Понял, — прохрипел Кавайкла и перевел на Гиасиндо свои глаза — жгучие, полные решительности выполнить любой приказ Лозен, а затем опустил взгляд и улыбнулся.

«Он станет воином, — подумал Гиасиндо, — но не будет смотреть на другую девушку, даже если она красивая, даже если она поднимет перед ним свою юбку выше бедер. Будет ли он на нее смотреть?»

И Гиасиндо тоже натянул поводья, чтобы приблизиться к Лозен. Да и остальные воины подошли ближе к своей предводительнице. Они ничего не знали, они ничего не слышали, они все забыли, но еще долго в их ушах звучали слова смеющейся Лозен: «Ши-таха, ши-таха, ши-таха...».

9

Лозен уже не видела ни лейтенанта Гейтвуда, ни его солдат и скаута Белой горы, ибо все кавалеристы из-за цвета своих мундиров полностью слились с темно-синей тенью, отбрасываемой высокой стеной Могольон. Иногда она могла различать только лошадей в виде бурых движущихся пятен, но и они часто исчезали из поля ее зрения или казались неровностями на поверхности пустыни, на которых истлели, а, затем, просачивались в глубь земли остатки дневного света.

Пустыня словно закрыла глаза и отрешилась от всего внешнего: как пыливо и пристально Гейтвуд не вглядывался в постоянно уходящую на восток красно-оранжевую полосу, он не мог заметить ни притаившихся воинов-чирикахауа, ни саму Лозен, еще недавно наблюдавшую за ним, а затем решившую уйти взглядом на восток, где мог находиться отряд Наны.

Серый Призрак нашел пористую податливую породу возле каменной стены и принялся рыть яму. Он надеялся, что ее начнет из дна её начнёт постепенно просачиваться вода.

— Лозен может наблюдать за нами, — сказал Серый Призрак, разогнувшись над вырытым им углублением в земле.

— Дальше будут копать солдаты, — сказал Гейтвуд, и сразу. — Сержант Осборн!

Он указал кивком головы Полу Осборну на яму, а затем перевел взгляд на далекую оранжевую полосу — еще освещенную солнечным светом пустыню.

Лозен хорошо понимала, что делали белоглазые возле стены плато Могольон.

— Синие мундиры так внезапно исчезли только потому, что нашли зеркало мерцающего кварца и находятся возле самой стены, — сказала она, но Аллинрильо словно не слышал ее. Его взгляд цеплялся за верх стены, где угасающими сполохами еще давало о себе знать почти закатившееся за стену солнце. Аллинрильо думал о калифорнийском грифе и о тени. Да и красная полоса, пересекающая его лицо от уха до уха, походила на вспыхнувшую жаром тень грифа, — как будто Лозен спроецировала на

внешность воина свою мысль, которая не родилась, а только смутно чувствовалась и отражалась на его лице остатками залитой солнцем пустыни.

«Аллинрильо хороший», — подумала Лозен. Ее радужницы наполнились грустью, зрачки расширились, словно к поверхности глаз поднялась глубина потаённых мыслей, заставившая Лозен блуждать в воспоминаниях. Черные волосы обрамляли еще совершенно молодое лицо, но две седые пряди, подобно поводьям в руке Гиасиндо, однажды хлестнувшего ими Кавайклу, любому постороннему, который бы наблюдал за Лозен, запрещали бы думать о ее возрасте, ибо тот, кому посчастливилось находиться близко возле неё, ничего не должен был видеть и ничего не должен был знать. Однако ведь и сама Лозен не могла сказать, сколько ей лет.

— Аллинрильо, — спросила она, — ты помнишь, когда я родилась?

Аллинрильо повернулся к Лозен. В его глазах плеснулась обеспокоенность.

— В тот год, когда ты появилась на свет, — сказал он, — калифорнийский гриф пролетел очень низко над нашей стоянкой, и твой брат Викторио не мог оторвать глаз от парящей птицы.

— Почему? — спросила Лозен.

— Тень грифа на земле была тонкой, похожей на немного изогнутую линию, поэтому Викторио подумал, что у земли появилась скользкая бровь, хотя так и не открылись глаза.

— Но нам не хватит этой воды, — сказал Гейтвуд, склонившись над вырытой ямой, а Серый Призрак только снисходительно улыбнулся.

— Вода будет медленно просачиваться и собираться на дне, лейтенант, так что нам придется наполнять наши бурдюки и фляги до глубокой ночи. Но сначала, когда напьются солдаты, нужно дать лошадям поплавать в зеркале мерцающего кварца.

Серый Призрак был настолько сосредоточен мыслями на чирикахуа, которые, как он был уверен, в данный момент наблюдали за ним и за кавалеристами, по крайней мере, пытались это сделать, что начал говорить с Гейтвудом особым языком, употребляемым апачами только во время военных походов.

— Что ты сказал, Серый Призрак? — озадаченно спросил лейтенант Гейтвуд. — Почему зеркало кварца?

— Не знаю, — ответил Серый Призрак, хотя Гейтвуд был единственным белоглазым, которому он доверял. — Просто подумал об этом.

— Скажи, Серый Призрак, снова спросил лейтенант Гейтвуд, — у Лозен хорошие воины?

— Можно было не задавать этот вопрос, лейтенант, — сказал Серый Призрак, окинув Гейтвуда желто-коричневыми глазами, — ведь вы сами знаете — самые лучшие.

Он умолк, а через некоторое время начал давать советы нескольким солдатам, которые с усердием углубляли яму. Когда лейтенант Гейтвуд уже забыл о зеркале мерцающего кварца и с радостью слушал, как из ямы доносятся слабые всплески, снова сказал лейтенанту:

— Лучше воинов Лозен не найти...

Если бы Гейтвуд просто оглянулся назад, забыл о яме с водой и взял бы себе в пример поведение Серого Призрака, который, когда кавалеристы жадно пили воду, просто смотрел вдоль стены Могольон, словно был отрезан высоким плато от другой, более значимой части своей жизни, он бы, возможно, увидел, как вдали, отразив лунный свет, блеснули двумя зелеными обсидианами глаза Лозен. Но он не оглянулся, а решил подойти к Серому Призраку, который равнодушно, не изменившись в лице, перевел на лейтенанта Гейтвуда свои глаза.

— Интересно, Серый Призрак, — спросил Гейтвуд, — если Лозен сейчас наблюдает за нами, она стоит на лошади?

— На аппалаузе? — спросил Серый Призрак. — Нет. Она просто наблюдает. И если вы намерены победить Лозен, вам нужно сделать все, чтобы не подпустить ее воинов к воде. Они сильно измотаны, измучены жаждой. Еще немного, и их кони не смогут держаться на ногах, поэтому чирикахуа придется пешком добираться до гор Гила.

— Почему ты решил, что я хотел бы победить Лозен, Серый Призрак?

Серый Призрак долго смотрел на лейтенанта Гейтвуда. В свете луны его лицо казалось каменным, высеченным из скалы Могольон.

— Я уже говорил, лейтенант, — наконец сказал он, — если вы увидите Лозен, то уже не выстрелите в нее. Однако я не хотел бы, чтобы Лозен об этом догадалась, иначе.., — Серый Призрак задумался.

— Она потеряет бдительность? — спросил Гейтвуд.

— Именно так, лейтенант, — ответил Серый Призрак.

Нательная рубашка лейтенанта Гейтвуда была совершенно мокрой от пота, потом пропитался и синий мундир. Лейтенанту хотелось раздеться и обсохнуть, и он подумал, что тогда его тело покроется кристаллами соли, и он в самом деле окажется тем человеком, который плавал в зеркале мерцающего кварца.

По мере того, как дно ямы периодически наполнялась водой, солдаты поили лошадей и наполняли бурдюки и фляги. Так продолжалось до полуночи. Гейтвуд решил разжечь костры ярдах в двухстах от ямы, чтобы отсветы огня не мешали часовым хоть как-то ориентироваться в темноте. Часовые должны были сменять друг друга каждые два часа, и Гейтвуд, кивнув Серому Призраку, раскатал на земле одеяло. Он был все еще мокрым от пота, хотя с вершины стены Могольон начала опускаться слабая прохлада. Он

пролежал минут двадцать, пытаюсь уснуть, но затем открыл глаза. Солдаты же погрузились в сон моментально. Лежащий от него в трех ярдах Серый Призрак согнул руку в локте и подпер подбородок ладонью. Он смотрел на лейтенанта пытливо и в то же время отстраненно.

— Я думаю о том же, — сказал лейтенант. — Если она наблюдает за нами, то постарается этой ночью подкрасться к яме и набрать хоть немного воды. Ведь другие места, в которых может просачиваться вода, находятся далеко.

— От того места, где мы вырыли яму, я проехал две мили на север, а затем, вернувшись, две мили на юг, — сказал Серый Призрак. — Подходящую почву я нашел только здесь. Если подходящая почва и находится где-то дальше, то Лозен в темноте не сможет ее отыскать, если точно не знает все места, где может просачиваться вода, что стекает по стене Могольон. Днем она не решится продолжать поиски, ибо знает, что мы будем ехать вдоль стены, чтобы не подпустить ее к плато. Чирикахуа изнурены, и им сейчас нелегко. Если бы их было больше, лейтенант, а не шесть человек, они попытались бы отбить у нас яму.

— Какова вероятность, что Лозен поблизости нет и она уже далеко?

— Почти никакой, лейтенант. Многое говорит о том, что на десятки миль вокруг, кроме этого места, воду не раздобыть, и Лозен об этом знает.

— Но откуда ты знаешь, что знает Лозен?

— Лейтенант, — сказал Серый Призрак и опустил глаза.

— Извини, — прошептал Гейтвуд. — Я тоже думал о том, что вода есть только здесь, иначе зачем бы Лозен стояла на спине апалузы?

— Чтобы вы ее увидели, лейтенант, — сказал Серый Призрак. — И вы это поняли. Не нужно вам было на нее смотреть.

— А, по-моему, — сказал Гейтвуд, — это единственное, что я правильно сделал в этом военном походе.

Гейтвуд часа два то проваливался в сон, то внезапно просыпался. Лейтенанту не снились сны, но, когда он не спал и смотрел в ночное небо, ему мнилось, что вот только он уснет и снова проснется, сразу же обнаружит, что возле него сидит Лозен и внимательно смотрит на него. Ее взгляд будет долгим, а глаза глубокими и печальными. И Гейтвуд тоже будет долго на нее смотреть, а потом слегка кивнет головой в знак благодарности, что она позволила так долго любоваться ею. И она это поймет. Она ведь и придет смотреть на Гейтвуда, чтобы он ее запомнил на всю оставшуюся жизнь. Она легко поднимется, стройная и худощавая, и две дорожки луны в ее волосах, словно два ручейка, вольются в глаза лейтенанта Гейтвуда. И лейтенант попытается что-то сказать.

— Лозен, — произнесет он шепотом, а она серьезно кивнет головой, давая ему понять, что — да, она Лозен и бесшумно, обходя спящих солдат, исчезнет в открытой мраком пустыне.

Гейтвуд в очередной раз открыл глаза, приподнял голову и при свете луны увидел, что часовой, поставленный сторожить яму с водой, неподвижно лежит на боку. «Либо его убили чирикахуа, либо он спит», — подумал лейтенант. Он поднялся и тихо, нащупывая на земле глазами места, куда можно ступить бесшумно, направился к яме. Склонившись над часовым, лейтенант обнаружил, что тот спит. Гейтвуд хотел разбудить его, но вдруг то, что казалось ему холмиком земли над ямой, выросло и утончилось. В пятнадцати шагах от него стояла женщина-чирикахуа и, казалось, две дорожки луны в ее волосах стекали в яму и таким способом наполняли дно водой.

Еще когда Лозен поднималась, Гейтвуд молниеносно вытянул из кобуры револьвер, ствол слабо замерцал, словно был облит маслом. Ствол был направлен на Лозен, но она не смотрела на револьвер. В правой руке она держала бурдюк, сделанный из желудка антилопы. Ее взгляд был настолько спокойным, что Гейтвуд почувствовал себя провинившимся школьником и даже испытал желание попросить у нее прощения. Через ее левое плечо был перекинут патронташ, револьвер был заткнут за ремень, стягивающий блузку, из кожаных ножен выглядывала рукоятка мексиканского ножа. Она стояла спокойно, наполненная каким-то деликатным вниманием, и все больше грусти появлялось в ее черных глазах. Она была уверена, что Гейтвуд в нее выстрелит. Мысль о том, что эта женщина ничего не ждет и ни на что не надеется, поразила лейтенанта. Но в том месиве, в котором оказались его мысли, внезапно начало рождаться чувство благодарности. Он тверже посмотрел Лозен в глаза и решил, что будет любоваться ею столько, сколько позволит судьба.

Из ямы показалась голова мужчины. Воин-чирикахуа и бровью не повел. Его руки сжимали наполненные бурдюки, и он знал, что не успеет вытащить из-за пояса свой револьвер и выстрелить раньше, чем это сделает стоящий против него белоглазый. Мужчина был очень смуглым, обожженный солнцем до черноты. Не выпуская бурдюки из рук, он плавно поднялся, сделал шаг вправо и прикрыл собой Лозен.

— Девочка, уходи, — тихо сказал мужчина. — Ты должна мечтать.

Лейтенант Юджин Гейтвуд не знал языка апачей-чирикахуа, но он догадался, о чем сказал смуглый воин.

— Аллинрильо, — произнесла Лозен глубоким грудным голосом. Ее взгляд стал еще более пристальным. Не отводя глаз от Гейтвуда, Лозен начала медленно отступать в темноту, все так же крепко сжимая наполненный водой бурдюк. Она осторожно пятилась назад, но продолжала обжигать Гейтвуда своими черными гла-

зами. «Господи, — подумал Гейтвуд, — как она бережно произнесла это имя — Аллинрильо. Сколько уважения и благодарности было в ее голосе».

Аллинрильо смотрел на Гейтвуда совершенно равнодушно, только выражение усталости и какой-то далекой мечты иногда урывало его темно-карие радужницы.

Лозен уже почти полностью скрылась в темноте, повернулась и сделала несколько шагов в сторону восточной пустыни, но затем обернулась и снова посмотрела на Гейтвуда долго и изучающе. В ее глазах не было благодарности, — одно бесконечное внимание, не знающая предела пылливость, и где-то на самом дне взгляда детская растерянность. Она бесшумно исчезла в ночи, а Гейтвуд опустил револьвер и засунул его в кобуру. Его глаза встретились с глазами Аллинрильо.

«В жизни все очень просто, — подумал лейтенант. — Жизнь может держаться только на очень простых правилах — долгий взгляд, пылливость, уважение. Господи, да ведь я ей благодарен, я чувствую себя перед ней в долгу».

Гейтвуд повернулся и, не оборачиваясь, пошел в сторону лагеря. Пройдя ярдов двадцать, он столкнулся с внезапно выросшим из темноты Серым Призраком.

— Я все видел, — сказал Серый Призрак.

— И не вмешался? — спросил лейтенант Гейтвуд.

— Я надеялся, лейтенант, — ответил Серый Призрак и пронизал Гейтвуда взглядом желто-коричневых глаз, в которых были участие и понимание.

— Да, — сказал Гейтвуд, — ты был прав.

— В чем? — спросил Серый Призрак.

— Никто не осмелится выстрелить в Лозен, и это хорошо, — сказал Гейтвуд и опустил глаза.

10

Лошади только вспомнили, что можно плавать в зеркале мерцающего кварца, ибо воды, которую Лозен и Аллинрильо принесли в бурдюках, было очень мало. Лозен вела своего коня за удила, как и остальные воины.

Лошади шли вяло и понуро, словно вязли копытами в раскаленной поверхности пустыни. И если бы Гейтвуд оказался миль на пятнадцать к востоку от плато Могольон и посмотрел в сторону уходящих чирикахуа, он бы подумал, что ноги коней отряда Лозен растворяются в раскаленных наплывах воздуха, точно лошади переходят вброд бесконечную реку, но, достигнув ее глубокого места, из-за недостатка сил не смогут плыть и утонут. Гейтвуд сам для себя называл раскаленный пласт воздуха над поверхностью пустыни беззвучными воплями ада.

Лозен повернулась и, посмотрев назад, на синющую на западе стену Могольон, пыталась увидеть Гейтвуда. Но белоглазых не было, даже крошечное облачко пыли не поднималось над пустыней. Лозен выглядела встревоженной. Наблюдающий за ней Аллинрильо догадывался о ее душевном состоянии, но не осмеливался об этом спросить.

Гейтвуд, подумав о пересекающих бесконечную реку лошадях чирикахуа, в самом деле бросил долгий взгляд туда, куда уходила цепочка следов отряда Лозен, и Серый Призрак это почувствовал. Его левую щеку словно что-то обожгло, ибо он не смотрел на Гейтвуда, не смотрел и в сторону исчезнувших чирикахуа, а скользил взглядом вдоль высокой стены плато Могольон, потому что разглядывать саму пустыню уже не имело никакого смысла.

Лозен хотела поговорить с Аллинрильо, даже приоткрыла губы, но так ничего и не произнесла.

— Есть места и ситуации, где слова становятся бесполезными, лейтенант, — сказал Серый Призрак, продолжая не смотреть на Гейтвуда, даже не замечая его периферийным зрением, хотя ехал в каких-то полутора ярдах от своего командира.

— Нам повезло, что нас никто не видел, Серый Призрак, — сказал лейтенант Гейтвуд. — Ведь часового я так и не разбудил.

Что-то в виде вымученной улыбки показалось на губах Серого Призрака.

— Я об этом и говорю, лейтенант. Есть места и ситуации, где не знаешь, что сказать, но понимаешь, что нужно делать.

— Я не сомневался, Серый Призрак, — сказал лейтенант Гейтвуд. — И когда повернулся спиной к этому воину и пошел, совершенно не думал о том, что он может выстрелить мне в спину.

— Он бы никогда не выстрелил, лейтенант. И поэтому между вами и Лозен возникла некая схожесть.

— Какая, Серый Призрак?

— Никто не осмелится выстрелить в Лозен, кто бы он ни был. А в вас уже никогда не выстрелит этот воин. Понимаете, лейтенант, он не сможет вас убить.

Лозен иногда бросала взгляды на Аллинрильо, надеясь, что он понимает, что сейчас она пытается всех их спасти, — и своего лучшего воина, прикрывшего ее собой, и офицера роты кавалеристов, и скаута, которого так и не смогла разглядеть в темноте, но который после тоже прикроет ее собой, за что и поплатится жизнью. Но в первую очередь она думала об Аллинрильо. В ее сознании настоящее исчезло. Оно наполнило недавнее прошлое развивающимися полотнами с изображенными на них как произошедшими, так и возможными при определенных обстоятельствах событиями. Но это Лозен самой себе так объясняла колышущиеся в ее сознании изображения. На самом деле то, что происходило перед ее внутренним взором, напоминало полосы разнообразных миражей, и

Лозен твердо верила в их реальность, ибо, когда еще была ребенком, услышала рассказ Локо, что миражи — это мечты пустыни. Полотна были полупрозрачными, но колеблющиеся на них рисунки выглядели поразительно явственными и живыми. Рисунки событий, которые произошли или могли произойти. Поэтому Лозен не удивило, что Аллинрильо мог погибнуть.

«Аллинрильо хороший», — подумала она, потому что помнила, что, хотя апачи и верили в жизнь после смерти, и подобное состояние они называли Счастливым Местом, Аллинрильо не очень-то доверял рассказам стариков. Ведь Аллинрильо однажды поделился с ней своими мыслями о Счастливом Месте, куда, по представлениям апачей, люди попадают в таком виде, в каком умерли. Поэтому изрубленные, лишенные конечностей и голов люди попадут в Счастливое Место изувеченными, беспомощными и неузнаваемыми. «Разве это справедливо?» — спрашивал Аллерильо. Естественно, он знал о Творце, который создал мир и удалился, предоставив апачам право самим решать свою судьбу. Вечность никто не может представить, и Аллерильо тоже. Но Лозен узнала, она как бы вырвала у возможного будущего лоскут, на поверхности которого сумела разглядеть краску событий, поведавших ей, что вечность Аллерильо будет состоять из слов, с которыми он будет постоянно обращаться к ней, к Лозен:

— Я ведь умер достойно, девочка? Я хорошо себя держал?

— Аллинрильо, — сказал Серый Призрак подавшемуся всем телом к нему лейтенанту Гейтвуду. — Я вспомнил того воина, которого Лозен назвала Аллинрильо. Мы когда-то знали друг друга, очень давно, когда он и я были очень молодыми.

Однако Гейтвуд не видел, как вязнут в расплавленных пластах воздуха ноги лошадей чирикахуа. Он просто подумал, что так и должно быть, поскольку множество раз наблюдал подобное явление, — будь то кони апачей, переселенцев, мексиканских или американских кавалеристов. И он не вспомнил, что библейский Бог создал человека из праха, из обычной глины, после вдохнув в нее душу. Лошади тонули копытами в раскалившемся над поверхностью пустыни воздухе, словно происходил процесс обратный сотворению: начиная со своих копыт и все выше и выше, до полуобнаженных всадников похожее мастью на обожженную глину кони постоянно осыпались в полупрозрачный прах.

И, наконец, Гейтвуд в самом деле посмотрел в ту сторону, где должен был находиться отряд Лозен, и из его памяти всплыла мысль, что второй человек был создан из ребра первого. И именно поэтому он не поверил своему воспоминанию, ибо в библейской истории говорилось, что женщину Господь создал второй — после мужчины и из мужчины, тогда как все вокруг лейтенанта свидетельствовало о еще не законченном сотворении мужчин.

— Да, лейтенант, — сказал Серый Призрак, и его адамово яблоко вздрогнуло под подбородком, а глаза растерянно скользнули по восточному горизонту.

— Две дорожки луны, Серый Призрак, — ответил лейтенант Гейтвуд, а Серый Призрак подумал, что именно из этих двух дорожек будут созданы два человека — он, Серый Призрак, и лейтенант Юджин Гейтвуд.

Воду из бурдюка Аллинрильо разделили между воинами, и каждому ее хватило лишь на несколько глотков. И хотя лошадь Лозен была ослабленной и измученной, все равно ее трудно было постоянно удерживать. Лозен тяжело дышала, поэтому Аллинрильо не отводил от нее глаз и старался быть на подхвате. Взяв ее аппалузу за удила, он сказал:

— Я буду вести твою лошадь.

Лицо Лозен было сосредоточенным, но, когда она перевела взгляд на взволнованного и предельно заботливого Аллинрильо, посмотрела на него удивленно и непонимающе, словно на незнакомого человека.

— Я пытаюсь всем вам помочь, Аллинрильо. Если не сейчас, то в будущем, — сказала она.

Аллинрильо что-то произнёс в ответ. Воины перестроились. Они окружили свою предводительницу живым кольцом и, полные внимания, продолжали молча вести лошадей. Каждый шаг они делали с натугой, словно преодолевали невидимое, но постоянно сдерживающее их препятствие. Лозен расширенными зрачками разглядывала раскинувшейся перед ней плоский ландшафт, будто впервые в жизни видела пустыню и вообще не имела никакого понятия о безлюдной и выжженной солнцем местности.

Кольцо из мужчин и ведомых ими лошадей окружало Лозен, бредущую, словно сомнамбула. Иногда воины слышали ее глубокий, сразу же переходящий в шепот голос.

— Я пытаюсь всем помочь.

И если бы лейтенант Гейтвуд сумел в этот момент через огромное расстояние разглядеть воинов Лозен, он бы увидел, с каким благоговением они смотрят на свою предводительницу. А если бы воины оглянулись назад, и так случилось, что им удалось бы разглядеть возле стены Могольон Юджина Гейтвуда, они бы подумали, что, хотя раньше не имели возможности видеть лейтенанта, даже издали, все равно каким-то образом способны вспомнить о нем, ибо Лозен пытается всем им помочь — и мужчинам своего отряда, и отряду Наны, и самому Нане, и не выстрелившему в нее офицеру синих мундиров, и скауту Белой горы, о котором она так ничего и не узнала.

— Как ты, девочка? — иногда осторожно спрашивал у нее Аллинрильо, когда замечал, что Лозен переводит на него свой взгляд и, в данный момент, возможно, замечает его.

— Я держусь, Аллинрильо, — отвечала Лозен, а кто-то из воинов, что окружали и охраняли ее, Кастильо или Гиасиндо, сразу же говорил ей:

— Мечтай, девочка. Мечтай...

11

Серый Призрак ехал впереди роты кавалеристов, в четырех ярдах позади него — лейтенант Гейтвуд. Подножие плато Могольон устланы камнями, которые за многие сотни лет под воздействием солнца и ветра откололись от стены. Серый Призрак не смотрел на восток, куда ушли чирикахауа, а как бы проползал пристальным взглядом почти по каждому камню у основания высокого плато.

Лейтенант Юджин Гейтвуд попытался посмотреть на восток, но его глаза заслепило недавно взошедшее солнце. И поэтому Лозен и ее отряд, если бы Гейтвуд правда мог их увидеть, не легли перевернутым отражением на сетчатку его глаз, а, напротив, возникнув на сетчатке как продолжение его мыслей и угрызений совести, процедились сквозь суженные от слепящего света зрачки и далеко в восточной пустыне воплотились в понурых воинов и усталую женщину, медленно и монотонно удаляющихся в сторону поднимающегося солнца.

Серый Призрак предупредительно поднял левую руку, придержал коня и упруго прыгнул на камни. Вся рота кавалеристов, вначале немного качнувшись вперед, застыла на месте, словно была грузом, который поверхность пустыни несла на себе, но, внезапно, перестала двигаться. Серый Призрак прошел вдоль россыпи камней ярдов пятьдесят, затем вернулся и, скользнув глазами по стене Могольон, остановил взгляд на лейтенанте. И Гейтвуду не нужно было тщательно выстраивать в логическую цепь свои соображения, чтобы догадаться. Нет, он, отнюдь, не осознал, а проникся тем, о чем собирался ему поведать Серый Призрак, потому что, так казалось Гейтвуду, слова Серого Призрака должны были наводить на мысль об отражении и проекции. Но, опять же, лейтенант Гейтвуд об этом не подумал, а вспомнил о тени калифорнийского грифа, похожей на длинный, растрепанный на своих дальних краях темный прямоугольник.

— Лейтенант, — сказал Серый Призрак, — когда Лозен и воин, который с ней был, набирали воду возле нашего лагеря, остальные воины ждали их здесь, на россыпи камней.

— Но ведь чирикахауа ушли на восток, Серый Призрак. По крайней мере, на восток ушли Лозен и воин, который прикрыв ее собой. Мы ведь видели их следы.

— Скорее всего, так, лейтенант.

— Возможно, Серый Призрак, Лозен пошла на восток, а остальные воины, ранее обогнав нас, искали у подножия стены почву, в которой накапливается вода.

— Я не знаю, как они это сделали, лейтенант. На глине никаких следов нет и не было на всем том расстоянии, которое мы проехали от места нашей ночевки. Поэтому для меня остается загадкой, как они достигли этой россыпи. Хотя, возможно...

— Что, Серый Призрак?

— Может статься, что отряд Лозен сейчас движется не на восток или юго-восток, а вдоль этой высокой стены на юг.

— Мне кажется, Серый Призрак, — сказал задумчиво лейтенант и умолк, а затем, уже не скрывая недоумения, спросил:

— Но, если нет следов, Серый Призрак, откуда ты знаешь, что воины Лозен были здесь ночью?

— Посмотрите, лейтенант, — Серый Призрак указал рукой на камни.

— Я вижу камни, Серый Призрак, — сказал лейтенант Гейтвуд. — И я также знаю, что на камнях невозможно увидеть следы людей. Единственное исключение, это если по камням прошли подкованные лошади.

— Это так, — согласился Серый Призрак. — Но посмотрите, везде камни влажные, роса на них еще не высохла. А здесь, — он указал ладонью, — шесть сухих, совершенно не влажных участков. Каждый шириной в два фута и длиной в шесть футов. Они раскатывали здесь свои одеяла и спали на камнях. К тому же ушли недавно, перед самым восходом солнца.

— Похоже на то, — сказал подъехавший к Гейтвуду сержант Осборн, — что чирикахуа ускакали или повели коней вдоль стены Могольон.

— Копыта шести коней, сержант, даже не подкованных, должны оставить на поверхности какого-то камня хотя бы незначительную царапину.

— Но они могли обернуть копыта лошадей кусками кожи, — сказал Серый Призрак. — И, если это так, мы не найдем на камнях ни следов лошадей, ни, тем более, людей.

12

Жара нарастала. Холодно и расчетливо не мог мыслить даже Серый Призрак, родившийся и выросший в этих местах. Исходящая из солнца желтоватая белизна приносила не только физические страдания, но и делала людей подозрительными и растерянными. Гейтвуд оставил командовать ротой сержанту Осборну, а сам упорно следовал за Серым Призраком, облитым солнечным светом и словно растворяющимся в нем.

Из всех воинов только Аллинрильо усилием воли заставил себя пребывать в той реальности, которая окружала отряд Лозен и саму Лозен, тогда как остальные мужчины и юноши воплощали собой безмолвие и канули в безмолвие, ибо «Когда Лозен начинает мечтать, лейтенант, большинство ее воинов пытаются вообразить тайну её мыслей», — однажды сказал Юджину Гейтвуду Серый Призрак.

Аллинрильо знал, что ближайшее место, где им посчастливится поплавать в зеркале мерцающего кварца, находится у подножия возвышенности, образовавшейся от некогда полностью рассыпавшейся столовой горы. Возвышенность носила название Косы Старухи, потому что при сильном ветре становилась преградой для летящего песка и пыли, которые, столкнувшись с ней, раскаленными струями изгибались по ее сторонам. В лунном свете они напоминали трепещущие седые волосы.

Воины просто дали себе задание оберегать Лозен и будто покинули реальность. Это не означало, что они ничего не замечали вокруг, ибо для обнаружения опасности свое внимание обострили до предела. Они просто растворились в окружающем их мире, стали неотъемлемой его частью, и именно по этой причине смогут незамедлительно отреагировать на любое появление чего-то необычного или подозрительного.

Стараясь вовремя заметить возвышенность Косы Старухи, чтобы сразу направиться к ней, Аллинрильо пристально следил за восточной далью, колеблющейся волнами раскаленного воздуха. Услышав, что Лозен начала ровно дышать и идет, не пошатываясь, а уверенным шагом, он повернулся к ней с выражением полной откровенности на своем загорелом до черноты лице, однако от уголков его глаз к вискам разбежались морщинки, а сами глаза улыбались. Их взгляды перекрестились, и Лозен кивнула.

— Нана, — сказала она. — И весь его отряд. И пока я пыталась увидеть, как проплывают сны, страх, который всегда позади меня, приблизился и начал перебирать волосы на моем затылке.

Сначала возникнув в сознании Аллинрильо, а, затем, и в глубине его зрачков, несомые ветром пыль и песок натолкнулись на возвышенность Косы Старухи и разделились на желто-серые струи, чтобы после, изогнувшись, обтечь возвышенность и с новой силой полететь к горам Гила.

— Лозен, — сказал он.

— Нужно начти зеркало мерцающего кварца, — сказала предводительница.

Издали возвышенность Косы Старухи походила на круп падшей лошади, на котором сидели оцепеневшие стервятники.

— Ты уже видишь ее, — спросила Лозен, — возвышенность?

— Вдали. Она еле различима, — ответил Аллинрильо, а, затем, оглянулся.

— Ты смотришь — преследуют ли нас белоглазые?

— Да, но они не должны нас преследовать. Если бы другая рота, ступив на грязный путь, вышла из форта Апач, мы бы узнали об этом. Значит опасность для Наны исходит от тех белоглазых, офицер которых нас с тобой отпустил.

— Аллинрильо, — сказала Лозен, и Аллинрильо увидел, как натянулись под своей тяжестью, словно были металлическими, две дорожки луны в ее волосах. Лозен признательно посмотрела на Аллинрильо, и он увидел в ее черных глазах то, о чем она недавно грезила, но не сказала ему, и он подумал, что нет необходимости оборачиваться назад, чтобы вовремя заметить приближающихся к ним синих мундиров, — из глубины радужниц воительницы всплыл зелено-стальной отблеск, а за отблеском находилась еле различимая стена Могольон, так что двигающиеся у ее подножия синие мундиры выглядели ужасно крохотными. Они ехали так далеко от отряда Лозен, что изображения их тел словно увядали и комкались, как умирающая без дождя полоска синих цветов. Аллинрильо увидел многих из них, потому что, благодаря участию Лозен, вообразил даже лица некоторых кавалеристов, кроме скаута Белой горы, ибо тогда, возле ямы с водой, сумел разглядеть только его силуэт, но не видел лица.

— Как его зовут, Лозен? — спросил Аллинрильо.

Лозен поняла, о ком он спросил, но все равно задала вопрос:

— Кого, Аллинрильо?

— Скаута Белой горы, который мог выстрелить в тебя и в меня, но, как и белоглазый офицер, не сделал этого.

— Он просто подчинялся белоглазому офицеру, Аллинрильо. Не выстрелил офицер, поэтому не выстрелил и он.

— Нет, Лозен, — сказал Аллинрильо, — это не так. Ты ведь не видела его лица.

— Но ведь ты тоже не видел его лица, Аллинрильо.

— Ты спрашивай у своего сердца. Девочка, всегда спрашивай у своего сердца, — часто говорил старый Нана.

— Тогда как мы можем судить, почему он в нас не стрелял? — спросил Аллинрильо. Он думал, что после его слов глаза Лозен вспыхнут гневом, однако, увидев боль в ее черных радужницах, сразу перевел свой взгляд на черту юго-восточного горизонта.

13

Лейтенант Юджин Гейтвуд решил, что за все будет отвечать он один, и в тот же день, когда Серый Призрак прикрыл собой Лозен и не позволил сержанту Полу Осборну выстрелить в нее, предложил скауту Белой горы покинуть роту, ведь только кавалеристы придут в форт Апач или в резервацию Сан-Карлос, Серый Призрак будет сразу арестован и отдан под трибунал.

Он так и сказал ему, но Серый Призрак еще плотнее сжал губы, а его седые волосы, обычно тусклые, из-за чего всегда казались пепельными, вдруг вспыхнули белизной. И Гейтвуд в тот момент был полностью уверен, что апач Белой горы постоянно вспоминает о Первом Снеге, который, наверное, так и нет достиг Счастливого Места.

— Это я приказал не стрелять, полковник Кроуфорд, — отвечал Юджин Гейтвуд во время расследования. — И Серый Призрак выполнял мой приказ. То есть предотвратил кровопролитие.

— Другими словами, направил свой винчестер на сержанта Пола Осборна? Не слишком ли много о себе возомнил этот скаут? Если между вами, лейтенант, и между сержантом Осборном возникли разногласия, то уладить их имели право только вы, а не индеец. Он должен был просто ждать. Какое ему дело до вас?

Но лейтенант Гейтвуд еще раз спросил Серого Призрака:

— Ты согласен со мной?

— Да, лейтенант, — ответил Серый Призрак. — Я уйду ночью. У всех должно сложиться впечатление, что я сам, без вашего ведома, покинул роту.

— Хорошо, — сказал Гейтвуд. Он уже научился у Серого Призрака стараться как можно меньше внешне выражать свои чувства, и поэтому просто ушел взглядом вдоль стены Могольон в сторону резервации Сан-Карлос.

Серый Призрак начал отъезжать, чтобы осмотреть местность впереди, а Гейтвуд сказал ему, придерживав его за правую руку:

— Следующая очередь моя.

— Не понял, лейтенант, — полуобернулся Серый Призрак.

— Прикрыть собой Лозен, — ответил Юджин Гейтвуд.

— Да, лейтенант, — холодно ответил Серый Призрак, ведь ему ничего больше не оставалось, как только делать вид, что он внимательно смотрит в сторону северной пустыни.

Ветер в самом деле нес пыль, но с востока. Рыжевато-серая волна поднималась над землей ярдов на пять или восемь, однако она почему-то не докатились к идущему ей навстречу отряду чирикахуа, и Аллинрильо мог дать свою голову на отсечение, — преградой для несущегося с востока песка стал пристальный взгляд Лозен. Волна опала внезапно, подобно резко стянутой ширме. От возвышенности к плато Могольон летел калифорнийский гриф, и, возможно, волна пыли и была его небывало огромной тенью, но только выцветшей и вылинявшей за долгие века.

— Эта серая полоса пыли была призрачной, Лозен, — сказал Аллинрильо. — Она появилась и исчезла.

Но Лозен словно не слушала его. Кожа на ее скулах натянулась, глаза запали, и создавалось впечатление, что она снова пытается мечтать. Мгновение спустя воительница повернулась к Аллинрильо.

— Ты сказал — Серый Призрак — Аллинрильо? Ты так сказал? — спросила Лозен.

Но Аллинрильо понимал, что вопрос, заданный Лозен, не требовал ответа. Он не отвел глаза в сторону, а смотрел в глубину зрачков Лозен, откуда в них не появилось воспоминание Лозен о Нане, а также мысль, посылаемая Нане.

— Я так устала, Нана, так устала.

Но волна пыли опала, и вдали, наконец, показалась возвышенность Косы Старухи.

— Рваный Рассвет, — повелительно сказала Лозен, — пойдешь на восточную сторону возвышенности и там будешь сторожить до того времени, пока полынья, наполненная сукровицей, не достигнет конца омута грязного пути. С той стороны нам грозит меньше всего опасности.

— Да, Лозен, — сказал Рваный Рассвет. Он вручил удила своего коня Ране В Траве, а сам легко побежал к Косам Старухи. Воины и Лозен шли медленно, и достигли возвышенности, когда омут грязного пути полностью накрыл пустыню.

— Аллинрильо ляжет спать первым, — сказала Лозен. — Гиасиндо, притаись на западе от Кос Старухи. Если белоглазые нагонят нас и подойдут с твоей стороны, ты знаешь, что делать. Рана В Траве, будешь водить лошадей вокруг возвышенности. Возможно, что здесь встречается соленая мексиканская трава. Кавайкла, ты должен найти место между большими камнями и вырыть яму. Если повезет, мы сможем немного поплавать в зеркале мерцающего кварца. Разбуди меня и Аллинрильо, когда полынья, наполненная сукровицей, достигнет середины омута. Аллинрильо сменит тебя, я — Гиасиндо, а Рваного Рассвета — Кавайкла. Тогда вы, двое, будете спать до рассвета.

Воины, молча выслушав распоряжения Лозен, сразу отправились выполнять ее задание. Если бы кто-то очень близко приблизился к ним, он бы заметил, что каждый из них, слушая распоряжения Лозен, немного суживает глаза, будто пытается разглядеть что-то в темноте. Но и после того, как они осознали приказ своей предводительницы, глаза их оставались суженными, напряженными, и твердость в них не исчезла и не уменьшилась.

Аллинрильо провалился в сон моментально. В нескольких шагах от него Лозен расстелила шерстяное одеяло. Воин встрепенулся, но, увидев, что неподалеку от него ложится спать воительница, опять уснул. И сон его был тягучий и черный, как грязный путь. Но среди укравшего мир вязкого мрака, вне сна или во сне, сознание Аллинрильо бодрствовало, хотя и сжалось до крошечного комочка неусыпной бдительности, чтобы, если подкрадется враг, воин мог моментально проснуться. И во сне к Аллинрильо или вне сна доносились слова, сказанные глубоким женским голосом: «А Аллинрильо хороший. Он хороший».

— Лозен, — прошептал Кавайкла, направив ствол своего винчестера в сторону западной пустыни, — сейчас середина омута грязного пути.

— Мы сможем поплавать в зеркале? — спросила Лозен.

— Нет, ответил Кавайкла, — место, где зеркало кварца подошло бы близко к поверхности, я не нашел.

Поднявшись, Лозен осмотрела западную часть омута грязного пути и тихо сказала Кавайкле:

— Постарайся выспаться.

— Завтра будет трудно, Лозен? — спросил он.

— Не знаю, — ответила Лозен. — Но, возможно, завтра мы попытаемся спасти Нану.

— Разве мы не спасли Нану, когда ты стояла на аппалузе, а белоглазый рассматривал тебя в бинокль? Гиасиндо мне рассказывал, что синий мундир словно прирос глазницами к стекляшкам, которые приближают то, что находится далеко.

Лозен кивнула в знак согласия, дав понять, что разговор закончен. Она взяла винчестер и патронташ, а одеяло накинула себе на плечи. Она медленно пошла на запад, где залег Гиасиндо, и омут грязного пути накрыл ее, лишь одеяло еще некоторое время светлело в темноте, пока не поглотилось мраком полностью.

14

Я понимаю, лейтенант, — сказал полковник Чарльз Кроуфорд, — что именно Серому Призраку вы дали приказ не стрелять. Но все солдаты и сержант Пол Осборн поняли, что никто не должен стрелять. Вообще не стрелять. И именно на этой версии — запрет стрелять одному Серому Призраку, вы должны настаивать на суде. Вас в любом случае разжалуют. И для вас сейчас главное — убежаться от тюрьмы.

— Но, полковник, — сказал лейтенант Гейтвуд, — я давал приказ вообще не стрелять. Я не хотел, чтобы пролилась кровь.

— Кровь врага в военной кампании? Я вас не понимаю, лейтенант, — с озабоченным видом сказал полковник Кроуфорд. — Хотя, если бы кто-то выстрелил в Лозен или в ее воинов, Серый Призрак сразу бы убил Осборна. Однако, лейтенант, — Кроуфорд приблизил к лейтенанту Гейтвуду свое лицо, — если бы кто-то выстрелил в Серого Призрака, Осборн бы не пострадал. Ведь так?

Юджин Гейтвуд выжидающе посмотрел на полковника Кроуфорда и ничего не ответил.

— Как далеко Лозен и ее воины находились от вас, лейтенант Гейтвуд?

— Ярдах в пятидесяти, полковник.

— А как были расположены ваши кавалеристы?

— Шеренгой. Довольно плотной.

— Вот на этом и нужно делать акцент, лейтенант Гейтвуд, — многозначительным тоном изрек Кроуфорд. — Лозен хорошо видела, что Серый Призрак пытается ее спасти. И если бы кто-то убил Серого Призрака, она и ее воины начали бы стрелять. Апачи хорошие стрелки и, наверняка, несколько кавалеристов было бы убито. Вы дорожили жизнью своих солдат, лейтенант? Но вам нужно было догнать Лозен и обезвредить ее. Впрочем, вы этого не сделали. Вы... Скажите, он так дорог вам, этот Серый Призрак?

Лейтенант Юджин Гейтвуд поднял глаза и устало посмотрел на полковника Чарльза Кроуфорда. Он хотел сказать: «Не обязательно, полковник, когда находишься на грязном пути, вымарываться грязью», но тут же подумал, что полковник не поймет его. Вместо этого он мысленно обратился к Серому Призраку, потому что тот всегда поддерживал его и не сказал ему ни одного плохого слова.

— Я вам когда-то рассказывал, лейтенант, — однажды сказал Серый Призрак, — что апачи в военном походе используют особый язык.

Да, Серый Призрак, я знаю. Когда, например, воин хочет пить, он говорит: «Хочу плавать в зеркале мерцающего кварца».

— Правильно, — скаут Белой горы улыбнулся. — А войну апачи называют грязным путем. Ведь убивать людей — это грязь, лейтенант, и апачи это понимают. Костер или огонь в военном походе чирикахуа называют Раздумывающий, ночь — омутом грязного пути, а луну — полынней, наполненной сукровицей.

— Полковник, — лейтенант Гейтвуд снова поднял глаза на Чарльза Кроуфорда, и они были ясными и твердыми, как глаза Лозен, — скажите, особенная обстановка требует особенных слов?

— Возможно, лейтенант.

— А особенные слова — особенных поступков?

— Я не улавливаю вашу мысль, лейтенант. Но, в принципе, согласен.

— Тогда что мне объяснять? То, что сделал я и Серый Призрак, это особенные поступки в исключительных обстоятельствах.

— Надеюсь, что я вас понимаю, лейтенант Гейтвуд. Но большинство людей таковы, что в синтаксисе их языка нет особенных слов для исключительных обстоятельств. Даже новое и необъяснимое они объясняют старыми словами.

— В этом и состоит разница между белыми американцами и апачами, полковник.

15

Начинающее всходить солнце отбросило от возвышенности Косы Старухи длинную бордовую тень, доходившую до того места, где лежала Лозен и внимательно смотрела в сторону плато Могольон. Ее губы потрескались, горло пересохло — зеркало мерцающего кварца оставалось недосягаемым.

Когда она обернулась назад, возвышенность ей показалась низким и разлогим облаком пыли, будто кавалеристы, широко расставившись, приближались к ее отряду с востока. Однако Лозен знала, что Нана находится возле стены Могольон, и что синие мундиры будут преследовать именно его.

Кавайкла оставался еще по ту сторону возвышенности. Слепленный диском солнца, он тщетно пытался ухватиться взглядом за линию горизонта, но потом посмотрел в сторону, чтобы белесокрасная пелена, укрывшая его глаза, исчезла. Он увидел нечто, похожее на низко стелющуюся над землей пыль, хотя ветра не было и весь мир напоминал неподвижную глубину абсолютного забвения с одной единственной, но самодостаточной мыслью, которой было отрывающееся от земли солнце.

Кавайкла знал, что нужно периодически поворачиваться назад и смотреть на возвышенность. Его одноплеменники могли подать сигнал об опасности в любой момент. Он перевел взгляд от низко стелющейся пыли на Косы Старухи и ощутил на лице пятнышко света, — солнечный зайчик высветил в его глазах удивление. Кто-то из воинов два раза послал в его сторону лучик, отраженный от маленького зеркальца. Такие зеркальца для подачи сигналов апачи, вышедшие на грязный путь, носили с собой всегда.

Опасности нет и нужно возвращаться — понял Кавайкла. Поднявшись, он трусцой побежал к возвышенности. Во время бега Кавайкла подобрал небольшой камушек и положил его себе под язык — так легче переносить жажду. Но пока он бежал к своему отряду, сумел лучше разглядеть низко стелющуюся над пустыней пыль. И первое, что он сказал, увидев уже вернувшуюся со своего поста Лозен, это:

— На юге словно бы низкая волна пыли. Но это может быть трава, Лозен.

Лозен ни секунды не медлила, а окинув своих воинов взглядом, махнула рукой в сторону еле видимой белесой полосы. Подхватив лошадей за поводья, весь отряд легко и упруго побежал на юг, будто никто из них не испытывал усталости и не страдал от жажды.

Это в самом деле оказалась трава, но почти высохшая, — только возле земли иногда можно было разглядеть зеленый цвет стеблей. Солнце на два пальца оторвалось от земли, так что, если на траве за ночь образовалась роса, она не могла еще испариться. Лозен нагнулась и провела по траве ладонью. Рука немного увлажнилась. Ни одного слова не было промолвлено, но все действовали слаженно и быстро. Воины сняли с себя ситцевые рубахи и налобные повязки, чтобы обмотать ими свои голени. Лозен некоторое время, опустив голову, смотрела на свою изорванную колючим чапарралем юбку, пропитанную пылью и укрытую пятнышками смолы от креозотовых кустов. Она оторвала низ юбки. Ее ноги обнажились до колен. Куском оторванной материи Лозен обмотала свою левую голень, затем, сняв с головы повязку, обмотала ею правую.

Лейтенант Гейтвуд придержал коня, и едущий рядом с ним Серый Призрак сразу отреагировал.

— Лейтенант? — спросил он и тоже остановил коня.

Гейтвуд бросил взгляд на восходящее солнце.

— Я думаю, Серый Призрак, — сказал он, — что апачи дали загадочное название обычному процессу утоления жажды: плавать в зеркале мерцающего кварца.

Серый Призрак сощурил свои желто-коричневые глаза.

— Мир необъясним, лейтенант, — сказал он.

— Да, — согласился Юджин Гейтвуд и, чтобы быть ослепленным, посмотрел на диск восходящего солнца. Им двигало подсознательное желание, поэтому он долго не отрывал глаз от пылающего диска, словно желал поглотиться им.

Серый Призрак, наклонив голову, перебирал пальцами гриву коня, и конские волосы показались ему струями пыли, даже струнами пыли, ибо так случается, когда внезапно начинается пылевая буря, и ветер хлещет по пустыне летящим песком, как плетью.

— Что? — спросил лейтенант. Он еще не мог разглядеть Серого Призрака, так как перед его глазами плыли алые и оранжевые пятна.

— Вы пытаетесь не смотреть на Лозен, хотя бы некоторое время не видеть ее перед собой. Но солнце ослепляет глаза, а не сердце, — сказал Серый Призрак.

Постепенно сквозь алые и оранжевые пятна перед глазами лейтенанта начало прорисовываться задумчивое лицо скаута Белой горы, который все еще перебирал пальцами конскую гриву.

— Интересно, что сейчас делает Лозен? — спросил лейтенант Гейтвуд.

Серый Призрак недоверчиво посмотрел на Юджина Гейтвуда.

— Но ведь вы только что пытались не смотреть на неё, лейтенант.

— Ты хочешь сказать, что я ее видел?

— Разве нет? — растерянно спросил Серый Призрак, и Гейтвуд осознал, что постоянно видел ее. Она смотрела ему в глаза сосредоточенно и изучающе, и он не мог отвернуться от ее пытливого взгляда.

— Лозен хочет плавать в зеркале мерцающего кварца, Серый Призрак. У нее уже нет сил.

Серый Призрак понимающе кивнул.

— А ведь солнце только поднимается, и день будет безжалостным, — сказал он. И хотя надежды было мало, Лозен и ее воины пошли по траве. Если росы будет достаточно, она напитает влагой материю, обмотанную вокруг голени чирикахуа. Они прошли до конца участка, поросшего травой, затем повернули обратно. Не выходя из травы, каждый освободил голени от рубашек и головных повязок и выжал влажную материю себе в рот. Зеркала мерцающе-

го кварца хватило на глоток или два, но они все равно, хоть немного, но поплавали. Плавали, залитые лучами восходящего солнца, совершенно равнодушно к их страданиям, но в то же время прерывающего, сминающего омут грязного пути, на который они и отряд Наны вышли, покинув резервацию Сан-Карлос.

16

— Лейтенант Гейтвуд, вы долгое время думали, что преследуете только отряд Лозен. Но, когда Серый Призрак направил свой винчестер на сержанта Осборна, догадались ли вы, что шли по следу то одного отряда апачей, то другого?

— Если это так, то и в одном отряде и в другом оставалось по шесть лошадей, полковник, — сказал лейтенант Гейтвуд. — Поэтому я думал, что преследую один и тот же отряд.

— След одной лошади так же отличается от следа другой, как следы ног разных людей. И апачи умеют замечать эти различия. Получается, лейтенант, что Серый Призрак, которому вы так доверяли и продолжаете доверять, попросту вас обманывал.

Полковник Кроуфорд стоял спиной к окну, лицо его было затененным. И хотя лейтенант Гейтвуд сидел на табуретке, все равно посмотрел на полковника словно свысока, но без презрения, а немного отстраненно.

— Полковник, — сказал он, — следов другого отряда мы никогда не видели. И если второй отряд и был, то он передвигался только по тем местам пустыни, которые были укрыты камнями. И если у этого отряда были лошади, их копыта воины обмотали кожей, чтобы никаких следов, даже слабой царапины на камне. Серый Призрак однажды обнаружил следы от одеял, то есть ранним утром заметил места на камнях, где спали чирикахуа, расстелив свои скатки. Утром россыпь камней была влажной от росы, однако те места, где спали апачи, оказались сухими.

— А те шесть лошадей, которых повел за собой смертник? Мы узнали его имя.

— Как его звали, полковник? Он был достойным человеком.

— Перико, — ответил полковник Кроуфорд, пристально посмотрев на Гейтвуда. — И он из отряда Наны. Точнее, он из тех, кто входил в близкое окружение Наны. Следы лошадей, которых увел Перико, не были следами лошадей отряда Лозен. Это очевидно.

— Но мы решили, что, возможно, в отряде Лозен больше воинов, или Лозен решила избавиться от обессиленных лошадей. В любом случае, полковник, если бы даже мы обнаружили две группы чирикахуа, одна из которых пешком уходила на юг, а другая передвигалась на лошадях, мы бы подумали, что отряд Лозен разделится. Апачи так часто делают.

— Я знаю, лейтенант, — сказал полковник Кроуфорд. — Они используют две или более возможности, чтобы кому-то из них повезло. Или тем, кто передвигается пешком, или тем, кто остался с лошадьми. Апачи всегда стараются распылить силы противника, а затем, соединившись в условленное время, уничтожить одну из групп нашей армии. Они хитрые бестии, лейтенант.

Полковник Кроуфорд достал сигару, хотел закурить, но передумал или забыл об этом.

— Вы и сейчас думаете, полковник, что недалеко от отряда Лозен находился отряд Наны, тоже состоящий из шести воинов?

— Не уверен, лейтенант. Просто резервацию вначале покинули двенадцать человек. Среди них Лозен и Нана. Поскольку Лозен и Нана являются лидерами апачей, легко предположить, что после эти двенадцать человек разделились на два отряда.

— Полковник, — сказал лейтенант Гейтвуд, — все могло произойти. Но могло случиться, что в данной ситуации командовал Нана, а Лозен ему подчинялась, или наоборот. Серый Призрак ничего об этом не знал. И я тоже.

— Да, лейтенант, — задумчиво проговорил полковник Кроуфорд. — Лозен обвела нас вокруг пальца. Возможно, что она действовала по заранее продуманному сценарию, потому что...

Кроуфорд задумался.

— Что, полковник? — спросил лейтенант Гейтвуд.

— Дело в том, лейтенант, что спустя несколько дней после того, как мы послали вдогонку Лозен и Наны вашу роту, резервацию покинуло 128 человек. Большинство из них женщины и дети. Среди них было несколько воинов, то есть мальчиков от тринадцати до пятнадцати лет, но уже способных обращаться с винчестером. Поэтому Лозен не начала войну. И Нана старался не прибегать к военным действиям. Их задачей было отвлечь нас от женщин и детей, и только при крайней необходимости вступить с нами в бой. Пока мы гонялись за Лозен и за Наной, те сто двадцать восемь человек уже достигли своей родины в Охо-Калиенте или же в Северной Мексике сейчас соединяются с отрядами Джеронимо и Ху. И Перико, лейтенант, стал смертником только из-за случайного стечения обстоятельств. Если бы ему повезло, он ушел бы дальше на юго-запад и затерялся бы в ущельях Гила. С лошадьми или без.

Лейтенант Гейтвуд склонил голову. Он не хотел, чтобы полковник Кроуфорд увидел восхищение в его глазах, ибо Лозен была удивительной женщиной.

— Почему вы пытались ее не видеть, лейтенант? — спросил у Гейтсвуда Серый Призрак.

— Я не пытался ее не видеть. Да, со стороны казалось, что я смотрю только на солнце. Но я просто смотрел в ту сторону, где находилась Лозен.

Иногда лейтенант Юджин Гейтвуд ловил на себе пристальный взгляд. Он догадывался, о чем хочет его спросить Осборн, ведь не прошло и суток, как Серый Призрак вырвал из рук сержанта карабин и направил на побагровевшего от злости кавалериста свой винчестер.

Гейтвуд только краем зрения видел Лозен и ее воинов, выстроившихся против длинной шеренги всадников в синих мундирах. Он не сделал попытки повернуться налево и встретиться глазами с воительницей. Все его усилия были направлены на то, чтобы не прозвучал ни один выстрел. Он не мог ручаться за апачей, но винчестеры они держали за своими плечами, значит не намеревались начать перестрелку. Любое неосторожное движение кого-то из кавалеристов, и Серый Призрак, не раздумывая, убил бы сержанта Осборна, а затем постарался за те несколько секунд, что остались ему до смерти, забрать с собой в Счастливое Место как можно больше белоглазых.

— Никто не выстрелит в Лозен, — сказал Серый Призрак, направив свой винчестер на сержанта.

И лейтенант Гейтвуд отдал приказ не стрелять. Подсознательно он приказал и апачам, и самой Лозен, а затем, замечая предводительницу чирикахуа только краем зрения, думал, с какой, наверное, насмешкой смотрела на него эта женщина. Но в то же время он понимал, что она в тот момент позволила ему быть командиром и ее воинов, и ее самой. Те бесконечно долгие двадцать или тридцать секунд она подчинялась ему, лейтенанту Гейтвуду. Но подчинялась с вызовом, с нескрываемым любопытством наблюдая за лейтенантом, ибо, естественно, догадалась, что он дал приказ не открывать огонь.

И хотя Гейтвуд видел Лозен и ее воинов только периферийным зрением, все же он заметил, как один из чирикахуа начал медленно снимать с плеча винчестер, но легкое движение руки Лозен — воительница просто распрямила пальцы, выбросила их как лучи, и Аллинрильо, ибо это был именно он, оторвал ладонь от ремня винчестера, перекинутого через плечо, и крепче сжал уздечку.

Лейтенант Гейтвуд опустил руку на рукоятку револьвера, но не вытянул оружие из кобуры. Даже не от его команды, а, скорее, от его пронзительного взгляда кавалеристы застыли, как за гипнотизированные. Но краем зрения Гейтвуд видел Лозен. Видел, что ее блузка на груди расстегнута, и что через плечо перекинут патронташ.

Воительница находилась в шестидесяти ярдах от лейтенанта Гейтвуда, но он не смотрел на нее, а уходил взглядом вдоль ровной шеренги кавалеристов. Краем зрения он видел ее развевающиеся на ветру волосы и бегущие к телу пустыни две дорожки луны, ибо

времена стали связанными в крепкий узел, день и ночь переплелись между собой, и под раскаленным солнцем грязный путь освещался еще и лунным светом. И на этом пути, в зеркале мерцающего кварца струились две серебристые ленты.

Гейтвуд понимал, что отвечает за жизнь каждого солдата своей роты. И он в самом деле прилагал максимум усилий, чтобы сберечь жизнь всех своих подчиненных. Стоило кому-то одному сделать резкое движение, кавалеристы сразу бы дали по апачаам залп, ведь все они держали свои карабины на прицеле. Все чирикахауа были бы убиты, но, возможно, кто-то из них, уже смертельно раненый, во время падения с лошади успел бы снять с плеча винчестер и послать пулю в белоглазых.

«Среди пылающего жаром дня вдруг увидеть две дорожки луны, — много позже думал Гейтвуд. — разве это не удивительно?» Он сделал все возможное, чтобы никто из солдат не пострадал, и всем сердцем желал, чтобы воины Лозен и сама она остались живы. Он спасал всех. Он держал руку на рукоятке револьвера и хотел крикнуть на всю пустыню:

— Девочка, уходи! Ты должна мечтать!

Но он только дал приказ своим солдатам и взбешенному сержанту Полу Осборну:

— Не стрелять!

И когда Серого Призрака вели к платану на казнь, апач Белой горы оставался отрешенным от всего, что происходило вокруг. Мнилось, что в мире не осталось никого, один только Серый Призрак и его воспоминания о Лозен. И когда Серый Призрак увидел лейтенанта Гейтвуда, охраняемого двумя капралами, он благодарно посмотрел на своего бывшего командира, а спустя несколько минут, как только начали натягивать веревку, сказал:

— А ведь никто не выстрелил в Лозен. Никто не осмелился.

18

Серый Призрак находился впереди отряда, поскольку должен был искать на теле пустыни места присутствия чирикахауа. Гейтвуд следовал за ним и постоянно ловил на себе подозрительный взгляд сержанта Осборна.

Вихри пыли стелились низко над землей, огибая ноги усталых лошадей, словно всадники выехали на дотла выжженную землю, на бесконечное и все еще тлеющее кострище, подернутое седым дымом.

Может именно поэтому Пол Осборн подумал, что для Серого Призрака это самое лучшее время, чтобы ускользнуть и скрыться в ущельях Могольон. Каждый шаг лошадям давался с усилием. Они не смогли бы сделать даже короткий рывок, но Серый Призрак не предложил вести лошадей за поводья, чтобы сберечь их силы, по-

тому что солдаты тоже еле-еле держались на ногах. Что касалось лошади самого скаута Белой горы, то Пол Осборн думал: «Апачи умеют управляться с лошадьми, да и, возможно, у Серого Призрака особенная лошадь. Скакун с дремлющими в нем силами, и поэтому Серый Призрак может сделать рывок, как только наступит подходящий момент».

Струи пыли скользили между ног лошадей, и это заставило Пола Осборна враждебно смотреть еще и в сторону дымящейся седыми вихрями пустыни, ибо две дорожки луны в волосах Лозен клеймом отпечатались в его памяти, как и в памяти остальных солдат роты Гейтвуда. Однако мысли Пола Осборна о седых прядях в волосах Лозен были неосознанными и напоминали предчувствие сна или смутную догадку о приснившемся сне. Впрочем, на туманное воспоминание о волосах Лозен наслаивалась уже четко оформленная мысль о вездесущем присутствии воительницы апачей в каждом месте пустыни от стены Могольон до гор Гила. И сержанту мнилось, что это именно на него Лозен смотрела изучающе, уходя двумя дорожками луны в своих волосах если не в другое измерение, то, по крайней мере, в другое время суток, в последующие или канувшие события. Пол Осборн ничего не знал о зеркале мерцающего кварца. С точки зрения Лозен, Серого Призрака и лейтенанта Гейтвуда он вообще ничего не знал и находился в полнейшем неведении относительно всего важного и значимого на этой странной Земле.

Лейтенант Гейтвуд видел, что Осборн по очереди подъезжает к каждому капралу и о чем-то с ними разговаривает. Видел, что во время этих разговоров капралы с опаской поглядывали то на Серого Призрака, то на него, лейтенанта Гейтвуда.

Нет, Лозен не смотрела на сержанта Осборна. Он ее совершенно не интересовал. Да и Серый Призрак прикрывал сержанта от ее пытливых глаз, направив на него свой винчестер. И уже после, когда апачи исчезли, Серый Призрак сказал лейтенанту Гейтвуду:

— Сержант Осборн смотрел на Лозен, но я не уверен, что он видел ее лицо.

— Он не видел ее лица, Серый Призрак, — уверенно сказал лейтенант Гейтвуд. — И он не из тех людей, которые могут узнать человека, даже не увидев его лица.

И Серый Призрак очень медленно и многозначительно кивнул и так растерянно и по-детски посмотрел на лейтенанта своими желто-коричневыми глазами, что Гейтвуд перевел глаза к стене Могольон и скользнул взглядом вверх, туда, где стена пыталась разрезать выпирающими из нее зубцами белесое небо.

Серый Призрак ехал впереди. Иногда он наклонялся, даже свисал с коня, чтобы лучше разглядеть землю, когда замечал что-то подозрительное, затем выпрямлялся, как струна, гибкий и стройный, и Гейтвуду казалось, что волосы скаута Белой горы, вспыхивающие под солнцем редкими седыми прядями, были каким-то об-

разом связаны с двумя дорожками луны в волосах Лозен. И вдруг Гейтвуд подумал, что седые пряди Серого Призрака являются отражением тоски и душевной боли воительницы апачей.

Мнилось, что возвышенность Косы Старухи струящимися вихрями разметала свои волосы по всей пустыне и словно замедляла передвижение уже почти полностью изнуренных лошадей. Никто из кавалеристов не помышлял, что низко стелющаяся пыль может подняться выше и, тем самым, затруднить их дыхание, но они догадывались, что за них начинает думать пустыня. Их подобия мыслей были слепыми, как и кажущаяся выжженной земля. Когда Гейтвуд поворачивался и смотрел на них, его сердце наполнялось предчувствием, что они, растворяющиеся в белесо-оранжевых наплывах пыли и исходящей от солнца жары, возникли раньше времени. Его роту, но не его самого и не Серого Призрака, можно было бы назвать преждевременными мыслями пустыни о будущем. Но будущее, как бы оно смутно не вырисовывалось, когда-то наступает, и Серый Призрак, полуобернувшись, тихо бросил Гетвуду:

— Вдали что-то подозрительное, похоже на сидящего человека. Я подъеду ближе и посмотрю — что к чему.

Его конь неуклюже и тяжело перешел на рысь. Серый Призрак пригнулся и потянулся рукой к винчестеру, находящемуся в специальной длинной кобуре, прикрепленной к седлу, а когда начал выпрямляться, позади Гейтвуда почти одновременно раздались крики и выстрел.

— Он пытается убежать! — кричал сержант Осборн.

На спине Серого Призрака расплывалось алое пятно, а сам он начал сползать с коня и вот-вот должен был упасть на землю.

— Не стрелять! — крикнул Гейтвуд. Повернувшись, он увидел в руках Осборна дымящийся спрингфилд.

Серый Призрак свалился бы с седла, но лейтенант, спешившись, подхватил его, помог слезть с коня и сразу попытался определить — тяжело ранен скаут Белой горы или нет. Пуля пробила тело насквозь — вошла чуть выше правой лопатки и на вылете раздробила ключицу.

— Ты выживешь, Серый Призрак, — сказал Гейтвуд, поддерживая скаута Белой горы.

Но, казалось, что Серый Призрак не чувствует боли. Он смотрел на кавалеристов, будто они представляли собой постепенно сшиваемые в манекены размывы пыли и пригоршни песка.

— Они хотели убить меня потому, что никто из них не осмелился выстрелить в Лозен, — сказал апач Белой горы.

Придерживая Серого Призрака, лейтенант Гейтвуд смотрел на своих кавалеристов и видел их существами, пытающимися преодолеть колеблющуюся пелену, состоящую из песка и сизой пыли. Когда лица солдат упирались в волнующуюся под ветром серую шир-

му, они начинали приобретать человеческие черты, но усредненные, лишённые индивидуальных черт, присущих каждому человеку. А когда ширма сильнее растягивалась, создавалось впечатление, что вот-вот должно родиться лицо сержанта Осборна или лицо капрала Рамиреса, однако мутная пелена снова отодвигалась, и солдаты уходили в забвение.

Гейтвуд подумал, что пелена упала на его глаза. Но в то же время осознавал, что все вокруг он видит ясно и предельно четко. Его зрение стало обостренным, а взгляд пронизательным. Просто каждый кавалерист утратил свою неповторимость. И хотя, посмотрев на лицо любого из них, Гейтвуд мог бы сказать — кто это, все его подчиненные стали для него на одно лицо. Внезапно лейтенант почувствовал, что жаром обжигает его правую щеку, хотя солнце находилось слева от него. Серый Призрак смотрел на Гейтвуда задумчивыми глазами, а затем, бросив взгляд на кавалеристов, прошептал:

— Теперь вы узнали, лейтенант, как видит белоглазых Лозен. Она может различить каждого, но все равно они для нее ничем друг от друга не отличаются. Они как муравьи, лейтенант...

— Почему, Серый Призрак? — спросил Гейтвуд, не отрывая глаз от пелены, сквозь которую к нему приближались кавалеристы его роты.

— В их душе нет радуги, лейтенант.

— Какой радуги, Серый Призрак?

Серый Призрак горько улыбнулся.

— Лейтенант, апачи говорят: «В душе не будет радуги, если в глазах не было слез».

— Поэтому они не могли в нее выстрелить? — спросил Гейтвуд. — Потому что смотрели на Лозен, как сквозь пелену, то есть не могли различать?

— И по этой причине тоже, лейтенант.

Даже когда кавалеристы подъехали ближе, их лица Гейтвуду все равно казались, как окаменелые. И они были проникнуты одним желанием, но не мечтой.

«Странно, — подумал лейтенант Гейтвуд, — когда Лозен мечтает, она пытается определить, в какой стороне пустыни находится враг. Она словно срывает пелену с пространства, и, возможно, слова Серого Призрака — «Но ведь вы не видели ее лица, лейтенант», — указывали на настоящую пелену, которая застилает глаза белоглазых».

Калифорнийский гриф, удаляясь от стены Могольон, прочертил между Гейтвудом и его кавалеристами тень, но не сплошной прямой, а прерывистой линией, ибо из-за низко стелющихся над землей вихрей пыли тень птицы временами как бы сминалась белесыми струящимися жгутами.

— Лейтенант, — сказал Пол Осборн, — не утруждайте себя. Мы не будем везти этого раненого апача в форт, чтобы там, после трибунала, его повесили. Это легкая смерть для предателя. У нас и так мало воды. Оставим его здесь. Вон и гриф уже появился, — чует умирающую плоть.

Лейтенант Гейтвуд просто смотрел на своих кавалеристов, пытаясь вспомнить, кто из них — кто.

— Лейтенант, — сказал Пол Осборн, — тот колодец, который мы рыли у подножия стены Могольон, можно углубить. Там водоносное место, так что влага начнет просачиваться сквозь почву, и нам хватит воды, чтобы доехать до форта. Скаут нам не нужен. Пусть умирает здесь. Почему вы молчите, лейтенант?

А лейтенант Гейтвуд все старался припомнить: кто из них — кто. Это не означало, что, бросив взгляд на кого-то из своих солдат, он не вспомнил бы его имя и фамилию. Он вспомнил всех. Но вспомнил своих подчиненных не как полностью родившихся людей. Они предстали перед ним трафаретными персонажами, созданными игрой пыли, летящего песка, нещадной жары и удаляющейся на восток тени калифорнийского грифа.

А потом он начал их забывать и после помнил только Серого Призрака и Лозен. А еще — ее верных и безмолвных воинов, которых в отряде воительницы было столько же, сколько пальцев на одной руке.

И солдаты, и сержант Осборн словно погружались в небытие, словно это сама пустыня вынесла им приговор. И это не означало, что кавалеристы реально исчезли, — просто сознание Гейтвуда уже не способно было их очерчивать, как живых существ, и лейтенант поймал себя на мысли, что слушает не Осборна, а вырытую для добычания воды и заносимую песком яму в пустыне. Но воды в этой яме никогда не будет.

Лозен не видела роту кавалеристов, но смотрела в сторону плато Могольон и догадывалась, что белоглазые находятся именно там. Там находились и этот странный офицер, который дал команду не стрелять, и отчаянный и верный Серый Призрак. Лозен имела возможность разглядеть всех преследующих ее отряд синих мундиров, хорошо запомнила выражение лица сержанта Осборна, собирающегося в нее выстрелить, но все равно внешность каждого увиденного ею солдата была словно слеплена из праха, лишь на некоторое время под воздействием ветра пустыни обретающего черты какого-то конкретного человека. Она знала, почему эти люди созданы такими. По крайней мере, кажутся такими. Они не умеют мечтать. И во время скачки по пустыне никто из них не крикнет краснолицему сержанту: «Мечтай, Осборн, мечтай!» От них ничего не останется, кроме праха и образа ослабевающей колонны смерча, бьющегося о стену плато Могольон.

— Вы сошли с ума, лейтенант! Вы дали нам команду не стрелять, когда нас пятьдесят пять человек, а апачей только шесть. Пять тощих измученных воинов и одна баба. Мы бы свалили их одним залпом.

Иногда на будто состоящим из пыли и песка лице Осборна, что мнилось, вот-вот, и оно начнет рассыпаться, начинали влажно обозначаться мутные глаза, но они неспособны были отобразить живую игру зеркала мерцающего кварца.

— Вас тоже ждет трибунал, лейтенант, — говорил сержант Осборн. — Команду не стрелять вы дали два раза. Первый, когда апачи подъехали к нам и выстроились. Второй, когда Серый Призрак наставил на меня винчестер. Вы что, не помните этого, лейтенант Гейтвуд?

Но Гейтвуд слышал его слова, словно доносящиеся издалека, из канувшего, навсегда исчезнувшего и занесенного песком.

Кроуфорд нервно мотнул головой.

— Сержант Осборн рассказал, — проникновенным голосом сказал он, — что вы никак не реагировали на его доводы и предложения капралов. Вы покинули солдат и остались с раненым Серым Призраком. Вы даже не смотрели на своих подчиненных, лейтенант. Осборн сказал, что ваш взгляд был устремлен на юг, туда, где должны были находиться чирикахауа. Поскольку вы не хотели покидать Серого Призрака, как и конвоировать его в форт для вынесения трибунала, то просто сидели на земле, положив голову этого апача себе на колени. Осборн оставил с вами семь человек во главе с капралом Рамиресом. Вы слышите меня, лейтенант?

Гейтвуд сначала услышал голос Чарльза Кроуфорда, и лишь через несколько секунд лицо полковника как будто начало всплывать из воды, посыпанной пеплом. Рваными и длинными клочьями в комнате шевелился и полз к окну дым от сигары, «Потому что, — подумал Гейтвуд, — пустыня проникла и сюда, и разметала даже здесь, в кабинете полковника Кроуфорда, седые Косы Старухи.

— Но никого не было, полковник, — тихо сказал он. — Вообще никого. Только я и Серый Призрак. И еще жара, жара и жажда. И ни в моей фляге, ни во фляге Серого Призрака не осталось ни капли воды.

— Возможно, лейтенант, что сержант Осборн врет. Возможно, что врут все солдаты, ибо они были вами оскорблены. Ведь вы постоянно общались только с Серым Призраком и никого из солдат не подпускали к себе. Вам не кажется, что вы не замечали ваших подчиненных задолго до встречи с отрядом Лозен?

Гейтвуд улыбнулся, но не Кроуфорду, а своему воспоминанию. Он остановил свой взгляд на лице полковника и уже не отрывал.

— Однако, лейтенант, — продолжал Чарльз Кроуфорд, — ваше постоянное оттягивание нападения на отряд Лозен привело к положительному результату.

Кроуфорд надеялся, что в глазах Гейтвуда загорится любопытство, но в них была только усталость.

— Другими словами, лейтенант, хотя резервацию Сан-Карлос покинули сто сорок чирикахуа, беглые апачи не совершили ни одного нападения ни на мирных жителей, ни на военных. И с ними случилась только одна стычка, в которой погибли два ваших скаута. Но это индейцы. Только условно можно считать, что они входили в ваш личный состав. Да, лейтенант, я имею ввиду случай с Перико, который убил скаутов Алонсо и Первого Снега. В очень непростых условиях вы сохранили всех своих солдат, лейтенант Гейтвуд, и применили такую тактику, что преследуемые вами апачи не напали ни на одно ранчо, ни на одного ковбоя или вакеро, не разграбили ни один дилижанс. Я подчеркну это на суде. Но как вас покинул ваш личный состав?

Гейтвуд не отрывал глаз от полковника Кроуфорда, и тот посчитал острый взгляд лейтенанта демонстрацией доверительности.

— А что они говорят, полковник?

— Говорят, что перестали вас видеть, что вы сошли с ума, что, придерживая Серого Призрака, вы пошли на юг навстречу чирикахуа.

— А потом, полковник?

— Лошади? Вы это имеете ввиду? Я тоже задавал этот вопрос, и Осборн объяснил, что животные полностью обессилели, так что после ранения Серого Призрака солдаты вели лошадей за удила. Они, — полковник задумался, — пытались все свалить на пыльную бурю, которая серым пологом накрыла пустыню. А когда все затихло, и пыль опала, никто не видел ни вас, ни Серого Призрака. Они думают, что вы сошли с ума и пошли на юг к беглым апачам.

Гейтвуд посмотрел в окно, но до плато Могольон было так далеко, что его взгляд не мог до них добежать. Здесь, в форте Апач, стены Могольон не существовало.

— Но я не видел их, полковник. Точнее, не видел их отчетливо.

— Что-то в этом роде говорят и солдаты вашей роты. Они обиделись на вас. Они рассказывают, что вы видели только Серого Призрака. Понимаете? Замечали только его. Даже когда Лозен и ее воины выстроились перед вашей ротой, вы не смотрели ни на нее, ни на других апачей, а не сводили глаз с Серого Призрака.

— Но, полковник, — сказал лейтенант Гейтвуд.

— Я понимаю, — полковник Кроуфорд натянуто улыбнулся, — что вы уважали и уважаете Серого Призрака, и в той ситуации пытались контролировать именно его, скаута Белой горы, ибо он вел себя безрассудно. Вы приложили все усилия, чтобы не пролилась кровь. В первую очередь кровь сержанта Осборна.

Чарльз Кроуфорд опять начал курить сигару. Дым расходился по комнате и становился похожим на еле колеблемые седые вихри.

Гейтвуд ждал, чтобы седина заструилась между ножками стола, обогнула Кроуфорда и приблизилась к окну, словно притягиваемая открывающимся из него видом пустыни.

— А напрасно вы не посмотрели на Лозен, лейтенант, — сказал полковник Кроуфорд. — Она красивая женщина.

— Но ведь вы не видели ее лица, полковник.

Чарльз Кроуфорд бросил недоумевающий взгляд на Гейтвуда.

— Теперь я понимаю, — сказал он. — Эта военная кампания в пустыне подействовала на вас. Да что там таить, она подействовала на всех. Болезненно подействовала. А что касается Лозен, — Кроуфорд задумался, — почему я подумал, что Лозен красивая женщина? Я просто наблюдал за вашим лицом, и когда говорил вам о Лозен, в ваших уставших глазах появлялся какой-то вызов, и вы не видели меня.

Гейтвуд вскинул глаза.

— Вы не видели меня, лейтенант. И солдат вы тоже не видели. Почему?

Лейтенант Гейтвуд хотел ответить: «Потому что все любят Лозен». Но он промолчал и только отметил про себя, что наполнивший комнату серыми мазками дым от сигары начинает заволакивать, прятать за собой лицо полковника Кроуфорда.

19

Нана оглянулся и бросил тоскливый взгляд на север. Седой, как лунь, он замыкал идущий цепочкой отряд, а впереди, в большем отрыве от остальных воинов, шел Агирре или Тот, Кто Нигде и, если бы вдали появились белоглазые, Агирре остался бы для них незамеченным, ибо его, оплавленного зноем и укрытого солнечными бликами, как бы не существовало.

Старый Нана замедлил шаг и оглянулся, — белки широко открытых глаз вспыхнули, будто склеры отражали не солнечный полдень, а польною, наполненную сукровицей. Седые волосы, обретенные под короткое каре, отливали сиянием омота грязного пути, который полной луной передвигает купол неба к разжиженным всплескам рассвета.

Нана и его отряд продолжили путь на юг поздним утром, а до этого, изнуренные многодневным скитанием по пустыне, почти сутки лежали в небольшой впадине возле плато Могольон и не поднялись даже тогда, когда Даклуги заметил на севере облако пыли. Это могло означать только одно: солдаты скачут на лошадях, они уже близко, и убежать от них не имеет никакого смысла. Чирикахуа не знали, что пыль поднялась не только из-под копыт коней кавалеристов, но и лошадей отряда Лозен.

Еще несколькими днями ранее Лозен, мечтая вместе с пустыней, словно с живым существом, почувствовала, что отряду Наны

грозит опасность. Она постаралась отвлечь кавалеристов Гейтвуда, поскакав к ним навстречу с двумя воинами — Гиасиндо и Аллинрильо. Именно тогда Гейтвуд впервые увидел воительницу, разглядывая ее в бинокль. На сердце Лозен просто легла мысль, что Нана находится в тяжелом положении, но она ничего не знала о Перико и о том, что отряд Наны остался без лошадей. Однако, через двое суток, тоже мечтая, она наполнилась печалью и была уже полностью уверена, что Нана снова в опасности. Интуиция подсказывала ей, что старый чихенне и его воины лишились всех лошадей. Даже не мысль и не отголосок мысли, а боль, которая сдавливает сердце, заставила воительницу увидеть, но, словно во сне, что кавалеристы двинутся к изнуренным воинам Наны и найдутся от чирикахуа всего в нескольких милях. Именно поэтому она позволила синим мундирам обнаружить себя и приблизиться к ее отряду. Она была уверена, что, если поступит иначе, белоглазые догонят воинов Наны и уничтожат их.

Лейтенант Гейтвуд не мог повернуть на север, ибо туда удалились кавалеристы его роты. В случае, если бы сержант Осборн и капралы заметили его, они могли бы убить Серого Призрака, но, если бы Гейтвуду удалось вместе с Серым Призраком добраться до форта, апача Белой горы ждали суд и виселица. Лейтенант Гейтвуд пошел на юг. Серый Призрак с каждым часом терял силы, и поэтому Гейтвуд, постоянно поддерживая апача Белой горы под руку, помогал ему идти.

Воины стояли совершенно неподвижно, пока старик почему-то смотрел на север, где уже не таилось никакой опасности.

Всматриваясь в даль, Нана различил две человеческие фигуры. Приближающихся к ним людей заметили и воины. Они полностью ушли в безмолвную отрешенность и ждали, что скажет их предводитель.

Нана тоже стоял неподвижно, пытаясь понять, что делают в пустыне без лошадей два человека. Правда, днем ранее он и воины его отряда услышали одинокий выстрел, но прошло больше суток после того, как развеялось облако пыли. Нана был уверен, что выстрелили не в бою и не во время стычки. Да кто его знает, почему один из кавалеристов решил послать пулю в раскаленную даль пустыни.

Нана стоял и всматривался. Наконец он уже мог различить, что приближались белоглазый и скаут Белой горы. Скаут Белой горы был ранен. Белоглазый же его поддерживал. Нана посмотрел на своих воинов, и белки его глаз обожгли их, словно они сумели увидеть свою будущую седину и старческую беспомощность, если не погибнут и доживут до преклонного возраста.

Обожженные солнцем тела чирикахуа темнели на фоне беле-сой пустыни, будто были сделаны из дымчатого опала, длинные на-

бедренные повязки вздрагивали под порывами ветра, словно изможденные воины не стояли на земле, а восседали на лошадях, и скачка уже началась.

— Я убью их, Нана, — сказал вернувшийся к отряду Агирре. — Это белоглазый и предатель, апач Белой горы. На его голове алая повязка.

— Ты видел, — спросил Нана, не отрывая глаз от двух бредущих к ним людей, — чтобы белоглазый пытался спасти скаута народа дене?

Отсвет будущей седины в предчувствии Агирре стал снежно-белым и ослепительным. Воин опустил голову, чтобы посмотреть на землю, будто она могла что-то ему подсказать.

— Но что в таком случае делать, Нана? — спросил приземистый Колодец Дня.

Нана все так же смотрел на север. Отражение скаута и лейтенанта Гейтвуда на его радужницах увеличилось, а затем полностью заполнило глаза. Нана удалось увидеть бурое пятно на правой половине груди скаута, но не вовне, где брел скаут, а у себя внутри, поскольку пытался детально разглядеть не приближающихся к нему людей, а разгадать рисунок их отражения на своих склерах. «Ранено плечо, и из раны текла кровь», — подумал он.

— Облако пыли родило двух странных людей, — сказал Даклуги. — Или мне так кажется?

— Тебе правильно кажется, — сказал Нана. — Но кажется ли это Агирре?

— Нана, — сказал Агирре.

Нана повернулся к Агирре. Глубокая и увлажненная потом вертикальная морщина на щеке старика вспыхнула под солнцем, словно он носил на своем лице печать седой пряди Лозен.

— Пыль родила невозможных существ, Агирре, — сказал он. — Это как рождение радуги в душе.

Агирре ничего не ответил, только выпрямился и перевел взгляд в сторону восточной пустыни, словно пытался разглядеть в той стороне нечто важное и значительное.

— Радуга блеснула на твоей щеке, Нана, — сказал Даклуги. — И это цвет луны.

Лейтенант Гейтвуд помог Серому Призраку лечь на землю. Потом сел сам, положил голову апача себе на колени и сменил на его плече повязку.

— Мы выберемся, — сказал он. — Пойдем вечером, когда спадет жара.

Серый Призрак упирался взглядом в небо. Но в его желто-коричневых глазах ничего, кроме солнца, не отражалось.

— Странно, — сказал лейтенант Гейтвуд, — вчера ты увидел нечто, похожее на сидящего человека. Наверное, это был я.

Глубоко в глазах Серого Призрака плеснулась мысль, но он не высказал ее вслух.

«Будем ждать», — подумал Гейтвуд. Он потек усталым взглядом на юг, но из-за полуденного солнца та сторона пустыни, в которой терялись его зрачки, выглядела вертикальной стеной слепящей воды, только огненного цвета. Лейтенант даже начал замечать вскидывающиеся пеной гребни волн.

— Но это не зеркало мерцающего кварца, — прошептал он.

— Это жара, лейтенант, — сказал Серый Призрак. — Не нужно вам было оставаться со мной.

Все так же углубляясь зрачками в стену воды, пытаюсь вообразить, как на другой стороне вертикальной воды удаляются дальше на юг Лозен и ее воины, Гейтвуд увидел точку. Точка постепенно увеличивалась, пока не превратилась в бегущего к ним человека. Человек бежал ровно, не убыстряя бега и не замедляя его, хотя от голода и жажды высох до костей и жгутов сухожилий.

— Белоглазых здесь уже нет, — сказал Серый Призрак. — Только чирикахуа.

— А для чирикахуа я враг, а ты предатель, — сказал лейтенант Гейтвуд.

— Только в том случае, если это не воины Лозен, — попытался улыбнуться Серый Призрак. — Ведь там, лейтенант, возле ямы с водой вы не выстрелили ни в Лозен, ни в Алинрильо.

— А ты не позволил выстрелить в Лозен солдатам.

Лейтенант Гейтвуд продолжал смотреть на бегущего к ним человека, за плечами которого подрагивал ствол винчестера, а за пояс был воткнут револьвер. Человек бежал ровно, без напряжения, совершенно обнаженный, если не считать набедренной повязки и высоких мокасин. Его слегка выющиеся волосы отливали цветом ржавого железа.

Наступил момент, когда лейтенант Гейтвуд встретился глазами с бегущим к нему и к Серому Призраку воином чирикахуа. За сто ярдов до Гейтвуда воин ускорил свой бег, но дышал глубоко и размеренно, словно не знал усталости. Он смотрел на Гейтвуда внимательно и с каким-то еле заметным равнодушием, как смотрел бы на повстречавшиеся на его пути несколько кустиков чапарраля.

Подбежав к Гейтвуду, Агирре или Тот, Кто Нигде резко остановился, затем снял со своего плеча флягу, сделанную из бутылочной тыквы, искусно оплетенной стеблями злаковых растений. Во фляге плескалось немного воды. Агирре наклонился и очень осторожно положил флягу возле ног Гейтвуда. Пристально посмотрев в глаза лейтенанта, он что-то тихо и доверительно сказал, повернулся и так же ровно и легко побежал обратно на юг. Когда его тело начало превращаться в точку, которая вот-вот должна была раствориться на поверхности вертикальной воды, Гейтвуд спросил:

— Что он сказал, Серый Призрак?

— Он сказал, — ответил Серый Призрак, — что больше зеркала мерцающего кварца у него нет.

Шесть коротеньких черточек над южным горизонтом постепенно приближались и увеличивались в размерах.

Рота лейтенанта Гейтвуда не гнала лошадей, но и умеренным шаг ее коней тоже нельзя было назвать. Все вытянули из седельных кобур карабины-спрингфилды, и лицо каждого солдата осунулось и посерело от предчувствия опасности.

Но Гейтвуд надеялся, что эти черточки являются обычным обманом зрения, что ему удалось увидеть несколько своих ресниц, и стоит тыльной стороной ладони провести по векам, как еле различимые на юге всадники исчезнут. Мнилось, что это не Гейтвуд и не его кавалеристы смотрели на юг — сама пустыня перевела в сторону гор Гила свой взгляд, а затем устало оглянулась. Поэтому то, что она увидела, как отряд чирикахауа, было темными удлинненными крапинами на ее белесо-желтых радужницах.

Апачи не ехали, а еле тащились на юг. Их лошадей пошатывало, точно они ступали по плоту, уносимом неспокойной водой. И чирикахауа не оглядывались, а понуро и упрямо следовали к горам Гила даже тогда, когда позади себя слышали гул копыт.

Равнодушие и апатия апачей показались Гейтвуду неестественными. Он подумал, что пустыня иногда проникается именно таким миражом — выбрасывает их своих глубин всадников, какой-то отряд враждебных индейцев или даже стойбище беглых чирикахауа, множество их хижин на местности, где жить невозможно: на сотни миль вокруг ни капли воды, ни одного, даже чахлого, растения.

Когда к монотонно удаляющимся апачам оставалось ярдов двести, они, все как один, остановили коней, а затем, натягивая удила, начали медленно поворачиваться к настигающим их синим мундирам. Повернувшись, чирикахауа застыли, но никто из них не держал оружие в руках. И единственное, о чем они могли бы поведать своим безучастным видом, так это об усталости, изнурении и обезвоживании. Они выстроились напротив приближающихся к ним кавалеристов, и их безмолвное ожидание своей гибели говорило о полном смирении, а также о желании дальше цепляться за жизнь. В центре восседала Лозен. Через ее плечо был перекинут патронташ. Выцветшую блузку на талии стягивал грубый солдатский ремень.

Это было совершенно непохоже на чирикахауа, которые сражаются до последнего вдоха. Гейтвуд с отчаяньем в глазах посмотрел на Серого Призрака. Но Серый Призрак точно так же смотрел на лейтенанта Гейтвуда, и они оба ясно понимали, то есть всем сердцем чувствовали, — происходит нечто необъяснимое.

Кавалеристы как-то замедленно, будто преодолевали струи падающего с неба песка, перестроились в шеренгу и вскинули спрингфилды. Гейтвуд выехал на несколько ярдом вперед и повер-

нул коня, чтобы постоянно смотреть вдоль шеренги своих солдат. Он глухо, словно его голос тоже преодолевал потоки песка, что продолжал сыпаться с неба, выкрикнул:

— Не стрелять!

Лейтенант только вначале, когда выезжал вперед, встретился глазами с глазами Лозен. Она смотрела только на него, и глаза ее были грустными и задумчивыми. «Может она сейчас мечтает, — подумал Гейтвуд. — Мечтает перед залпом, перед градом пуль». Дальше он старался не смотреть на нее, а всю свою волю направил на предотвращение бойни, ведь все было похоже на то, что апачи решили покорно принять свою смерть. Попытку снять с плеча винчестер сделал только Аллинрильо, но Лозен остановила его.

— Да они еле дышат, еле держатся на лошадях, — сказал сержант Осборн.

Истощенные апачи восседали на своих лошадях, словно находились рядом с преисподней, из которой всплывали и вертикально застывали её тени — одетые в синюю форму кавалеристы.

Постоянный пристальный взгляд вдоль шеренги солдат и попытка все уладить мирно, без пролития крови, вот что сдерживало лейтенанта от попытки снова посмотреть на Лозен и уже не оторвать от нее глаз.

Лозен непроизвольно натянула удила, ее конь встрепенулся и хотел пойти, но воительница сдержала его и снова безмолвно застыла рядом со своими воинами. Ее черные глаза наполнились решительностью, и она посмотрела на кавалеристов, как на вынырнувшие на поверхность пустыни странные и опасные растения. Когда она перевела свой взгляд на Гейтвуда, в ее глазах появилось выражение легкой растерянности.

Сержант Пол Осборн приложил карабин прикладом к плечу, чтобы прицелиться в предводительницу апачей. Но не только Осборн намеревался начать стрельбу, — многие кавалеристы в тот момент воспринимали происходящее, как нечто неправдоподобное, внезапно случившиеся с ними или, даже, с целым миром. Поэтому они решили защищаться. И Серый Призрак, восседающий на лошади рядом с Осборном, просто вырвал из рук сержанта карабин и, хлестнув коня поводьями, уже высился против шеренги кавалеристов. Он отстраненно, будто пребывал в далеких воспоминаниях, направил свой винчестер на сержанта.

— Не стрелять! — крикнул Гейтвуд, скользя зрачками вдоль шеренги солдат, но в то же время боковым зрением пытаюсь приблизить к себе полосу пространства, где находилась Лозен.

— Никто не выстрелит в Лозен, — сказал Серый Призрак, сузив свои желто-коричневые глаза.

Две почти совершенно прямые морщины взрыхляли его смуглое лицо от нижних век к уголкам широкого рта. Губы были плотно

сомкнуты, и вместо них над подбородком пролегла темная черта, словно апач Белой горы безмолвно проговаривал линию горизонта, отделяющую мир живых от мира мертвых.

Это после Серого Призрака привлекут к трибуналу, ведь множество кавалеристов были возмущены, что апач Белой горы грозился убить каждого, кто посмеет прицелиться в Лозен.

— Приказ лейтенанта Гейтвуда был не стрелять, значит это касалось и Серого Призрака, — говорили на суде кавалеристы.

Отрезок горизонта остался запечатленным в плотно сжатых губах Серого Призрака, и после приговора, вынесенного трибуналом, вскинулся натянутой как струна веревкой от шеи апача Белой горы к толстой ветке раскидистого платана. Никто не удосужился соорудить даже примитивную виселицу. «Для краснокожего достаточно», — процедил сквозь зубы один из капралов.

Лозен не промолвила ни одного слова и не подала ни одного знака, однако она и ее воины одновременно повернули лошадей, и, медленно и уныло, как и до встречи с кавалеристами, поехали на юг.

Серый Призрак держал винчестер, направив его на сержанта Осборна.

Когда отряд Лозен начал истлевать в белесой дали пустыни, Серый Призрак повернул спрингфилд прикладом к сержанту и отдал ему карабин.

На лице Осборна играли багровые пятна. Он безумными глазами посмотрел на лейтенанта Гейтвуда, но Гейтвуд не отрывал взгляда от Серого Призрака, который равнодушно уходил желто-коричневыми радужницами сквозь шеренгу солдат к северному горизонту, над которым небо темнело, и мнилось, что там собираются дождевые облака. Однако потемневшая высь не являлась предзнаменованием дождя, и Серый Призрак об этом знал.

Кто-то из капралов прокричал лейтенанту Гейтвуду:

— Я так понял, лейтенант, что мы не будем преследовать апачей.

Гейтвуд растерянно посмотрел на него, но сразу взял себя в руки и перевел взгляд в сторону исчезнувших чирикахау.

Осборн старался не смотреть на Серого Призрака, который невозмутимо отъехал немного в сторону.

— Я так понимаю, лейтенант, — снова крикнул капрал, — что апачи устроили нам на юге засаду. Ведь мы не знаем, сколько их сейчас в этой части пустыни. К отряду Лозен могли присоединиться воины Найче или некоторые мескалеро, ушедшие из своей резервации в Нью-Мексико. А Лозен и ее воины были приманкой.

— Чью жизнь вы пытались уберечь, лейтенант? — спросил полковник Чарльз Кроуфорд, и по его лицу было видно, что ему неприятно об этом спрашивать, и он не хотел задавать такой вопрос. — Наших солдат? Апачей? Или тех и других? Это ведь война,

лейтенант. Может, вы опасались нарваться на засаду апачей? Понимаете, — Кроуфорд сделал жест разочарования, — мы не знаем, находились ли в тот день недалеко от вашей роты воины Наны или нет. Но вы поступили так, будто они были.

— Полковник, — сказал лейтенант Гейтвуд. — Это апачи поступили так, будто у них были еще воины. Но все выглядело слишком странным. И даже если бы апачи не устроили для нас засады, преследование отряда Лозен было сопряжено с большим риском. Мы находились между плато Могольон и горами Гила. До форта двести миль и ни одного источника воды.

— А воду в пустыне, — опять начал говорить полковник Кроуфорд, — мог найти только Серый Призрак. Остальных ваших скаутов убил Перико. Поэтому вы и берегли Серого Призрака, как зеницу ока. Этот факт на суде будет играть в вашу пользу, лейтенант. К сожалению, мы, американская кавалерия, не научились воевать в пустыне. Но, лейтенант, хотя я полностью на вашей стороне, то, что произошло между плато Могольон и горами Гила, нельзя назвать военной кампанией. Это походило на постоянно проводимую операцию исчезновения. Там, в безжизненной местности, апачи для вас должны были исчезнуть, так же, как и вы со своей ротой должны были исчезнуть для апачей. Но странным образом вы постоянно друг другу о себе напоминали.

— Я не могу дать вам полное объяснение, полковник, — сказал лейтенант Гейтвуд. — Я не знаю.

Чарльз Кроуфорд долго смотрел на Юджина Гейтвуда. Нескольку раз собирался что-то сказать, но снова уходил в размышления. И сказал лейтенант:

— Мы долго воевали с апачами, но ничего существенного не знали о них, полковник. Так же, как и апачи о нас. Набор каких-то стереотипов, вот и все. Понимаете, полковник, когда оказываешься глубоко в пустыне, начинаешь понимать, по крайней мере, чувствовать, что настоящий враг не беглые апачи, а сама пустыня. И поэтому, полковник, по-настоящему приходится сражаться с ней, с безжизненной местностью, а апачи, какими бы врагами они до этого не были, становятся союзниками.

— Пустыня, как причина возникновения понимания между людьми, — сказал взволнованно полковник Кроуфорд. — Очень интересная мысль, но ее не стоит повторять на суде. Никто не поймет. У меня вот что постоянно крутится в голове, лейтенант. Я думаю, что если бы вы столкнулись с отрядом Наны, то вели бы себя несколько иначе. Хотя все возможно. Вы не хотели воевать с женщиной, лейтенант. Вот как я пытаюсь объяснить многие ваши действия. Нет, — и Кроуфорд сделал предупредительный жест, хотя Гейтвуд ничего не пытался сказать и сидел молча, — я не обвиняю вас. Многие ваши солдаты, которых я допрашивал, пытались сказать то же, что говорили вы, хотя были обижены на вас. Им тоже не

хотелось воевать с Лозен. Все, что с ними происходило в пустыне, они, большей частью неосознанно, воспринимали, как таинственное представление, некий удивительный спектакль, где все являлось и авторами представления, и режиссерами, и актерами. Я не имею ввиду исключения, как то: Осборн, несколько капралов и неистовый Первый Снег. Сама пустыня этому способствовала. К тому же солдаты сказали, что некоторые события, связанные с Лозен, они воспринимали, как нереальные.

Лейтенант Гейтвуд выпрямился, чтобы ответить, но полковник Кроуфорд снова остановил его предупредительным жестом.

— Я сделаю все для того, чтобы вы не пострадали, лейтенант Гейтвуд. Или как можно меньше пострадали. От вас долго не было никаких вестей, и я послал двадцать кавалеристов с колонной мулов, нагруженными бурдюками с водой, чтобы узнать, что случилось с вами и с вашей ротой. Они встретили Осборна и ваших солдат, отдали им часть воды и поехали дальше на юг, где и нашли вас и Серого Призрака, бредущими в сторону гор Гила.

— Полковник, — лейтенант Гейтвуд сглотнул, — я не знаю, что сказать.

— Все, что происходило в пустыне с вами, с вашей ротой и с отрядом Лозен, я назвал бы действиями по предоставлению возможностей не начинать войну. Это предложила вам Лозен, и вы ее поняли. То же самое предложили этой женщине и вы. Все как будто бы в вашу пользу, однако на суде не смогут понять, почему вы остались с Серым Призраком. Но и это можно объяснить, ведь солдаты говорили, что им показалось, что вы утратили разум, что жара иссушила ваше сознание и вы начали бредить и галлюцинировать. Но Серого Призрака ждет виселица, как это не прискорбно.

Полковник Кроуфорд умолк. Долго стоял с опущенной головой, а когда посмотрел на Гейтвуда, в его глазах было разочарование.

— Знали ли вы, лейтенант, что Серый Призрак давно знаком с Лозен?

Лейтенант Гейтвуд ответил спокойным голосом, и Кроуфорд понял, что его вопрос не был внезапным и неожиданным.

— Он мне ничего об этом не говорил. Но я точно знал, что он раньше видел Лозен, и подразумевал, что, возможно, они даже были знакомы. Апачи небольшой народ. И еще десять лет назад апачи Белой горы дружили с чирикахуа и часто гостили у них.

— Но ему следовало вам сказать, что он более, чем знаком с Лозен, — заметил полковник Кроуфорд. — Хотя, кто его знает. Дело в том, что двадцать лет назад, когда чирикахуа дружили с апачами Белой горы, Серый Призрак гостил у апачей Охо-Калиенте. Лозен тогда было семнадцать лет, и она полюбила Серого Призрака. Но он не ответил взаимностью. Расстроенная Лозен решила никогда не связывать себя семейными узами, поэтому и стала воином. Благо, в желании Лозен стать воином пошел ей навстречу ее брат Викторио.

Он называл ее Ше-Ла-Зия, что означает — моя маленькая сестренка. Соседние племена переименовали Ше-Ла-Зия в короткое слово — Лозен. Но настоящего имени Лозен, кроме нее и ее самых близких родственников, никто не знает.

— Да, полковник, — сказал лейтенант Гейтвуд. — Но мне всегда казалось, что Серый Призрак знает суть Лозен, чувствует ее.

— Судя по тому, — сказал полковник Кроуфорд и внимательно посмотрел на Гейтвуда, — что вы остались с раненым Серым Призраком, ее суть почувствовали и вы. Но я не буду об этом говорить на суде.

21

— Юджин, так, кажется, тебя зовут? — обратился к Гейтвуду один из рабочих лесопилки.

Гейтвуд вторую неделю работал на лесопилке, а, когда нанимался, на вопросы работников отвечал, что прибыл из Юго-Запада, где зарабатывал на хлеб насущный, чиня изгороди для овец. Он в самом деле после четырех лет каторжных работ, присужденных ему военным трибуналом, в одном из медвежьих уголков Нью-Мексико то пас коров, то строил коррали, и как только узнал, что последних переставших сопротивляться апачей-чирикахауа отправили в тюрьму во Флориду, подался на восток, иногда останавливаясь на некоторых фермерских хозяйствах, чтобы подзаработать.

Устроившись на лесопилку, Гейтвуд во время короткого обеденного перерыва уходил от места своей работы на край леса, чтобы никто ему не мешал пребывать мыслями в прошлом. Но один из работников последовал за ним. Лицо этого плотного мускулистого мужчины было мокрым от пота. Оно блестело и истекало, как и все здесь во Флориде с ее влажным климатом, частыми проливными дождями и постоянным чавканьем под ногами мокрой земли. Гейтвуд окинул работника взглядом, но ничего не сказал, только постарался подавить в себе досаду, что его короткий обеденный перерыв нарушит своим присутствием какой-то бесцеремонный балбес, который, возможно, и не был бесцеремонным, а пытался с ним подружиться или больше узнать от него о Юго-Западе, где, судя по всему, никогда не был, однако наслушался о нем множество историй.

Гейтвуд произнес что-то невразумительное, присел на траву и развернул на коленях маленькую котомку, в которую были заматаны ломоть хлеба и небольшой кусочек вяленого мяса. В принципе, вид, открывающийся его глазам, походил на увеличенное лицо увявшего за ним работника — такой же мокрый, сочащийся, и из-за этого размытый и невыразительный. Все, что находилось перед глазами Гейтвуда, виделось им, как укрытое толщей воды, но это не был проникнутый грезой о воде мираж, часто случающийся в

пустыне, а нечто другое. Зеркало мерцающего кварца во Флориде теряло свое значение, ибо мерцающий кварц подразумевал под собой нечто далекое и потаенное, сокровенное и почти недостижимое. И Гейтвуд не смотрел на увязавшего за ним рабочего, а принялся медленно поедать свой обед. Он смотрел в даль неотрывно и так делал всегда, когда приходил на это место перекусить или чтобы побыть одному.

— Вы, парни из Юго-Запада, никак не можете привыкнуть к лесу, — сказал рабочий и присел на небольшой пенёк ярдах в десяти от Гейтвуда, тоже намереваясь перекусить. — Вам нужен простор. Поэтому, Юджин, ты сюда и приходишь. Ведь здесь лес заканчивается и до самого форта ни одного дерева.

Гейтвуд ничего не ответил, просто внимательно смотрел на высокие стены форта.

— Форт Марион или тюрьма Марион — называй как хочешь, — сказал рабочий. — Ты постоянно рассматриваешь эту тюрьму, приходя сюда, и, сдается мне, что ты из бывших заключенных. Я видел парней, которые отсидели срок, промаялись на каторжных работах. В их глазах была такое же выражение недоверия, как и в твоих, Юджин. Но это твоё дело, парень. Я в твою душу лезть не буду.

Гейтвуд поднял глаза выше, к потемневшему над фортом небу.

— Но в этом форте не такие заключенные, одним из которых, возможно, был ты, Юджин, — сказал рабочий, обсосал куриную ножку и отбросил косточку в траву. — Сюда в конце прошлого года привезли апачей. И тех, кто сопротивлялся, и тех, кто не сопротивлялся. Всех: мужчин, женщин, детей, стариков — в казематы. Эти апачи, как их, все выскакивает из головы их название.

— Чирикахуа, — глухо сказал Гейтвуд, но не посмотрел на рабочего, а уходил взглядом к стенам высоко каменной тюрьмы.

— Да, чирикахуа, Юджин. Всех посадили за решетку. Только в этой тюрьме, в форте Марион, одни женщины и дети, а мужчин и мальчиков старше двенадцати лет отправили за несколько сот миль отсюда в форт Пикенс.

Ветер постоянно дул со стороны форта, то есть с моря, ибо форт своими восточными стенами выходил к Атлантическому океану. Форт Марион находился в ярдах пятистах от края леса, где сидел Гейтвуд. От форта сначала слабо, потом немного сильнее начало доноситься пение. Пело множество женщин — хором, слаженно, отчаянно.

Гейтвуд поднялся. Он совершенно забыл о разложенной на коленях котомке, и хлеб и мясо скатились в траву. Он выпрямился и постарался проникнуть взглядом сквозь каменную стену тюрьмы.

Рабочий, наблюдавший за Гейтвудом, тоже поднялся. На его мокром от пота лице появилось выражение озабоченности, даже участия. Некоторое время он внимательно смотрел на Гейтвуда, а затем снова присел и произнес:

— Видно, годы, проведенные тобой в тюрьме на Юго-Западе, у тебя в печенках, Юджин. Ведь я говорил, что мне доводилось быть знакомым с такими парнями, как ты. Они всем сердцем ненавидели неволю, но и боялись ее. И стоило им оказаться поблизости какой-нибудь тюрьмы, как они словно замыкались в себе и никого не замечали вокруг. Тюрьма будоражила в них какие-то воспоминания.

Но Юджин Гейтвуд не обращал внимания на рабочего и продолжал смотреть на форт Марион.

— Наверное ты думаешь, что это за пение? — спросил рабочий, и в голосе его появились нотки уважения.

И хотя Гейтвуд не мог проникнуть взглядом за стену, все равно видел Лозен, которая стояла с женщинами-чирикахуа и пела вместе с ними. Лозен была точно такой же, какой он ее видел последний раз пять лет назад — две дорожки луны в волосах, черные глаза, выцветшая блузка и дальше, за ее плечами, белесая даль пустыни.

— Не обращай внимания, Юджин, — сказал рабочий. Он опустил в раздумии голову, а когда снова посмотрел на Гейтвуда, в глазах его блеснуло сочувствие.

— Все здесь говорят, — сказал он, — что женщины-апачи во время ежедневной прогулки, то есть когда солдаты выводят их из камер на тюремный плац, стоят и вместе с детьми начинают петь. Они думают, что их пение услышат мужчины-апачи, их отцы и братья в тюрьме Пикенс. Это за несколько сот миль отсюда. Представляешь, Юджин. Одним словом, дикари.

Гейтвуд не слышал рабочего, а пытался лучше разглядеть невидимую для его глаз Лозен.

— Так дело в том, Юджин, — опять начал говорить рабочий, — что во время ежедневной прогулки и мужчины, и мальчики-апачи, которые старше двенадцати лет, начинают петь в форте Пикенс. Они надеются, что их пение услышат их женщины. Скажи мне, как можно услышать человеческий голос за несколько сот миль?

Укрытое потом лицо рабочего было похоже на плавающую восковую свечу. Но свеча не горела, а растекалась только от одной душной влаги.

Собравшиеся над фортом облака медленно поползли к кромке леса, где стоял Гейтвуд. Они еще не закрыли солнце, и день множился бликами, будто был мокрым телом огромного существа, а земля после вчерашнего дождя так и не просохла, и к самому форту местность была укрыта большими и маленькими лужами, почему-то не отражающими солнечный свет, но набухающими чернотой, как перетертый в порошок древесный уголь.

— Грязный путь еще не закончился, Лозен, — прошептал Юджин Гейтвуд.

Рабочий еще более внимательней посмотрел на Гейтвула, а затем немного приосанился.

— Правильно я сказал, — произнес он. — Та тюрьма, в которой ты, наверняка, сидел, у тебя в печенках. И вид любой тюрьмы будет сбивать тебя с толку.

Он поднялся и, перед тем как уйти, с сожалением посмотрел уже не на Гейтвуда, а на лежащие в траве ломоть хлеба и вяленое мясо.

Дежурный по форту Марион капитан Питер Вебб поднялся на каменную стену, ограждающую строения форта, и, сощурившись, ибо облака еще не закрыли полуденное солнце, посмотрел в сторону леса.

— Так кто, вы говорите, приходит, капрал? — спросил он усталым голосом.

— Какой-то бродяга, капитан, — ответил капрал, дежуривший на тюремной стене.

— Говорите громче, капрал. Из-за заунывного пения арестанток ничего не слышно.

Капрал подошел к капитану и чуть ли не на ухо сказал ему:

— Бродяга или рабочий с лесопилки. Всегда приходит, когда мы выпускаем из камер женщин и детей для ежедневной прогулки на тюремном плацу. Как только женщины начинают петь, он поднимается и стоит не шелохнувшись.

На груди капитана Вебба висел бинокль. Он взял его заунывным движением и поднес к глазам.

— Кто бы мог подумать, — сказал растерянно капитан, — этот мужчина стоит совершенно неподвижно.

— Сказал же вам, бродяга, — отчеканил капрал.

Капитан Вебб все так же смотрел в бинокль.

— Бедолага, — произнес он. — Наверное, заунывная песня наших арестанток напомнила ему пение церковного хора. Парень, скорее всего, давно не был в церкви.

— Такое впечатление, капитан, — сказал рассудительно капрал, — что он только был возле церкви и слышал, как оттуда доносится пение церковного хора и прихожан. Я вторую неделю, когда дежурю на стене, наблюдаю за ним. Полностью изношенный. Не одежда, а лохмотья. И хотя он на вид еще не старый, но уже почти седой.

Лозен стояла в кругу женщин, которые, взявшись за руки, проникновенно пели. Лозен пела тоже, надеясь, что их песню — «Уходите, воины. Убегайте из тюрьмы. Вы должны сражаться» — в форте Пикенс услышат Нана, Агирре, Гиасиндо, Аллинрильо и Кавайкла. Она отчужденно и одновременно с гневом в глазах смотрела на тюремную стену, будто верила, что, если будет смотреть с ненавистью, стена обрушится. Она чувствовала, хотя и не протянула перед собой ладони, как делала раньше, когда была свободной и мечтала, что за стеной находится человек, являющийся ее другом.

Лозен усилила голос, и голоса других женщин дружно возвысились, а интонация мелодии стала требовательней и непреклонней.

Капитан Питер Вебб продолжал рассматривать в бинокль Юджина Гейтвуда.

— Мне кажется, — сказал он, — что этот бродяга молится.

Но капрал не расслышал его слов. Он смотрел на тюремный двор, точнее, не отрывал своих глаз от Лозен.

— Вы слышите меня, капрал? — спросил капитан Питер Вебб.

— Да, капитан, — ответил капрал. — Я часто смотрю на Лозен, их предводительницу. Хоть и дикарка, а красивая женщина.

— Среди апачек много красивых женщин, капрал, — вразумительно сказал капитан Вебб. — Посмотрите на Дахтесте. Она, обычно, когда женщины поют, стоит на восточной стороне плаца. Посмотрите на Гойен. Они очень привлекательные женщины и тоже были воинами, принимали участие во множестве боев и схваток.

— Что-то вы стали как бы выгораживать апачей, капитан, — несколько фамильярно, ибо разговор коснулся женщин, сказал капрал.

— Приезжает армейская комиссия, капрал. Кто-то из офицеров отставного генерала Джорджа Крука, а Крук и его офицеры уважительно относились к апачам, написал жалобу, что половина женщин-чирикахауа во время их транспортировки в арестантских вагонах из Аризоны во Флориду были изнасилованы солдатами, которые сопровождали и стерегли их. Была изнасилована и жена сына Мангаса-Красные Рукава. А это был очень известный человек среди апачей, да и во всей Аризоне.

— И что они будут расследовать, капитан? Ведь тех солдат, которые транспортировали апачек, здесь в форте нет.

— Скорее всего сам факт надругательства или для галочки. Привезут апачам зимнюю одежду, о которой я подавал прошение еще осенью. А сейчас уже весна.

— Я знаю, капитан, — сказал капрал. — За эту зиму от холода и сырости умерла треть детей апачей.

Но Вебб уже не слышал капрала, а опять внимательно рассматривал в бинокль Юджина Гейтвуда.

Юджин Гейтвуд увидел блеск стекол бинокля, два крошечных солнечных зайчика.

— Но это не зеркало мерцающего кварца, Лозен, — прошептал он. Он слышал, как пение усилилось, и еще сильнее выпрямился.

— Странно, — сказал капитан Вебб. — Этот бродяга плачет. Его лицо залило слезами. Может статься, что парень принял за унывную песню апачей за хор ангелов.

— Моя очередь прикрыть тебя собой, Лозен, — шептал Юджин Гейтвуд, не отрывая глаз от стены тюрьмы Марион. — Ты должна мечтать.

Лозен и другие женщины, крепко взяв друг друга за руки, тихо, в такт песне, раскачивались. Зимой пришел приказ правительства США отделить от матерей всех детей апачей старше пяти лет и отправить их в интернаты. Белоглазые хотели, чтобы апачи перестали быть апачами, ибо в интернатах воспитатели заставляли детей говорить только по-английски.

Командование форта Марион никак не могло понять, куда подевались дети от пяти до десяти лет, и постоянно выводило женщин на тюремный плац, а в казематах производило обыски.

Лозен стояла и пела. Под ее юбкой пряталась шестилетняя девочка, которая присела и прижалась к ноге воительницы. У многих поющих женщин прятались под длинными юбками маленькие дети. Лозен посмотрела на Дахтесте. Они встретились глазами, в которых были одна бесконечная усталость.

«Девочка, я давно живу под твоей юбкой», — вспомнила Лозен слова старого Наны и то, как после его слов они оба смеялись. Через два года она умерла от туберкулеза.

Август 2018 — февраль 2019

Максиміліан ВОЛОШИН

/ 1877–1932 /

Переклад Володимира Туленка



АНГЕЛ ПОКАРАННЯ

Народ Росії, я твій Ангел Покарання!
Я в чорні рани — вікові розори знов
Насіння кидаю. Відлинули страждання.
Мій голос — сполох. А хоругва — наче кров.
На буйних скопищах народного витійства,
Примари-квіти насаджу, всіх багряній.
Я в серце дівчини вкладу наснагу вбивства,
І в душу дитинчат — кривавих мрій.
І дух полюбить смерть, солодку крові алість.
Про щастя мрії я сльозами всі заллю.
Із серця жінки я святу дістану жалість,
П'янкою люттю очі жінці заліплю.
Бруківки камені, яких одного разу
Торкнулась кров! І це від мене не втече.
Закляттям спраги заклаю каміння зразу ж,
І кров за кров тоді без міри потече.
Скажи повсталому: «Я злючу їдкість стали
В твоїх руках надам картонному мечу!»
На стогнах міст, там де жіноцтво катували,
Я «знаки Риб» на стінах швидко насічу.
Я синім полум'ям пройду в душі народу,
Червоним полум'ям пройдуся і по містам.
Устами кожного я прокричу: «Свобода!»,
Та різний сенс при цьому кожному надам.
Я напишу: «Завжди за Справедливість!»
Побачить ворог, що «Пощади більш нема»...
Я вбивство вдіну у принадливу красивість,
І душу месника хай мара підніма.
Меч справедливості — караючий, помститься, —
Віддам у натовп... І тоді в руках сліпця

Він стрімко блисне, наче громовиця, —
Ним стратить матір син, а дочка вб'є отця.
Скажу я кожному: «Тобі ключі єдині.
Ти бачиш світло, а для інших вогник згас».
Він буде скиглити, розірве одежину,
І звати інших... Та оглухнуть всі в той час.
Не збереже сівак колючий колос сіву,
Меч, хто прийняв, то той і випустить свій дух.
Хто пригубив хоч раз хмільну отруту гніву,
Той стане катом, чи то жертвою катюг.

1906 г.

МИР

Росію знищено... вона вже пшик,
Її всі прогалділи, протринділи,
Пролузгали, пропили, харкотіли,
Замизкали на площах ми брудних,

Розпродали на вулицях. В новинах:
Кому землі, республік, і свобод,
Цивільних прав? Їх неньку сам народ
На гноїще закинув, як трупнину.

О, Господи, розверзни, розточи,
Направ на нас вогнь, виразки, бичі,
Педантів німців та орди прибуду,
Віддай назавжди в рабство, не допоки,
Щоб відмолить смиренно і глибоко
Іудин гріх нам до Страшного Суду!

1917 г.

НЕОПАЛИМА КУПИНА

Хто ти, Росіє? Міраж? Чи насланя?
Ти ж бо була? Чи дурня?
Мут... стремена... та втрата сприймання...
Прірва... та шал... маячня...

Все нерозумно в тобі, аж надміру:
Помах звитяг та розрух...
Думка холоне в пророчому вирі,
Стрімко жахається дух.

Той, хто зухвало торкнувся рукою,
Свій заслужив Вавілон:
Карл під Полтавою, битий Москвою
Падає Наполеон.

В пам'яті спини солдат чоловічі,
Німців дебелих. Хоч плач!
Рік... і російське в Німеччині віче:
Дах розриває кумач.

Хто там? Французи? Не сунься, товариш,
В руську страшну водоверть!
Ти не торкайся до орковських згарищ!
Дотик — не рана, а смерть.

В ріках вирують нечувані води,
Виє й реве заметіль:
Бродить у жорнах, хитає народи
Орківський хміль.

Совість токсична сидить в них, наснага:
В Стенці — святий Серафим,
Віддані тим же похміллям і спрагам,
Волею завше нудим.

Гинемо ми, але не помираєм,
Дух роздираєм до дна.
Дивні дива, бо горить не згоряє,
Неопалима Купина!

1919 г.

БУДИНОК ПОЕТА

(Уривок)

Відчинено. Переступи поріг.
Розкрив я дім назустріч всіх доріг.
В холодних кельях, мазаних вапном,
Зітхає вітр, і рокіт гуркотить
Хвиль, що пласуються на береги верхом.
І тріск цикад полинно дух щемить.

А за вікном розплавленеє море
Горить парчею, як блакить просторо.
Навколо пагорби плюндрує

Й коле сонце. Срібний блиск полину
Пустельно й шиферно окалиною плине.
Стирчить вихром кудлато, як сивини.

Земля молитвенна могил і медитацій —
Біля будинку віддала мені
Скупий посів айлантів і акацій
У тамарисків стражі. В глибині

За їх листом, роздертим щент вітрами,
Скелястих гір зубчастий виднокрай
Замкнув затоку, як Алкея вірші,
Асиметрично-твердими рядками.

Тут стик хребтів Кавказу і Балкан,
І узбережжям цих країн мізерних
Великий пафос лірики з печерних
Тих початкових днів, коли вулкан
Жбурляв вогонь із надр глибинних ран.

І димним факелом у небі тряс усе,
Ось там — де профіль прибережних скель,
Відобразили хоч якусь подобу
(Мій лоб, мій ніс, щоку і навіть лоба), —

Немов готичний завалившійся собор,
Оскалом непокірним зуби скалить,
Неначе з казки, як базальтом спалить
Широко вип'ячений полум'я узор.

Із сизої імли, над морем дальнім
Встає стіна... Як в Карадазі складно
Не вицвітати пензлем на папері,
Чи висловитись хоч би у мізері.

Багато бачив. Дівам макромиру
Віддячив словом та картинами я щиро...

1926 г.

Владимир МАТВЕЕВ

/ Киев /



ТОСКА¹

Фантастический роман

ГЛАВА 14

Когда Иван проснулся, в комнате было светло. Иван сел и, подумав, взял со стола телефон и включил его. Тот тут же зазвонил. Это была мама.

— Да, мама, я слушаю, — сказал Иван.

— Привет, сынок! Я звонила тебе и на стационарный, и на смартфон, но ты отключил его. Как ты можешь, ведь у нас с отцом душа за тебя болит! Ты где? Вроде не дома?

— Я ночевал у одной девушки.

— Вчера еще у тебя не было девушки, а сегодня ты ночуешь у девушки? Остерегаться надо таких девушек!

— Тут совсем другой случай.

— Какой такой другой?

— Долго рассказывать. Короче, я не был с ней, а был у нее.

Послышался стук в дверь.

— Потом, мама, потом. Сейчас мне некогда! — Иван поспешно натянул джинсы и сказал: — Войдите.

Вошла Герда.

— Как твоя голова? — спросила она.

— Терпимо.

— Слава богу. Теперь, раз уж ты проснулся, то сделай все что нужно и присоединяйся к нам, мы скоро садимся обедать. На вот, — Герда протянула Ивану новую зубную щетку и бритвенный станок.

— Знала бы ты, как мне не хочется вас обременять!

— Знал бы ты, как нам не хочется быть негостеприимными.

¹ Продолжение. Начало «Крещатик» №97.

Покончив с туалетом, Иван вернулся в комнату и надел рубашку и свитер. У дверей в кухню он нерешительно остановился. Из кухни звучал дребезжащий старческий голос:

— А я тебе говорю, что выходить замуж за гою — это покупать кота в мешке! Выходить замуж надо за еврея. Это куда надежнее.

— Ты потише, бабушка, со своими расистскими воззрениями, — сказала Герда.

— Это не воззрение, это — данность. Евреи, они как породистые животные, как овчарки или сенбернары, а вот гои — как дворняги. В них всего столько намешано! Неизвестно, чего от этого месива ждать.

Иван подождал немного и открыл дверь.

— Добрый день, — сказал он.

— Добрый, добрый, — отозвались все.

— Садись вот сюда, — сказала Герда.

Иван сел и принялся за еду. Некоторое время все молча ели. Молчание нарушила старушка.

— В вас есть еврейская кровь? — спросила она. — У вас отчество Исаакович.

— Как вас зовут? — осведомился Иван.

— Изольда Самсоновна.

— Нет, Изольда Самсоновна. Просто у деда лучший друг был Исаак, в честь его отца и назвали.

— Понятно... — сказала Изольда Самсоновна. — Да вы не стесняйтесь, не стесняйтесь! Берите еще селедки. Ведь вкусные же селедки.

— Бабушка! — взмолился чуть не плача Изяслав. — Сколько тебе раз говорить, что не «селедки», а «селедка»! Сколько тебе раз говорить, что нет множественного числа у селедки!

— Не кричи на бабушку, — сказал Дмитрий Иванович.

— А что она кричит на весь двор: «Изя, иди кушать мясы, бабы зарезали селедки!».

— Даже если бабушка кричит на весь двор: «Изя, иди кушать мясы, бабы зарезали селедки», и тебе кажется, что рушится мир, пусть рушится мир, а ты иди кушать селедки.

Снова наступила молчание, и снова молчание нарушила Изольда Самсоновна:

— Быть писателем мало, надо еще зарабатывать этим на жизнь. И много зарабатывать, если жена получает гроши.

— Бабушка, ты слишком далеко хватила. Ты меня уже сватаешь? — спросила Герда.

— Как раз не сватаю. Как раз наоборот. А что до сватовства, то есть у Дмитрия на работе один бухгалтер, очень симпатичная и основательная женщина.

— Бабушка, ему, то есть Ивану, не нужен бухгалтер, — сказала Герда.

— Не понравится бухгалтер, то там есть завхоз. Тоже очень симпатичная и основательная женщина.

— Ему не нужен завхоз.

— Вот ты передергиваешь, а зря. Судя по тому, что тебе сказала твоя Люда, ему сейчас тяжело и как никогда требуется плечо, на которое можно положить голову.

— Мое плечо не подойдет?

— Твое плечо не подойдет, и не будем вдаваться в подробности почему. А впрочем, кое-что скажу. Мы, может быть, дождемся разрешения на выезд. Нам ненавистна страна, в которой элитой являются хитропупые.

— Не будем о политике, — сказал Дмитрий Иванович. — Банально, но политика, по большей части, грязь. Как ваша голова?

— Спасибо, терпимо.

— Простите, но, поскольку вы знакомый Герды, я вынужден спросить, откуда у вас столько наличных и револьвер?

— Я каким-то боком писатель, и деньги эти получил от одного человека, который представился меценатом. Для меня самого это было неожиданностью. Я и не знал, что есть такие люди.

— А револьвер?

— Купил по случаю. Я не бандит, поверьте.

— Это я понял. Но лучше вам от него избавиться.

— Я вот теперь подумал, что неразумно было его покупать. Но я как-то в раздумье. Выбрасывать — жалко. Не знаю, куда его девать.

— Берите еще селедки, — сказала Изольда Самсоновна.

— Спасибо, но я уже наелся, — положив вилку, сказал Иван.

— Папа, мы пойдем в гостиную, мне с Иваном поговорить нужно, — сказала Герда.

— Идите на здоровье.

— Можно я тебя сфотографирую? — спросил Иван, когда они зашли в комнату.

— Давай, — Герда шутливо подбоченилась.

— Я хочу вот о чем, — сказала она, когда Иван спрятал смартфон. — Отдай мне револьвер, тем более что я мастер спорта по стрельбе из пистолета.

— Прицельно выстрелить даже из револьвера большего калибра и с длинным дулом на таком расстоянии нельзя. Что уж говорить о дамском револьвере. Тут нужна винтовка с оптическим прицелом. И потом, ты думаешь, что, устранив гетмана, ты чего-то добьешься? Разве не придет другой гетман, может даже и похуже?

— Я тебе объясню. Вице-гетман, Николай Сергеевич, — тайный папин друг. И он, и еще многие в тайной оппозиции к этому строю и политике гетмана. Вот только нерешительный он. Но, если бы, положим, с гетманом что-нибудь случилось, и папа оказался рядом с Николаем Сергеевичем, мы могли бы подобрать неплохую команду для реформ. Но, конечно, прежде нужно будет установить свою собственную диктатуру и посадить всех коррупционеров и воров. В стране повальная коррупция и воровство, а суды продажны, поэтому без диктатуры — никак. И диктатором этим буду я.

— У тебя такая твердая рука?

— Да, у меня такая твердая рука.

— Я не верю в диктатуру, — сказал Иван. — Как, впрочем, не верю и в то, что можно создать более совершенный строй без более совершенного человека.

— А я — верю. Я буду править так, что люди созреют до совершенного строя.

— А возможно ли такое созревание? По-моему, ты ставишь телегу впереди лошади. Бердяев писал, что идея свободы первичнее идеи совершенства.

— Мало ли что писал Бердяев. Шекспир писал: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам».

— Ну что ж. Дай бог. Да, у меня еще вопрос. Твой папа пользуется таким авторитетом у народа, и гетман его терпит?

— Брехунец боится санкций. Половина его бизнеса завязана на торговле с Евросоюзом. Он и так из-за папы много потерял, потому что в Евросоюзе у власти много папиных друзей. Они просто могут совсем отказаться покупать его сельхозпродукцию.

— Ладно, бери револьвер, раз ты такая решительная. Иними с меня этот бинт, я его стесняюсь.

— Почему? Может быть, ты герой.

— Я не хочу быть героем. Я в раковину хочу.

ГЛАВА 15

Иван подошел к своему подъезду, поздоровался с Полиной Васильевной, сидящей на скамейке, как вдруг голова закружилась, он пошатнулся и, благо скамейка была рядом, присел.

— Что с тобой, Ваня? Ты бледный как полотно, — сказала озабоченно Полина Васильевна.

— Голова закружилась.

— С чего бы это? Ты вроде трезвый.

— Долго рассказывать, Полина Васильевна. А впрочем, у меня было сотрясение мозга.

— Тогда тебе надо в постель. Может, тебя проводить?

— Нет, не надо.

— И все-таки я тебя провожу. Мне не трудно.

В квартире, снимая куртку, Иван снова покачнулся.

— Может, «скорую» вызвать? — спросила участливо Полина Васильевна.

— У меня нет страховки, да и чем поможет «скорая»? Единственное, что мне нужно, — это покой. Я знаю, я читал.

— Ты только не спи. Я где-то читала, что после сотрясения мозга спать нельзя.

Иван сел на диван, снял туфли и лег.

— Тебя, может, накрыть? Я вот этим пледом накрою.

— Ну, накройте, если вам это доставит удовольствие.

— Это не из-за удовольствия. Хотя, может быть, и из-за удовольствия, — накрывая Ивана пледом, говорила Полина Васильевна. — Я думаю, это, так сказать, инстинкт заботы, даже у животных он есть, даже кошки друг друга вылизывают, что уж говорить о человеке, — она посмотрела на гроб. — Давно хотела тебя спросить: чем ты так серьезно болен, а, Ваня?

— Почему вы решили, что я чем-то серьезно болен?

— Ну как же... Этот гроб...

— Тоска у меня была, Полина Васильевна.

— И все?

— И все.

— Если я правильно тебя понимаю, ты решил покончить с собой? Да?

Иван промолчал.

— Выбрось это из головы. Подумай о своих родителях. Они все для тебя делали, даже оставили тебе квартиру в столице, а сами уехали в задрипанный Конотоп, а ты? Немедленно выбрось это из головы! Подумаешь, трагедия — жена ушла! Это — не трагедия. Говорят, что если перед тобой закрывается какая-то одна дверь, то рядом непременно открывается другая. Подумай, Ваня, разве после ухода Анастасии тебе не открылась другая дверь или даже много дверей?

— Умные вы иногда вещи говорите, Полина Васильевна.

— Иногда — да. Так что брось дурить!

— Уже бросил. Передо мной действительно открылась другая дверь. Не ругайте меня. Лучше идите, потом как-нибудь поговорим. Мне полежать надо.

— Ладно, иду.

ГЛАВА 16

У подъезда на скамейке сидела Вера Львовна и читала потрепанную, без обложки, книгу.

— Здравствуйте, Вера Львовна, — сказала Полина Васильевна, садясь на скамейку напротив. — Хочу перед вами покаяться. Я ведь

тогда, после нашего разговора, все же перечитала Шевченко и его «Катерину», в первый раз с тех пор, как окончила школу. Зря я тогда сказала, что только остальные его читают, потому что я тоже плакала. Читала и плакала. И казалось мне тоже, что я становлюсь лучше. Так что там у вас?

— Не знаю, тут и название, и автор — все оборвано. Какой-то Антон Павлович Чех. Давайте я вам почитаю?

— Читайте. Чехи — они хорошо едят. Гашек Ярослав, например. Он смешной.

— Чех — это не национальность. Чех — это фамилия.

— Все равно читайте.

Вера Львовна пролиставала книгу.

— Вот, — сказала она. — В Москву. Написано: «В Москву», но кто-то зачеркнул «В Москву» — и сверху написал: «В Европу».

— Когда была издана эта книга? — спросила Полина Васильевна.

— В 2017 году.

— Неправильно он зачеркнул, — поморщилась Полина Васильевна.

— Что? «В Москву» было правильно?

— И «в Москву» было неправильно.

— Что же тогда правильно?

— Оставаться дома было бы правильно, потому что от себя не убежишь. Но почему-то думали, что смогут убежать. Почему-то ожидали, что европейцы за нас решат наши проблемы, вроде у них своих проблем не хватает. Кричали радостно: «Мы — объединенная Европа!», но что же в итоге вышло? Европейцы подумали-подумали, повязли-повязли в нашем болоте и откристились от нас и от наших воров у власти, потому что решили, что будет выгоднее и менее хлопотно, если мы станем буферным государством.

— Вы говорите, что воры у власти. А как же гетман Брехунец? Ведь он в первую очередь у власти?

— Гетмана не трожьте, гетман — совсем другое. Вы вот говорили об авторитете: скажи «копай», и ты будешь копать, хотя он тебе и не начальник. Такой же для меня и гетман. Скажи он мне: «копай», и я буду копать, хотя он мне и не начальник. Верю я ему почему-то, уж не знаю почему. Гетман сам, может быть, вязнет в этом воровском болоте. Ну да ладно о политике, вы читайте, читайте.

Вера Львовна снова склонилась над книгой и начала: «Кто знает? А, быть может, нашу жизнь назовут высокой и вспомнят о ней с уважением...» — Вера Львовна подняла голову. — А это ведь и о нас, хоть и было написано тыщу лет назад.

— О нас с уважением? — перебила ее Полина Васильевна. — Не смешите меня! За что же нас уважать?

— Но мы же живем? — возразила Вера Львовна. — Пусть страдаем от безденежья и несправедливости, в первую очередь, от несправедливости, но живем? Уже это одно достойно уважения.

— Может быть, вы и правы, — Полина Васильевна на время призадумалась, потом повторила: — Может быть, вы и правы, что мы все-таки живем несмотря ни на что. Несмотря на несправедливость. Да вы читайте, читайте.

Вера Львовна пролистала книгу.

— Вот это особенно мне нравится, — сказала она: — «Мне кажется, нет и не может быть такого скучного и унылого города, в котором был бы не нужен умный, образованный человек...»

— Я вас переблю, Вера Львовна, потому что все совершенно наоборот. Не нужен такой человек. Вот именно что не нужен, поэтому умные и образованные давно за границей.

— Не все. Вот вы, например, не за границей.

— Спасибо за доброе слово, Вера Львовна. Да, я умный и образованный человек, я даже пишу книгу, которая будет называться «Против постморализма». Вот только я сомневаюсь, что если ее даже издадут, то ее будут читать. Большинство, ученое на гламурных и эротических журналах, то есть постморалисты, открыв ее, скажут: «Нет, это никуда не годится, потому что это не блестящее. Нет, ничего неблестящего нам не нужно, потому что, поймите же, вот-вот гнусная старость, а потом еще более гнусное разложение плоти. Успеть бы поблистать и поразвлекаться, пожить красивой жизнью, или хотя бы помечтать о красивой жизни. Той, где свой собственный остров, омываемый теплым тропическим морем, где свой собственный дворец со своим собственным самолетом, своя собственная роскошная яхта, свой собственный самолет, а вы своей скукотией отнимаете у нас мечты и такое драгоценное время». Я их, конечно, понимаю. Жизнь действительно коротка. Но хочется, чтобы хоть кто-нибудь из них и меня понял: жизнь не только коротка, она еще и бессмысленна, если ты научился только брать, а не давать, если не возлюбил ближнего своего как самого себя. Если же ты возлюбил ближнего своего как самого себя, тебе не страшна будет смерть, ты будешь продолжать жить в своем ближнем.

— Вот вы сказали, Полина Васильевна, но как-то не так сказали. «Возлюби ближнего своего» и всю остальную мораль следовало бы говорить как-то завуалировано, так, что ее вроде и нет, но, тем не менее, она есть, — заговорила Вера Львовна. — Надо говорить «не убий» и «не прелюбодействуй», или «возлюби ближнего своего» завуалировано. Понимаете? В лоб нельзя. А вы не умеете, чтобы не в лоб, чтобы завуалировано.

— Во всяком случае — учусь. Но это трудно. Да вы читайте, читайте. Мне интересно. Может быть, я у вашего... как вы сказали?

— А.П. Чех.

— У вашего А.П. Чеха чему-нибудь научусь. Читайте.

— «Мне кажется, нет и не может быть такого скучного и унылого города, в котором был бы не нужен умный, образованный человек. Допустим, что среди ста тысяч населения этого города, конечно, отсталого и грубого, таких, как вы, только три».

— Я снова перебыю вас. Тут надо уточнить. Таких, кто не читает гламурные журналы, только три.

— Но ведь я своими глазами видела, как вы читали гламурный журнал?

— Сознаюсь, это — грех. Такой же, как и детская порнография. Нахожу, бывает, на мусорнике. Но ведь они, эти журналы, в конце концов, снова оказываются на мусорнике, где им и место. Но вы читайте, читайте!

— «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной...». Вера Львовна подняла глаза от книги. — Будет, все-таки будет и в Сельхозугодии новая, счастливая жизнь! — воскликнула она.

— Вера Львовна! Через двести-триста лет — это без нас, без нас. Вы понимаете, как это грустно, что без нас? Но все равно хорошо, что вы такое читаете. Вы молодец, Вера Львовна. А ведь другие такого не читают. Оттого и грязи столько.

Вера Львовна, вдруг заметив что-то, вытянулась, взгляделась и коротко бросила:

— Федор!

Полина Васильевна обернулась и тоже взгляделась. На дереве, метров в тридцати от них, сидел Федор. В руке у него была бутылка со сделанной из тетрадного листка в клеточку этикеткой, на которой было написано: «Шнапс».

Полина Васильевна вскочила и быстро подошла к дереву.

— Ты опять залез на дерево, скотина! — закричала она.

Подошла и Вера Львовна.

— В самом деле, Федор. Это же глупо, — сказала она.

— Я не Федор, я Теодор, я — немец! — сказал Федор, потом отхлебнул из горлышка и поморщился.

— И это тоже глупо! — сказала Полина Васильевна. — Ты только по происхождению Теодор, а по жизни — самый настоящий Федька. Так что брось, Федька, шизофренией заниматься, слезай с дерева.

— Не мешай мне погружаться в область чистой мысли! — вскричал Федор. — Если я, как истинный немец, не буду погружаться в область чистой мысли, то я превращусь в таких же ничемных тупоголовых мещан, как вы!

— А без дерева и без водки ты не можешь погружаться в область чистой мысли? А, Федор? — спросила Полина Васильевна.

— Я не Федор! Я — Теодор! Я, может быть, второй Шопенгауэр!

— Шопенгауэр, насколько мне известно, по деревьям не лазил. Так что слезай, Федька. Не позорь Шопенгауэра, — сказала Полина Васильевна.

— Я не слезу, покуда вы не признаете, что я не Федор, а Теодор.

— Ладно, Федя, признаем, — сказала Полина Васильевна, — ты — Теодор.

— А ты, Львовна, признаешь?

— Признаю, Федя.

— Не Федя, а Теодор.

— Признаю, Теодор.

Федор достал из кармана крышечку, закрутил горлышко бутылки, положил бутылку в карман куртки и принялся слезать дерева. Но только он слез на расстояние, с которого можно было дотянуться до бутылки, как Полина Васильевна схватила бутылку, открутила крышечку и принялась выливать содержимое на землю.

Федор слез и, обреченно глядя на пустующую в руке Полины Васильевны бутылку, а затем и на влажное пятно на земле, горестно произнес:

— Ну вот и пропала моя возвышенная жизнь...

— Вы слышите, Вера Львовна? И это он называет возвышенной жизнью! Как только выпил и залез на дерево, так и возвысился?

— Да, возвысился.

— И над чем же ты возвысился?

— Над тоской. Но разве вам дано это понять, убогие людищепки, — уныло глядя на мокрое пятно на земле, сказал Федор.

— Ду бист кранк, Федя. Тебя лечить надо.

— Что вы сказали? — спросила Вера Львовна.

— Я сказала, что он больной и что его лечить надо.

— Какая вы образованная женщина, Полина Васильевна!

— А толку? Эх!

ГЛАВА 17

Иван сидел за компьютером, когда зазвонил телефон.

— Я вижу, что ты, сынок, дома, — сказала мать. — Чем занимаешься?

— Пытаюсь писать.

— Песню «Анастасия» уже не слушаешь? Пора бы тебе перестать ее слушать, только душу себе растравляешь.

— Не слушаю. Пытаюсь увлечься другой девушкой, Гердой.

- Герда — эта та девушка, у которой ты ночевал?
- Она самая.
- Ну, дай бог. Может, бросишь пить. Я понимаю, что ты переживаешь, но это не по-мужски.
- Уже бросил. Мне заказали роман.
- И приличное издательство?
- Не пойму. Что-то непонятное, но аванс дали приличный.
- Сколько дали?
- 100 тысяч евро.
- Неужели? Такие огромные деньги?! Отдай их мне, у меня целее будут.
- Могу дать только девяносто девять тысяч, потому что тысячу отдал Люде.
- Какой Люде, однокласснице?
- Ну да. Той, что в баре работает. Знала бы ты, как она меня выручала, когда душа требовала.
- Ой ли? Выручала ли? Ну да Бог с ней, с тысячей. Важно, что тебя оценили, и ты будешь, наконец, занят любимым делом, а не ящички таскать. А еще важнее в данный момент начисто забыть Анастасию.
- Герда поможет ее забыть.
- Приличная девушка?
- Приличнее некуда. Она даже не красится.
- По-твоему, это уже все?
- По-моему, это говорит о наличии мозгов.
- Не будь так строг к женским слабостям. Красиво, или, по крайней мере, не некрасиво выглядеть — это вежливость женщины по отношению к мужчине. Ладно, надо что-то на обед приготовить. Надеюсь, что теперь ты будешь умницей. Да, еще: если у вас с Гердой завяжется что-то серьезное, то приезжай с ней к нам, чтобы не ошибиться во второй раз.
- Вы что с отцом, критерий истины?
- Какой-никакой.
- Но рука у нее тяжелая.
- Как это? Она драчунья?
- Еще какая!
- Не связывайся с такой.
- Но это у нее от прямоты. Если хитрость порок, то прямота, по логике, должна быть достоинством.
- Не знаю, не знаю. Прямота бывает хуже воровства. Жизнь, она ведь штука непростая. Состоит она не из тонов, а из полутонов, оттенков и, к несчастью, всегда грязновата, как акварель, попавшая под дождь.
- Тогда я буду писать свою жизнь маслом.

— Дай бог нашему теляти.... А впрочем, я рада, что ты так воодушевился. Ну да ладно. Садись, работай. Творческий труд создал из обезьяны человека. Может, и из тебя что-нибудь выйдет. По крайней мере, ты теперь не неприкаянный. Только ты должен печататься под псевдонимом. Быть знаменитым, если такое будет, не просто некрасиво, но, по моему мнению, даже гадко. Китайцы говорят, что лучшие люди проходят незаметно. Помни это.

— Я тоже так иногда думаю. И, поверь, я не знаменитым быть хочу, я хочу себя реализовать.

— Опять что-то сюрреалистическое задумал?

— А почему бы и нет? Сюрреалист Дали переплюнул всех реалистов.

— Кто кого переплюнул — это еще как посмотреть. Кто как рассудит.

— И все же, я за сюрреализм. Реализм может вызвать слезы или смех, радость или печаль, но поразить он не может. А мой роман, если получится, будет не только вызывать смех и слезы, радость и печаль, но еще и поражать.

— На твоём сюрреалисте Сальвадоре Дали не сошелся клином белый свет, и на тебе не сойдется, потому что ты просто хвастун. Все, я вешаю трубку, настолько мне твой гонор отвратителен.

— Мама, подожди, но у любого творческого человека должен быть такой гонор. Просто он не должен его показывать. И вообще, стать совершенным человеком — это значит перестать быть писателем. Писатель должен быть наполовину подлецом. Иначе он будет наводить скуку. Да, да, мама. Быть совершенным — скучно.

— Тебе только тридцать три года, поэтому ты так говоришь. А вот будет тебе лет на тридцать побольше, может, и поймешь тогда, что быть совершенным — самое большое удовольствие. Ты сможешь получать куда большее эстетическое наслаждение, находить его во всем и этим радоваться жизни. А пока порадууй мать хотя бы скромностью. Сказать, что твой роман потрясет мир — это нескромность, а лучшие люди — они без гонора, они как мышки, только шуршат. И чем тише человек шуршит — тем человек и лучше. Человек должен бежать от славы, как от чумы, а ты к ней, как не оправдывайся, а стремишься.

— А если я хочу поражать не ради славы, а ради денег?

— Это уже менее безнравственно, как ни странно. Но все равно, хочешь больше игрушек купить?

— Мама, да все мы дети. Это — данность. Даже в 80 лет люди — дети, а мир — это огромный детсад. Вот только в детсаду дети находятся под присмотром воспитателей, а мир ни под чьим присмотром не находится.

— Ты когда-то заикался о божьих.

— Да это так, мечты...

— Какие мечты?

— В первую очередь, мечты о справедливости и бессмертии.

— Да я, откровенно говоря, не против идеи бога. Бог все же делает многих — я себя к их числу не отношу — более нравственными.

— Ты права. Многие считают бога образцом нравственности, но бог, если он есть, — безнравственен. Но не со зла. Должность у него такая, безнравственная. А нравственность — это уже дело сугубо человеческое, это он целиком отдал нам. Судите, дескать, вы моя совесть, правда нечистая, как акварель, попавшая под дождь, но у меня и такой нет.

— Но бога нет. Люди — вот мозг и сердце вселенной. Да, вот еще. Когда я была в психбольнице у Магдалены, она жаловалась, что ты к ней не ходишь. И меня это возмущает. Как ты можешь забывать, что у тебя есть сестра? Почаще надо ее проведывать и приносить передачи. Там же кормят-то неважно. Нам с отцом не так-то просто ездить из Конотопа. Ну да ладно, пожурила я тебя, а теперь пойду отцу обед готовить.

— Мама, подожди. А ты хотела бы, чтоб бог все-таки был?

— Только добрый.

— Конечно, добрый. Хотела бы?

— Эх, Ваня! Да кто ж не хотел бы?! Я, честно тебе скажу, всю жизнь пыталась поверить в бога. Но — нет, не получается. Может быть, это особый талант — верить в мифы и сказки как в действительное. Да, наверное, это можно назвать талантом. У меня такого таланта нет, и с этим ничего уже не поделаешь. Ну да ладно, пойду обед готовить.

ГЛАВА 18

Гремел гром, и стеклянный дворец господина весь изнутри полыхал вспышками молний, резким белым светом озарявшими вишневые сады и запруженную людьми площадь перед дворцом. Кто бил лбом поклоны, кто неистово крестился, а кто бил поклоны и неистово крестился, кто-то стоял на коленях, и на всех лицах было одно и то же выражение: страх.

Над всей толпой, на ступеньках мраморной лестницы, ведущей к входу во дворец, возвышалась коренастая фигура Сидорова. На нем было черное монашеское облачение, поверх которого на шее висели огромных размеров крест, звезда Давида и полумесяц.

— Кайтесь, кайтесь! — в перерывах между ударами грома кричал в микрофон Сидоров и потрясал руками.

— Каемся, каемся! — гудела толпа.

— А теперь повторяйте за мной: «Никто не приходит к богу без Сидорова! Нет бога без Сидорова!».

— Нет бога без Сидорова! — гудела толпа.

По вишневой аллее по направлению к дворцу, поглядывая на толпу, шел Заратуштра и разговаривал по телефону.

— Ставь на темную лошадку, — говорил он.

— Темная Лошадка в бегах не участвует, — говорили ему. — Есть Победитель, есть Стремительный, есть Неудержимый, да много еще есть, но такой лошади, как Темная Лошадка, нет.

— Ты что, тупой? — возмущался Заратуштра. — Я имею в виду, ставь на того коня, который менее всех известен, но, по-видимому, не без потенциала.

— По-моему, лучше ставить на Победителя, он фаворит.

— На фаворита неинтересно, да и выигрыш будет минимален. Ставь на темную лошадку. Есть такая?

— Есть Толстозадый. Ничего о нем неизвестно, в первый раз участвует.

— Ну и кличка! Но он, надеюсь, на деле не толстозадый?

— На деле наоборот, поджарый. И выглядит бойцом. Но все равно я советую на Победителя. Так вернее.

— У тебя только выигрыш в голове, а как же сама игра? Как же азарт игры? И хватит уже меня уговаривать. Мое последнее слово: ставь на Толстозадого.

Заратуштра выключил телефон и очутился перед толпой, продраться через которую не представлялось возможным. Снова раздался голос Сидорова:

— Нет бога без Сидорова! — кричал он в микрофон.

— Что за чушь здесь происходит? — озадачился Заратуштра. — Какой еще Сидоров?

— Пророк, — отвечал ему какой-то мужчина в белом мусульманском одеянии. — Обещает спасти нас от божьего гнева.

— Бог не гневается, — сказал Заратуштра. — Он слишком мудр, чтобы гневаться.

Дворец снова озарился вспышками молний, и загромыхал гром.

— По-вашему, это не гнев? — возразил мужчина в мусульманской одежде.

— Молнии — это не гнев, молнии — это электричество.

— Тсс, — зашипели на говорящих, и они замолчали.

— А молиться надо так, — вещал Сидоров. — «Сидоров, сущий на небесах, воссядь одесную господя, чтобы пришло царствие его, чтобы была воля его, яко на небеси, так и на земли. Чтoб хлеб наш насущный дал нам господь, чтобы простил нам долги наши, яко же и мы прощаем должникам нашим, чтобы не ввел нас во искушение и избавил нас от Ботиночкина».

— Да это заговор! — прошептал Заратуштра.

Мусульманин обернулся и подозрительно посмотрел на Заратуштру.

— Уж не ты ли пресловутый Ботиночкин? — спросил он.

— Я Сапожков, — сказал Заратуштра.

— Он, он, — поддержал подозревающего еще один. — Его козлиная борода! Бей его, ребята!

— Я Сапожков, — повторил Заратуштра и поспешил retirоваться.

Оказавшись на безопасном расстоянии, он свернул на какую-то тропинку, которая вывела его к поросшему травой и вишневыми деревьями бункеру с заржавленной железной дверью, на которой с трудом, но различалась надпись красной краской: «Антианнигиляционное убежище». Найдя над дверью заржавленный ключ, Ботиночкин открыл скрежещущую дверь, спустился по лестнице, прошел мимо многочисленных деревянных нар, открыл еще одну дверь и очутился в темном чулане, мрак которого едва разгонял желтый свет пыльной лампочки ватт в сорок. Чулан был полон разного рода старьем: допотопный велосипед с огромным передним колесом и крошечным задним, старые лыжи, заржавленные коньки, какие-то первобытные весы с гирями, искусственная елка и прочее, и прочее, что давно следовало бы сдать в музей или выбросить на помойку. Споткнувшись, Заратуштра чертыхнулся:

— Чертов Плюшкин, понабросал здесь!

— Я все слышу! — донесся до него трубный глас божий. — Только я не Плюшкин, потому что это материал для творчества.

— Да какое это может быть творчество из хлама! — крикнул Заратуштра.

— Современное творчество.

Пройдя через чулан, Заратуштра поднялся по ступенькам, открыл еще одну дверь и оказался в лаборатории. Господь сидел в золотом кресле и метал молнии в бассейн.

— Что вы делаете?! — крикнул Заратуштра.

— Да вот, исследую, может ли благодаря электричеству возникнуть жизнь в первобытном бульоне. Не мешай.

— А вы знаете, что из-за ваших опытов с молниями на улице делается? — спросил Заратуштра.

— Ничего особенного там не делается, — сказал господь.

— Да это же заговор! Какой-то Сидоров собрал толпу и провозгласил себя пророком!

— Да черт с ним, с Сидоровым! Пусть себе забавляется! Я противник безоблачного счастья.

— Но он хочет меня, вашего советника, отстранить от власти!

— А тебя давно пора отстранить. Вот ты объясни мне, как так получилось, что ты на глазах бандитов передал Ивану такую крупную сумму? Чем ты думал?

— Было, каюсь... — согласился Заратуштра с этим упреком.

— И где ты был, когда эти же бандиты чуть его не убили? Опять в своем сумасшедшем доме? Там тебе что, медом намазано?

— Да. Медом намазано. Если бы вы знали, какие там интересные собеседники! Кроме того, мне известно, что второй самолетик исчез на территории сумасшедшего дома. А я как раз в нем лежу. Вот такое странное совпадение. Думаю — это все святой дух, и он ведет какую-то свою игру.

— И по-моему тоже, святой дух ведет какую-то свою игру. По-моему, он хочет нас запутать. Только зачем ему это? — проговорил господь.

— Игра. Если бы вы знали, какой захватывающей может быть игра!

— Даже в кошки-мышки? — спросил господь.

— Даже в кошки-мышки, — ответил Заратуштра.

— А как это, в кошки-мышки? Никогда не играл.

— Я вас научу.

ГЛАВА 19

Сундук и Китаец пили пиво в дешевой забегаловке.

— Вот сучка! Вот сучка гребаная! — Сундук, рослый круглолицый блондин лет двадцати пяти, трогал пальцами красную с синевой опухоль, начинающуюся у спинки носа и застилающую глаз так, что тот выглядел узкой щелочкой.

— Я бы, бля, плеснул ей в морду кислоты, — прихлебнув пива, сказал Китаец, узколицый тонкокостный парень со слегка азиатскими глазами и с татуировкой сердца, пронзенного стрелой, на тыльной стороне ладони и надписью: «Люблю тебя одну очень сильно».

— Стремно, Китаец. Можно самому облиться, — сказал Сундук.

— А может, ее вообще замочить? Жаль, что у нас нет ствола. Хотя, можно обойтись и без ствола. Если, бля, у нас будут бейсбольные биты, то никакое карате этой гребаной жидовке не поможет, — злобно произнес Китаец.

— Откуда ты знаешь, что она жидовка? — спросил Сундук.

— Я, Сундук, их за версту узнаю.

— По мне — брюнетка да и все.

— Брюнетка брюнетке рознь. Я тоже, бля, почти брюнет. И потом, ее Герда зовут. Типично жидовское погоняло. Ну что, еще по пиву?

— Я пустой, — сказал Сундук. — Эх! Какой из-за этой сучки куш упустили!

— Замочить бы ее, гадину. И труп, бля, надежно заныкать. Когда трупа нет, мусора хрен нападут на след.

— Закопать, что ли?

— Можно закопать, а можно утопить. Привязать, бля, что-нибудь тяжелое, например, бетонные блоки, у брата есть такие, что-то вроде больших кирпичей. Живьем, бля, утопить. Я возьму у брата фургон, возьму его права, ведь мы с ним, бля, почти на одно лицо. Да и электрошокер возьму.

— Стремно, Китаец, — сказал Сундук.

— Не ссы, Сундук. Если все как следует обсосать, все пройдет как по маслу.

— Все равно стремно, — сказал Сундук.

— Но жить, бля, тоже стремно. В любую минуту в Землю может врезаться метеорит, и все мы, бля, вымрем, как динозавры. Так что давай, бля, спешить жить, — он усмехнулся. — А ведь мы сейчас что-то мудрое, что-то вечное, что-то, бля, философское выдали. «Спешите жить» — так может сказать только философ.

ГЛАВА 20

Иван сидел за компьютером. На экране в качестве заголовка было написано: «Тоска».

— Черт! — выругался он, вставая. — Разве годится такое название? Разве речь в романе будет только о ней? Черт! Черт! Ну? Где твоя фантазия?

Он подошел к окну.

Открывавшийся вид к лирике не располагал. Серое, без окон здание Государственного архива на две трети скрывало площадь Первого Великого Гетмана. Была видна как бы осевшая, грубая гранитная фигура гетмана, но постамента, к которому возлагались цветы, видно уже не было.

— Авантюристка, — сказал Иван, глядя в окно. — А может, и не авантюристка. Может, герой. Ведь задумала она героическое. Говорят, что нет героев без зрителей. Оказывается, что есть.

Он вернулся к письменному столу, взял и включил смартфон. На экране возникла Герда. Задорно подбоченившаяся.

— Красавица, не отнимешь. Но нельзя ее пускать себе в сердце. Разве я не говорил себе, что это великая мудрость — никого не любить? Разве не убедил себя в этом? А может, я просто трус? Обыкновенный трус? Может, я как та кошка, которая обожглась на горячей печи, а теперь боится сесть даже на холодную?

Он снова сел за компьютер, убрал название «Тоска», написал «Обыкновенный трус», снова встал и заходил по комнате.

— Только что это я только одного себя уничижаю? Разве я один такой? Не один. Поэтому тут надо, как в ботанике. Как, например, «хвощ полевой обыкновенный». То есть не «человек ра-

зумный», а «трус обыкновенный». Ведь не только я прохожу мимо, когда сильный обижает слабого. Многие проходят мимо, предпочитая не связываться, многие трусы обыкновенные. Но это, наверное, не о Герде. Герда, наверное, не прошла бы.

Он снова взял телефон и набрал номер.

— Алло? — послышалось в трубке.

— Это ты, Герда?

— Я.

— Мы не могли бы сегодня встретиться?

— Я сейчас на работе.

— Я знаю. Давай я подойду к закрытию?

Послышался легкий смехок.

— Ты чему смеешься?

— Тому, что ты не играешь.

— В каком смысле?

— Всем известно, что, чтобы в себя влюбить, нужно после знакомства не давать о себе знать четыре дня. Нужно дать волю воображению жертвы. Нужно подождать. А ты не ждешь. Значит, ты не играешь чужими чувствами.

— Это хорошо или плохо?

— По мне — хорошо. Я люблю людей, которые не играют чужими чувствами. Я люблю искренних людей.

— Ну, не такой уж я искренний.

— В меру искренних. Всё — в меру.

Когда Иван подошел к бару, за стеклянной дверью уже висела табличка «Закрыто». Он постучал, и Герда почти тут же открыла.

— Привет, — сказал Иван. — Прости, что без цветов, но уже поздно, все закрыто.

— Ничего. Я и без цветов рада тебя видеть.

— Давай я помогу тебе убраться?

— Уже убралась. Люда разрешила пораньше закрыться.

— Может, я тороплю события, но очень хочется, чтобы вы скорее сошлись поближе, — улыбалась Люда, надевая куртку. — Жаль, что нам в разные стороны. А может, и не жаль.

Все трое вышли на улицу.

— А ты уже не в воду опущенный! — весело сказала Люда. — Я же говорила, что клин клином вышибают, — она похлопала Ивана по плечу и зацокала в противоположную сторону.

— Смотри, какая она молодец! — сказала Герда. — Совсем не комплексует по поводу своей полноты. Часто бывает совсем не так. Я думаю, что она, несмотря на полноту, привлекательна для мужчин, а?

— Привлекательная, пожалуй. Она хоть и полная, но милая. Как-то по-особому милая. А, кроме того, она веселая, а веселость

красит человека, даже если он урод. А что насчет комплексов, то их у разумного человека быть не должно, все люди расположены по горизонтали, — сказал Иван. — Ты сама говорила.

— Не все. Есть исключения. Есть сверхчеловеки.

— Ты знаешь хоть одного?

— Знаю. Это я.

— Ты не в меру откровенна.

— А может, я сказала так в шутку.

— Мне почему-то кажется, что не в шутку.

— Хорошо, не в шутку, ну и что?

— Значит, ты ради великой цели пожертвуешь жизнью невинного дитяти? Значит, цель оправдывает средства? По-моему, Ницше на тебя пагубно повлиял.

— Я еще до того как читала Ницше и Достоевского, над всем этим задумывалась. Подумать только, больше тысячи лет назад был задан вопрос о цене слезинки невинного ребенка, а ответа так и нет.

— Ответ есть, — возразил Иван.

— Для меня нет ответа. Я колеблюсь.

— Раз ты колеблешься, значит, ты не сверхчеловек.

— Да что это мы с тобой опять за старое? Давай не философствовать. Посмотри, какой сегодня чудесный теплый вечер! Так что лучше поговорим о погоде. Скажи: «А погоды какие нынче чудные стоят!».

— А погоды какие нынче чудные стоят, — повторил Иван.

— Ну вот. Совсем другое дело! Или это: Я пришел к тебе с приветом, рассказали, что солнце встало, что оно каким-то цветом где-то там затрепетало. Ну? Повторяй!

— Не буду.

— Почему?

— Не смешно.

— А, по-моему, — смешно.

— У нас разница в возрасте. Мне тридцать три. В таком возрасте люди уже становятся менее смешливыми.

— Не пугай меня своим возрастом. Я не боюсь.

— И часто серьезнее относятся к отношениям между людьми.

— Ты немножко старомоден. Ты мне мою бабушку напоминаешь.

— Если я напоминаю бабушку, значит я не немножко старомоден. Но какой уж есть.

— Не переживай. Мне нравится. Поэтому давай дружить.

— Ты это серьезно?

— Вполне. Дружба может быть вечной, а любовь — почти никогда. Если, конечно, она не становится любовью-дружбой через черточку.

— Я так и знал, что тебе не подхожу, — помрачнел почему-то Иван.

— Что? Испугался? Да пошутила я, пошутила!

— Я, кажется, понял. Ты обыкновенная кокетка.

— Я не обыкновенная кокетка. В глубине души я всегда серьезна. Я умею любить. Я любила.

— Своего мужа?

— Да. Но он оказался ветреным, мягко выражаясь.

— Да, такого человека трудно разлюбить. По опыту знаю. Он тебя бросил или ты его?

— Я его.

— Ты очень сильная.

— Я ведь сверхчеловек. Я не имею права на слабость.

— Если приходится говорить себе, что не имеешь права на слабость, значит ты не сверхчеловек, а просто сильный человек. Сверхчеловек не имеет слабостей. Он как робот. В моем представлении в нем как бы программа заложена. Если, конечно, он вообще существует в природе. И, ты знаешь, мне как-то странно, что ты так ценишь Ницше. Я бы на твоём месте его не любил, ведь он был антисемитом.

— Ты путаешь Ницше с Гитлером. Ницше наоборот говорил о немцах как о чувственных любителях поохотиться и выпить пивка, и что им далеко до филигранной утонченности раввинского ума. Разве антисемит так скажет? Да и нападал он не на иудаизм, а на христианство. Иудаизм же он превозносил.

— Ну — не знаю, раз так, — сказал Иван. — Я Ницше не читал. Я о нем только понаслышке, по цитатам да выдержкам. Сознаюсь, в Ницше я невежда.

— Все мы невежды, только каждый в разном и в разной степени.

— Хочешь меня подбодрить? Дескать, не переживай, Иван, не такой уж ты дурак?

— Нет, я вполне искренне. А даже если и так, если чтобы подбодрить, что тут плохого?

— Ты не сверхчеловек, потому что чувствуешь людей. Сверхчеловеку человеческое было бы чуждо. Разве не так?

— Дай подумать.

— Некоторое время шли молча. Иван все поглядывал на сосредоточенную Герду, потом зашел вперед, так что оба очутились лицом к лицу, обнял ее, но тут же разжал объятия.

— Что это было? — спросила Герда.

— Это была благодарность за то, что ты позавчера позволила себя проводить. Я бы на твоём месте не хотел бы быть попутчиком человека с таким жалким лицом, какое было у меня позавчера.

— Я тебя понимала. Я, когда развелась, тоже ходила невеселая. Кроме того, я знала тебя по юмористическим рассказам и афоризмам. По-моему, они, а не постное лицо, твоя суть.

— Думаешь, у меня есть будущее?

— Думаю.

Иван хотел отступить в сторону и чуть не упал.

— Черт! Шнурок развязался! Ты иди, я тебя догоню. Я быстро.

Герда вступила в темноту подворотни, и в этой темноте проявились две темные мужские фигуры с бейсбольными битами в руках. Один из них замахнулся битой, но Герда нырнула под удар, взвалила нападавшего себе на спину и сбросила на асфальт. Но довести прием до конца и заняться вторым, пониже ростом и более юрким, у Герды не хватило времени. Тот успел так основательно приложиться Герде по почке, что она вскрикнула. Последнее, что она запомнила, была резкая парализующая боль, но уже не от почки, от чего-то другого, крик: «Давай хлороформ!», — потом резкий специфический запах — и все. Тьма.

Иван бросился на крики, но, получив удар битой в солнечное сплетение, согнулся, и тут же его тоже парализовало током. Последнее, что он почувствовал, был запах хлороформа.

ГЛАВА 21

— Да понимаю я христианство, понимаю! — пылко восклицал Озабоченный. — Я даже готов его ну почти что всей душой принять! Мне нравится и «Возлюби ближнего, как самого себя», и то, что бог нас любит. Я одного не понимаю, как можно игнорировать инстинкт продолжения рода! Как можно отрицать плоть! Ведь это все равно, что учить крокодила хорошим манерам! Плоть, как и крокодил, без мозгов!

— Современное христианство уже не отрицает плоть. Оно сильно изменилось за три тысячи лет, с того времени, когда со дня на день ожидалось второе пришествие. Именно потому, что со дня на день ожидалось второе пришествие, чтобы, якобы встретить его безгрешными, отрицалась плоть, — заметил Философ. — Да, Заратуштра?

— Верно, — Заратуштра оторвал глаза от газеты. — Но я вот что скажу: тебя, Озабоченный, определенно надо познакомить с Сонечкой Мармеладовой.

— Называть нашу Магдаленку Сонечкой Мармеладовой — это кощунство! — воскликнул Философ. — Это все равно, что называть Христа бабником. Сонечка Мармеладова не была шлюхой, да еще такой отъявленной. Сонечка Мармеладова кормила семью, потому что ее отец, алкоголик, все пропивал. Сонечка была святой. А наша Магдаленка занимается этим из-за ненасытности.

— А это в христианстве, да и в любой религии, — грех, — сказал Заратуштра.

— Я понимаю, что это грех, — согласился Озабоченный. — Но я не понимаю, почему именно это считается грехом. Что тут плохого, если задуматься? Что плохого, если человек доставляет себе и другим удовольствие? Почему в Древнем Израиле побивали камнями за прелюбодеяние, но не побивали за проституцию? Значит, нужна была и им проституция? Значит, не такой уж это грех? Ты подумай над этим, Философ.

— Замолчи, ты говоришь такие вещи, за которые тебя так и хочется сжечь на костре! — воскликнул Философ.

— Ты, между прочим, претендуешь называться философом, вот и объясняй, а не сжигай на костре, — сказал Озабоченный.

— Не знаю, как объяснить. Знаю только, что я ее боюсь, — сказал Философ. — Меня, например, как хотела взять? Вытащила из кармана презерватив и манит меня им, манит.

— Ну а ты? — спросил Озабоченный.

— Да я просто испугался!

— Я бы не испугался! — сказал Озабоченный.

— Потому я тебе, величайшему герою, и говорю: запишись у медсестры ходить за едой, — сказал Заратуштра.

— А если она кого-нибудь другого выберет? Я и прыщавый, и горбатый. Урод я.

— А ты тоже возьми презерватив и помани ее, — сказал Художник.

— Не говорите такие уродливые вещи, коробит! — крикнул Давид Давидович.

— Такова проза жизни. Она и уродлива тоже, это в стихах все красиво. Хотя в принципе — то же самое, — сказал Заратуштра и процитировал:

Я ошибся, кусты этих чащ
Не плющом перевиты, а хмелем.
Ну — так лучше давай с тобой плащ
В ширину под собой расстелим.

Так говорит Пастернак. Не коробит?

— От любви не коробит, — сказал Философ.

— А иного, может быть, и от Пастернака коробит, — сказал Заратуштра. — Для ханжи, может быть, и «свеча горела на столе, свеча горела» — порнография, и ее нужно запретить. На деле же в мире мало вещей, которые категорически нужно запретить. Ну, разве что детскую порнографию. Вы отстали от жизни. Я это вам говорю, Философу и Давид Давидовичу. Доказано, что мир больше выигрывает от позволения, чем от запрещения. Пример тому —

Единый Англосаксонский Союз. В нем почти все позволено, и он процветает. Англосаксонский Союз и есть пока что мера всех вещей. Да и Европа тоже.

— Мера всех вещей — Бог, а не Америка или Европа, — сказал Философ. — Только я его еще не открыл.

— Нет, пожалуй, не Америка мера всех вещей, а человеческая совокупность, — поправился Заратуштра. — Только нельзя ждать от нее, чтобы она сразу все отмеряла, она отмеряет постепенно. Тезис — антитезис — синтез.

— Санитар! — донесся старческий женский крик. — Ты почему позволяешь этим идиотам шляться по коридору!? Ну-ка загони их в палаты!

— А вот еще одна уродливая сторона жизни, — заметил Заратуштра.

— И это психиатр, долженствующий быть целителем душ! — воскликнул Озабоченный.

— Ничего, ей, наверное, уже скоро на пенсию, — сказал Давид Давидович.

— Да она уже на пенсии, но все же никак не может не калечить людей! — еще более возвысил голос Озабоченный.

— При коммунизме такого не было!

— Ради Бога, Давид Давидыч, не надо про коммунизм, а то опять поссоримся! — просительно, с надрывом произнес Озабоченный.

— А что такое чванство? — спросил Петя. — Вот тут, в газете, написано слово «чванство».

— Это, Петя, высокомерие, с которым чиновники относятся к людям в капиталистических странах, — пояснил Давид Давидович.

— Ну вот, опять! — воскликнул Озабоченный.

— Давно бы пора тебе смириться, — сказал Заратуштра. — Тем более что Давид Давидыч — хороший человек. А ты сам говорил, что главное — чтобы человек был хорошим, а не его политические воззрения.

— Обход, обход! — донеслось из коридора. — Все по палатам!

— А у тебя кто лечащий врач? — спросил Философ Петю Нирьбу.

— Не знаю, как ее зовут. Та, что кричала: «Загони идиотов в палаты!».

— Маргарита Васильевна, — сказал Философ. — Не повезло тебе. Галоперидол колют?

— Не знаю.

— А аминазин?

— Тоже не знаю.

— Хорошо, что у нас Сергей Викторович врач, — сказал Озабоченный. — А то бы эта дура всем нам либо галоперидол, либо аминазин, либо все вместе, коктейль. А впрочем, лишь бы корректор

давали. Он снимает побочные действия. Если бы ему давали галоперидол и аминазин, а корректор не давали, он бы уже на стену лез, — сказал Озабоченный.

— Не дают ему ни галоперидол, ни аминазин, я видел, — сказал Художник.

— Редкость для этой суки, — выругался Озабоченный.

— Не ругайте врачей, — почему-то прошептал Леня-барабанщик. — Они все слышат. Видите эти микрофоны на потолке? Через них они все и слышат.

— Эх ты! — сказал Озабоченный. — Да что там! Барабанщик — он и есть барабанщик! Какие микрофоны! Это пожарная сигнализация!

— А может, и вправду, микрофоны? — предположил Философ. — Еще с советских времен остались, чтобы подслушивать разговоры диссидентов.

— И ты туда же, Философ? Ну, ты меня удивляешь! — сказал Озабоченный.

— А откуда же тогда Маргарита Васильевна знает все наши прозвища и обращается не по фамилии, а по прозвищу? Значит, где-то есть микрофоны? Просто они спрятаны. В стены замурованы, наверное, — предположил Философ.

ГЛАВА 22

По темной, уже пустынной в это время улице ехал белый фургон.

— Как ты думаешь, мы хорошо их связали, не развяжутся? — тревожился Сундук.

— Это, бля, от веревок можно освободиться, а от липкой ленты — никогда, — сказал сидевший за рулем Китаец.

— Ну, может, все же как-нибудь развяжутся, — продолжал тревожиться Сундук.

— Стремный ты какой-то, — сказал Китаец.

— А тебе не стремно? А если, бля, патруль нас остановит? Рисуем мы, Сеня! Ох как рискуем!

— Кто не рискует... Сам знаешь.

Позади послышался вой полицейской сирены.

— Ну вот ты и накаркал, придурок! Так, я спокоен, я совершенно спокоен. Спокойненько себе еду на дачу, — бормотал Китаец, тормозя.

Позади остановилась патрульная машина, из нее вышел полицейский и подошел со стороны водителя.

— Ваши права.

Китаец протянул права брата. Полицейский посмотрел на права, потом на Китайца, посветил фонариком на Сундука и приказал открыть фургон.

— Да там ничего нет, — стараясь не выдать нервного напряжения, сказал Китаец. — Так, всякое барахло для дачи.

— Откройте фургон, — повторил полицейский.

— Да там ничего такого нет, — снова сказал Китаец.

— Откройте фургон, — не отставал полицейский.

Китаец, от страха испытывая внутреннюю дрожь, вылез из машины и вместе с полицейским подошел к задней двери машины. Но только он взялся за ручку двери, как мимо пронесся белый БМВ.

— Белый БМВ! — закричал из патрульной машины другой полицейский. — Нам ориентировку дали на белый БМВ, а не на Мерседес!

Полицейский быстро отдал Китайцу права, вернулся к патрульной машине, и скоро она помчалась следом за белым БМВ.

— Уф... пронесло, — выдохнул Китаец, садясь в машину.

— Пронесло, — вытирая тыльной стороной ладони пот со лба, сказал Сундук. — А что было бы, если бы они стали стучать?

— Да спят они еще!

— А долго хлороформ держит?

— Точно не знаю, бля, но долго, раз операции под ним проводят.

Иван, связанный по рукам и ногам липкой лентой, и с ней же на рту, пришел в себя и огляделся. В жиденьком свете лампы было видно, что рядом сидит Заратуштра. Справа от Ивана, тоже связанная, лежала Герда.

— А прохладный в этом году май выдался, — сказал Заратуштра.

— Ммы, ммы... — промычал Иван сквозь липкую ленту.

— В прошлом году в это время уже тепло было, уже купались, — продолжал измываться Заратуштра.

— Ммы, ммы... — снова промычал Иван.

— А впрочем, может быть, я что-то путаю. Может, это было в Монте-Карло. Ну что же вы молчите? Я из кожи вон лезу, пытаюсь вести светскую беседу по-английски, то есть ни о чем, чтобы никого не обидеть, а он — ни гугу. Где ваша вежливость? Спросили бы: как вам сегодняшняя погода? Неужели это так трудно?

— Ммы. Ммы... — снова промычал Иван.

— Ах, простите. Как я сразу не понял, что вам говорить затруднительно.

Он нагнулся и сорвал липкую ленту с губ Ивана.

— Помогите развязать руки, — сказал Иван. — Если вы только мне не враг.

— Я вам не враг, — разрезав перочинным ножиком ленту, обмотанную вокруг запястий Ивана, сказал Заратуштра. — Вы сами себе враг. Когда один клин вышибаешь другим клином, все равно остаешься с клином. Нет, никогда вы не станете мудрецом.

Он отдал ножик Ивану.

Тот сорвал липкую ленту со рта Герды и разрезал ленту на запястьях. Герда зашевелилась.

— Где моя сумочка? — спросила она.

— Наверное, под тобой, раз у тебя ее ремешок на плече. А где Ботиночкин?

— Какой Ботиночкин?

— Наверное, умудрился выскочить через боковую дверь... — сказал Иван.

— Какой Ботиночкин? — снова спросила Герда.

— Меценат.

ГЛАВА 23

Через некоторое время Китаец свернул на грунтовую дорогу, ведущую к реке, и чуть не доезжая до обрыва, остановился. Друзья вышли и подошли к задней двери фургона.

— Впрочем нам это козел подвернулся. Теперь, когда у нас есть его паспорт с адресом и ключи от квартиры, будем надеяться, что те деньги у него дома, — открывая двери, проговорил Китаец.

В свете луны и жиденьком свете лампы, освещавшей внутренность фургона, было видно, что, хотя ноги пленников были стянуты липкой лентой, руки и рты их оказались свободны.

— Ты смотри, бля, — удивился Китаец, посветив еще и мощным фонарем. — Как им это удалось?

— Отпустите нас, пожалуйста! — жалобно заговорила Герда. — Ну пожалуйста! Мы никому не скажем! Ну пожалуйста!

— Нет, коза драная. У нас, бля, другие планы. Мы тебя сначала изнасилуем, а потом утопим обоих в реке. Тут вас не найдут, тут больше пятнадцати метров глубина. Тяни ее сюда, Сундук.

— Ну — это все вряд ли! — уже весело проговорила Герда, резко выдернула из-за спины револьвер и сделала два выстрела. Друзья застонали и, схватившись за животы, повалились на землю.

— Давай, быстрее освобождай мне ноги! — приказала Герда Ивану.

Пока Иван освобождал Герде ноги, а бандиты, обливаясь кровью, корчились от боли на земле, Герда ядовито проговаривала:

— Поторопились вы на радостях, поторопились. Спешка фраеров сгубила. Не потрудились ко мне в сумочку заглянуть.

Она вылезла из фургона, встала возле поверженных врагов и пнула ногой Китайцу в голову.

— Не бей их, — сказал Иван. — Это не по-сверхчеловечески. Герда посерьезнела.

— А и впрямь не по-сверхчеловечески, — сказала она. — Я сама себя унижаю. Прочь эмоции, если ты сверхчеловек! Хочешь пристрелить кого-нибудь из этих гадов? — она протянула Ивану револьвер.

— Нет, Герда.

— А мне очень хочется.

Она наклонилась, хладнокровно выстрелила каждому в голову и положила револьвер в сумочку.

— Теперь надо их обыскать и забрать телефоны, чтобы не было сигнала. Нет, раздеться надо.

Зазвонил смартфон, и Герда вынула его из сумочки.

— Ничего не случилось, — сказала она. — Просто сегодня я переночую у Ивана. Не надо нравоучений... Потом поговорим.

— А теперь давай раздеваемся, — сказала Герда, пряча смартфон в сумочку.

— Зачем? — спросил Иван.

— Чтобы не испачкаться их кровью, когда будем их в фургон загружать.

— Ты хочешь утопить их вместе с машиной? Я к тому, что там два бетонных блока есть в багажнике.

— Если с машиной, то мы не оставим никаких следов.

— А и вправду, — согласился Иван.

Оба стали раздеваться. И, к удивлению Ивана, Герда сняла и трусики.

— И ты снимай, — сказала она. — Или стесняешься? Если стесняешься, то представь себе, что ты нудист.

— Сейчас не до стеснительности, — сказал Иван и, помедлив, начал все же снимать трусы.

Герда тем временем подобрала фонарь и забрала у мертвых смартфоны. Смартфоны она раскурочила перочинным ножиком, вынула аккумуляторы и бросила все в воду.

Худенького Сеню удалось затащить в машину сравнительно легко, но с более крупным Гошей пришлось повозиться. Наконец справились и с ним, и Герда села за руль. Иван, чтобы смыть кровь, спустился к воде правее от обрыва, где берег был покатый, а Герда, развернувшись, отъехала от реки метров на сто, снова развернулась, и, набирая все большую и большую скорость, помчалась к обрыву. Вот колеса оторвались от земли, машина повисла над темной гладью реки и, пролетев немного, рухнула в воду.

— Быстрее из машины! Быстрее! — закричал Иван, что было совсем лишним. Машина не погружалась так быстро, чтобы создать

Герде какие-то трудности со спасением. Машина погружалась относительно медленно. Так, что Герда смогла выбраться из нее задолго до полного погружения.

— Ты помылся? — спросила она, выходя из воды.

— Вроде все смысл.

— Так одевайся уже. Простынешь, — надевая трусики, сказала Герда.

Оба оделись. зуб не попал на зуб, и пришлось основательно подвигаться, чтобы унять дрожь.

— Получай фашист гранату! — энергично похлопывая себя по плечам, весело говорила Герда. — Как мы их, а?

— Мы убили, — сказал Иван.

— Мы не людей убили, мы убили мерзавцев. Неужели тебе их жалко?

— Нет, не жалко. Но все же мы убили.

— Не мудрствуй и не морализируй. Мы не могли иначе.

— Да, пожалуй.

— Я даже испытала наслаждение. И одновременно чувство выполненного долга. Но больше — наслаждения.

— Даже так? — спросил Иван.

— Даже так. И мне не стыдно. Ну все, пошли вон туда. Там, где шалаш. Надо как-то скоротать время до утра.

— А вдруг там кто-то есть в шалаше? — сказал Иван на ходу. — Тогда и их тоже тебе придется убить.

— Опять морализируешь?

— Забыл, что ты сверхчеловек, а значит, твоя жизнь ценнее, чем жизнь кого бы то ни было.

— Ты серьезно, или иронизируешь?

— Я задаю себе серьезный вопрос: в самом ли деле твоя жизнь ценнее, чем жизнь кого бы то ни было?

— Позволь мне не отвечать, — сказала Герда и, подойдя к шалашу, добавила: — Слава богу, он старый. Видишь, хвоя порыжелая? — светя фонарем, сказала Герда, подходя к шалашу и заглядывая в него. Хвоя, которой он был устлан изнутри, тоже была явно прошлогодняя.

— Скорее всего, здесь давно уже никого не было.

— Слава богу, — сказал Иван и вдруг закричал: — Черт! Черт!

— Что такое? — встревожилась Герда.

— У них остался мой паспорт и ключи от квартиры!

— Их в карманах не было.

— Наверное, в бардачке!

Иван повернул в обратную сторону и на ходу снял куртку.

— Стой, — сказала Герда. — Тебе нырять нельзя. У тебя только позавчера было сотрясение мозга. Я нырну. Лучше возьми фонарь и свети мне, когда я буду нырять.

— Ты и так долго была в воде. Ты можешь переохладиться.

— Я закаленная. Я даже была моржом, — сказала Герда, быстро скинула с себя всю одежду и вошла в реку. Ее долго не было, и Иван уже начал волноваться, но тут Герда вынырнула.

— Есть, есть! — закричала она, подплыла, выкарабкалась на берег и протянула Ивану паспорт и ключ. — Ну? Разве я не сверх-человек? — сказала она, стуча зубами и одеваясь.

— Не знаю. Знаю только, что ты настоящий герой.

Они пошли к шалашу и залезли в него.

— Не очень-то мягко будет спать, — сказала Герда, присаживаясь на бурю хвою.

— Ты будешь спать? — спросил Иван

— Если холод позволит. А что делать? Автобусы еще не ходят, — она легла. — И ты ложись. И прижмись ко мне покрепче, согреться надо. Только без свободомыслия. Мы ведь не собираемся заводить детей? Только чтобы согреться.

ГЛАВА 24

— Ну, как наши дела? — спросил, входя в палату, врач — плотный, кругленький, чуть седоватый мужчина лет пятидесяти с веселыми маленькими глазками. — Начнем с вас, Олег Николаевич. Тоски нет?

— Вообще-то я чувствую себя хорошо, но кое-что действительно тревожит, — ответил Философ. — Вы заказали табличку «Кафедра ревнителers религиозной философии»?

— Еще не заказал.

— Поспешите заказать, чтобы, когда к нам приедут иностранные делегации с Запада перенимать опыт, было наглядно ясно, что мы здесь дурака не валяем, что у нас здесь кафедра. Да и вам какой почет будет на Западе, что вы все-таки осмелились на такое неслыханное вольнодумство, как религиозно-философская кафедра при таких обстоятельствах. Вы меня понимаете?

— Я вас прекрасно понимаю, Олег Николаевич. Но и вы меня тоже поймите. Задолго до того как начнут приезжать иностранные делегации, которые, может быть, меня и вас поймут, потому что Запад есть Запад, нас могут посетить другие, назовем их тоже условно делегациями, которые нас не поймут, потому что дикость есть дикость. Вы меня понимаете? Так что философствуйте сколько угодно, но табличку я позволить не могу. С моей стороны это выглядело бы даже неким издевательством, не знаю, поймете ли вы. Да, а почему «религиозная философия»? Вы же не верите в бога?

— Я не верю в библейского бога, он ложный, потому что его творили одни невежественные люди для других невежественных людей.

— Отчего вы так сурово, в библии много мудрых и добрых истин.

— Добрые и мудрые истины, конечно, есть. Науки нет. Сплошные мифы. Мой же бог — бог образованного человека для другого образованного человека. И мой бог будет совершенно определенным, моя библия не будет туманной и противоречивой, не потребует истолкования, оправдания, не будет разных трактовок, а потому все другие религии постепенно исчезнут, даже все секты исчезнут, и в мире будет единая религия, а меня назовут ее пророком.

— Но ведь ваш бог, пусть он даже не из сказки или не из легенды, все равно будет всего лишь умозрительен?

— Но согласитесь, Сергей Викторович, и атом вначале был умозрительен, но потом, с развитием науки, эта умозрительность подтверждалась опытом, исследовалась, снова подтверждалась опытом, и теперь мы совершенно уверены, что атом именно такой, четкий и ясный: внутри — ядро из протонов и нейтронов, а вокруг вращаются электроны. И мой бог будет таким же четким и ясным, как атом.

— Ну что ж, желаю вам умоузреть нового бога, Олег Николаевич. Ну а вы как, Максименко?

— Задумал написать новый «Черный квадрат». Сейчас усиленно над ним размышляю, чтобы не подумали, что я написал «Черный квадрат» только потому, что поленился думать.

— Если хотите знать мнение просто человека, то «Черный квадрат» — это отрицание живописи как таковой, а если хотите знать мнение психиатра, то «Черный квадрат» — это настроение Малевича в определенный жизненный момент. Скажем прямо, паскудное было у него настроение. А может быть, и прав Олдос Хаксли, что в современном искусстве так боятся сказать банальность, что, либо ничего не говорят, либо говорят чушь. И все-таки, раз вы поклонник современного искусства, я вам советую, если уж писать квадрат, то писать его голубым или оранжевым. И даже не советую, а скажем, прописываю, как врач, что-нибудь повеселее. Не черное. Напишите, например, восходящее оранжевое солнце. Напишите то, что бы радовало людей. Не черное.

Сергей Викторович повернулся к Давиду Давидовичу. — А теперь вы, Давид Давидович. Вы как?

— Плохо мне, потому что плохо пролетариату.

— Ничего, не сразу Хитропупинск строился. Да и не только пролетариату плохо, интеллигенции тоже не сладко приходится. Будем верить в лучшее.

— Я верю в лучшее.

— Ну и слава богу. Теперь... — он пристально, с прищуром посмотрел на Заратуштру.

— Собака бывает кусачей! Так говорил Заратуштра, — сказал Заратуштра.

— А вот вас я, Ботиночкин, не совсем понимаю. Бессонницу мы вылечили, а остальное... Нейробиология у вас в норме, анализы на шизофрению — тоже. Томография — тоже ничего не дала. Что же с вами? Почему вы не хотите выписываться?

— «Если хочешь быть здоров — забудь про докторов!» Так говорил Заратуштра, — сказал Заратуштра.

— А вот это вы удачно сказали. Похоже, вам действительно скоро придется о нас навсегда забыть. Хотя вы и говорите, что вы не Ботиночкин, а пророк Заратуштра, я у вас никакой патологии не нахожу. Думаю, что и консилиум тоже не найдет. Вы извините, Ботиночкин Ботинок Ботинович, но, похоже, что вы косите. Вот только зачем? На одну пенсию вы не проживете, а на работу с таким диагнозом не устроитесь.

— Только от жизни собачьей, — сказал Заратуштра.

— Жизнь у нас у всех собачья. Но жить — все равно надо.

— А как же моя фобия? — спросил Заратуштра.

— Ах да, у вас же фобия... Вы слишком боитесь метеоритов и грозы. Но и тут я боюсь, что вы косите. Ни разу не слышал, чтобы метеорит убил человека.

— А молния? Меня может убить молния. Или падающий самолет. По-вашему, если меня начинает трясти, когда я выхожу на улицу, то это норма?

— Ну ладно. Поверю вам, хоть и не верится. Походите пока к психотерапевту. Полечитесь. Ну а вы, Николай Федорович? Выпить не тянет?

— Не тянет, — твердо сказал Озабоченный.

— Вы — эпилептик, поэтому вам даже самую малость нельзя, иначе в какой-то момент все начнется снова.

Сергей Викторович посмотрел на Леню-барабанщика.

— А теперь Леня, — сказал он. — Как ты себя чувствуешь?

— Я воодушевлен! Я буду маршировать в первых рядах!

— Где маршировать?

— На парадах!

— На каких еще парадах?

— На парадах в Небесном Хитропупинске.

— Слышал я о Небесном Хитропупинске, — Сергей Викторович укоризненно посмотрел на Давида Давидовича. — Эх, Давид Давидович! Я же просил вас, подумайте, пораскиньте мозгами. Борьба с болезнью зависит и от самого больного, а не только от

лекарств. Это и самостоятельное исключение из своего сознания нелогичного. Небесный Хитропупинск — это крайне нелогично, Давид Давидович.

— Это потому кажется вам нелогично, что вы отступили от заветов марксизма-ленинизма. Я тоже одно время, каюсь, под влиянием пропаганды, отступил от заветов марксизма-ленинизма, И знаете, чем это кончилось? Меня ударило током!

— И я верю в Небесный Хитропупинск, — сказал Гороховый Суп. — Потому что там не только гороховый суп, но и мясо, и копченая колбаса, и пирожные, и мороженые. Жаль, что вы не можете прописать мне копченую колбасу или пирожное.

— А ты горбушку черного хлеба чесноком натри — и будет тебе как копченая колбаса. Я дома так делаю, — посоветовал Леня-барабанщик.

— Дурацкие какие-то у тебя советы! Горбушка — это совсем не то. Эх, колбасы бы!

— Пойдем со мной, — сказал Сергей Викторович. — У меня есть бутерброд с колбасой, правда, с докторской, но я ведь доктор, мне, наверное, и положено есть докторскую.

— Не хочу вас как будто объедать. Но с другой стороны, вы все-таки человек количественный, а я человек качественный, а количественные люди должны служить людям качественным, давать им котлеты и колбасу.

— Не давайте ему ничего, Сергей Викторович! Он вконец обнаглел! — сказал Озабоченный.

— Это не наглость, это святая простота. Пойдем, пойдем.

— Они вам скоро на шею сядут, — шепнула в дверях медсестра.

— За двадцать лет еще никто так и не сел, — возразил врач.

Все трое вышли из палаты.

— А кто такой Эпикур? — спросил Петя Нирыба, держа в руке смартфон. — Тут написано: «как Эпикур».

— Это такой древнегреческий философ, — ответил Озабоченный. — Кстати, об Эпикуре, а в связи с ним и о Магдаленке. Уж больно меня эта тема занимает. Ведь можно предположить, что, раз Магдаленка, как истинный эпикуреец, делает это ради собственного удовольствия, попутно доставляя удовольствие другим, то она — это я философствую — достаточно нравственна с эпикурейской точки зрения.

— Это не эпикурейская точка зрения, — сказал Философ. — Это может быть точкой зрения другого философа. Был такой, Аристипп. Именно он выше всего ценил плотские удовольствия, а Эпикур выше всего ценил дружбу. Ты почему-то пытаешься эту грешницу оправдать.

— Я теоретизирую. Ведь не проститутка же она. Была бы проститутка, имела бы выгоду, тогда, может быть, совсем другое дело.

— Пусть теоретизирует. Теоретизируй, Озабоченный, — сказал Художник. — Мне очень интересно. А вдруг дофилософствуемся до того, что окажется, что она просто святая. Вдруг она как второй Христос, только Христос любил людей духовно безвозмездно, а она физически безвозмездно. Вот сказал, и сам себе удивляюсь, ну не чушь ли? Философия ли это или уже дурдом?

— Не дурдом. Философия, — сказал Озабоченный.

— Да она обыкновенная шлюха! О ней и говорить не стоит! — воскликнул Философ.

— Шлюхи нужны обществу, — сказал Заратуштра. — Шлюхи — это пример того, как добро побеждает мораль.

— Дерьмо все это! — воскликнул Давид Давидович. — Уж насколько я терпеливый, но вы, двое из ларца, со своим философствованием и мне уже надоели. Большая она на передок и все тут! Какая тут философия!

— Успокойся, Давид Давидыч, — мягко сказал Заратуштра. — Ну хочешь, мы с тобой коммунистическую песню споем про вождя мирового пролетариата? «Ленин всегда живой, Ленин всегда со мной...»

— Не трожь святое имя Ленина своим грязным языком!

— И вправду, здорово обиделся... — огорчился Заратуштра. — Вот только язык у меня не грязный, а бойкий. Грязного я ничего не сказал. Жизнь это, жизнь как она есть. А ты, Озабоченный, запишись все-таки за завтраком ходить.

— Обязательно запишусь. Мне только интересно, она красивая?

— Не скажу, чтобы сохранить интригу, — сказал Заратуштра. — Скажу только приметку: она все время вместо веера обмахивается бумажным самолетиком. — А о красоте спроси у Философа, может быть, он не хочет сохранить интригу.

— Философ, а, Философ? Она красивая? Что ты молчишь? Трудно сказать?

— Трудно... Язык не поворачивается правду о ней сказать... Какое-то оскорбление получается, оскорбление для всех красивых женщин. Словно на всех красивых женщин ее грязная тень падает. Но она — красивая. Она — удивительно красивая...

ГЛАВА 25

Кафе «Стрелка» хоть и называлось кафе, но кофеом здесь даже и не пахло. Герду встретил запах пива. За столами тут и там сидели в большинстве своем одетые в тренировочные костюмы мужчины, большей частью небритые, переговаривались матом и жаргоном и потягивали пиво. Кое-где на столах стояла и водка.

Герда решила, что надо, по возможности, казаться своей. Она подошла к стойке и, кожей ощущая на себе нескромные взгляды

мужчин, тоже заказала пиво. Взяв бокал и отойдя от стойки, она нерешительно остановилась, поскольку все столики, хотя бы одним человеком, но были заняты.

— Иди сюда, подруга! Я не кусаюсь! — сказал мужчина лет сорока, одетый, в отличие от остальных, в костюм, и Герда посмотрела на него внимательнее. Доверия он не внушал. Что-то было неприятное и отталкивающее в его полном вороватом лице, но куда-то приткнуться надо было, и Герда села за его столик.

— Какими судьбами? — спросил он. — Ведь ты, я вижу, не конкретная?

— Как это «не конкретная»? — спросила Герда.

— Ну, не блатная. Так какими судьбами?

— Пока не скажу. Мне нужно к вам присмотреться.

— Ну, присмотришься. Присмотришься...

Герда еще раз и еще внимательнее оглядела мужчин за столами. Все были подвыпившими, а этот, рядом, по крайней мере, был трезв.

— Ну что, присмотрелась?

— Присмотрелась, — сказала Герда.

— Ну, так давай познакомимся. Меня Глебом зовут. Только я не Жеглов.

— Меня зовут Гердой.

— Ну, за знакомство тогда, Герда?

Он поднял свой бокал, Герда — свой, они чокнулись и отпили по глотку. Потом Глеб взял лежащую на столе пачку сигарет и протянул Герде.

— Спасибо, — сказала она, — только я не курю.

— Это хорошо, — похвалил Глеб, закуривая. — Это очень важно для женщины. А то сейчас и курят, и одновременно пытаются выкармливать грудью ребенка, а это нехорошо, не по-женски это, не основательно. Женщина должна быть основательной.

Последние слова как будто добавили Глебу весомости, и Герда решила спросить.

— Вы сидели?

— Чалился, — сказал Глеб.

— А за что чалились?

— Ну, на такие вопросы обычно не отвечают, потому что такие вопросы обычно не задают. Но тебе — простительно, потому что ты — молоденькая, наивная.

— Просто я мало еще сталкивалась с такими людьми. Я даже слово «чалиться» только раз до этого слышала.

— Ты, наверное, не смотришь сериалы про ментов.

— Не смотрю.

— А зря. Многие из них даже меня учат жизни.

— Ну, так за что вы сидели? — осмелилась она спросить еще раз.

— А сидел я за гоп-стоп. За вооруженное ограбление.

— Ну, что такое «гоп-стоп» я знаю. А чем вы были вооружены?

— Пистолетом.

— А вы могли бы вооружиться чем-нибудь другим? Например, винтовкой с оптическим прицелом?

Глеб посмотрел на Герду внимательнее.

— Зачем тебе винтовка с оптическим прицелом? — прямо спросил он.

— Я не о себе. Я о вас.

— Не держи меня за идиота. Зачем тебе?

— Ну, раз уж вы такой догадливый... Хочу охотиться на кабанов. Говорят, что восточнее Саратова их развелось видимо-невидимо.

— Так далеко поедешь на охоту?

— У меня там родственники.

— А ты знаешь, что простакам не дозволено владеть нарезным оружием, а только гладкоствольным? Да и то только членам общества охотников.

— Да ведь и вы знали, что нельзя заниматься гоп-стопом, да еще с пистолетом?

— Счет один-один, согласен, — сказал Глеб. — Ну что ж, пойдем. Отведу тебя куда надо... Пошли, — он мотнул головой в сторону входной двери, и оба вышли из кафе.

— Нам направо, — он снова мотнул головой, указывая путь.

По дороге Герда заподозрила недоброе, потому что поняла, что идут они по направлению к отделению полиции, а увидев здание справа, на котором висела синяя табличка с золотыми буквами «Полиция», остановилась.

— Дальше я не пойду, — сказала она. — Считайте, что я вас ни о чем не спрашивала.

— Пойдешь как миленькая, — Глеб вытащил из-под пиджака пистолет. — Ну, шуруй давай!

Герда постояла, посмотрела на здания, где везде висели камеры наружного наблюдения, и сдалась.

— Даже если бы я вас обезоружила и смылась, все равно меня бы нашли.

— Да уж! Давай лучше по-хорошему.

В отделении было пусто, только за столом упитанный полицейский ел черный хлеб с салом, розоватые ломтики которого лежали рядом на блюдечке.

— А этот все жрет! — вместо приветствия сказал Глеб.

— Ну и что? — спросил полицейский.

— Все жрет и жрет, и жрет, и жрет, — продолжал Глеб.

- Ну и что? — повторил полицейский.
- Рожа треснет, вот что.
- Ну и что? — снова повторил полицейский.
- Ладно, тебя не проймешь. Займись-ка этой девчужкой.

Оформи в обезьянник.

- А что она натворила?
- Пыталась приобрести оружие с оптическим прицелом.
- Да-а-а, — многозначительно протянул жующий. — Статья серьезная. Урановыми рудниками пахнет. Жаль мне тебя, девочка, жаль. Красавица ты. Ну — давай, садись на стул и давай свои документы.

Герда вынула из сумочки паспорт и протянула полицейскому.

В «обезьяннике», куда поместили Герду, уже были две небольшого роста блондинки характерной внешности: чересчур накрашенные и в юбочках, едва прикрывавших трусики. Сам же «обезьянник» представлял собой бетонную коробку с серыми деревянными лавками вдоль стен. На одну из лавок Герда и присела.

- Закурить не будет, подруга? — спросила одна из девиц.
- Не курю, — сказала Герда.
- Хорошо тебе, а у нас уши пухнут без курева. А ты вроде интеллигентная, за что же тебя повязали?
- За попытку приобрести огнестрельное оружие.
- Да, это серьезно, это куда хуже, чем у нас с Машкой. Да, Машка?
- Похуже, — согласилась Машка.
- Ну что ж, давай знакомиться? — предложила разговорчивая девица. — Я — Нинка. А ее Машкой кличут. А кто мы — ты, наверное, догадываешься?
- Догадываюсь, — согласилась Герда.
- И, наверное, осуждаешь, ведь ты-то такая интеллигентная.
- Не осуждаю. Как я могу осуждать, не зная, как складывалась ваша жизнь? Может быть, и я занималась бы тем же, если бы моя жизнь сложилась по-другому. Не суди и не судим будешь.
- Не то ты говоришь. И не так, — сказала Нинка.
- Почему?
- Не знаю, но не то и не так. Может, оттого, что уж слишком длинно. А может, и оттого, что как-то больно по-книжному твое «не суди и не судим будешь». Сказала бы «не осуждаю», — и достаточно. А то ты так проповедник или как учительница. Может, и вправду, в школе преподаешь?
- Официанткой я работаю в баре.
- Официанткой? — удивилась Нинка. — Но ведь это же гроши! Мы бы с Машкой на такие гроши не прожили бы. Да, Машка?
- Да, — согласилась молчаливая Машка.

— Удивляюсь я тебе! — продолжала разговорчивая Нинка. — Это с твоей-то красотой быть официанткой. Ведь ты же вылитая модель, и даже красивее, чем в глянцевого журналах! Правда, Машка? Ты могла бы быть и элитной проституткой, и такие деньжищи заколачивать, что нам и не снилось! Правда, Машка?

— Правда, — согласилась Машка.

— Я только две недели в официантках. До этого я работала редактором журнала «Наши лучшие друзья».

— Это про животных, что ли?

— Да, про животных.

— И что же это так, вдруг из редакторов да в официантки.

— Поражение в правах.

— Так ты что? Бывшая хитропупая?

— Да.

— Подожди, подожди, а ведь я тебя припоминаю! Ты же Герда Штерн! Ты слышишь, Машка? Скажи кому, что мы с тобой парились в одном обезьяннике вместе с дочерью Штерна — никто и не поверит! Правда, Машка?

— Точно не поверят.

— Я сейчас не Штерн, я Заболоцкая. Штерн я была до замужества.

— Так ты сейчас замужем? — спросила Нинка.

— Развелась.

— Это плохо. Дети остались от брака?

— Нет.

— Это хорошо. Ты такая еще молодая.

— Но у меня есть младший брат, и я ему вместо матери.

Тут Нинка поморщилась и простонала:

— Ой, как курить хочется! Может, достанем сигарет? Хватит стесняться, мы же не целочки?

— А кто будет доставать, ты или я?

— Давай, чтобы было по-честному, жребий бросим. У меня и монетка есть. Если орел — то я, если решка — то ты. Идет?

— Идет.

Нинка достала из карманчика юбочки монетку, подкинула ее, поймала и, посмотрев, объявила:

— Решка!

Машка подошла к решетке и закричала:

— Эй, сержант, где ты там? Дело есть!

Ждали с минуту. Потом Машка снова закричала:

— Эй, сержант, где ты, а то я щас уссусь!

Появился сержант.

— Что за шум? — спросил он. — Кто тут уссыкается?

— Подойди и прислони ухо к решетке. Я на ушко тебе кое-то скажу.

Сержант приник к решетке, и Машка что-то прошептала ему на ухо. Он выслушал, отошел от решетки примерно на два метра, оглядел Машкину крепенькую фигурку и сказал:

— А ты ничего, но у меня только полпачки. Давай я тебе потом донесу?

— Давай полпачки, — сказала Машка, взяла сигареты из рук сержанта и кинула их Нинке.

Сержант открыл дверь и куда-то повел Машку.

— Тебе, наверное, все это в дикость? — спросила Нинка, когда шаги стихли.

— Нет, не в дикость, — сказала Герда. — Я не вчера родилась.

— Да, такова она, жизнь, если изнутри... Не глянец, прямо скажем...

К решетке подошел еще один сержант.

— Кто тут Заболоцкая? — спросил он, глядя на Герду. — Ты?

— Я, — сказала Герда.

— Давай, суй руки между прутьями, я наручники надену.

— Куда меня? — спросила Герда.

— В центральный офис.

Когда Герду вывели из полицейской машины, она узнала площадь, где располагался центральный офис полиции. Поднялись на крыльцо, вошли внутрь, прошли по коридору и очутились перед какой-то дверью. Сержант постучал в двери, и они с Гердой вошли в кабинет. За столом сидел мужчина, склонившись над какими-то бумагами. Когда Герду подвели ближе, он поднял глаза от бумаг и указал ей на стул.

— Садитесь.

Герда села.

— Вы меня, наверное, знаете. Видели по телевизору. Я — Абакумов Геннадий Ильич, полковник Министерства внутренних дел. Вы только не знаете, что без ведома нашего министра не должно совершаться ни одно серьезное преступление, от поставок наркотиков до заказных убийств. Поэтому спрашиваю пока по-хорошему: зачем вам винтовка с оптическим прицелом?

— Я уже говорила вашему сотруднику, что она мне нужна для охоты на кабана.

— А как зовут этого кабана?

— Веселый вопрос вы задали: как зовут кабана. Кабан он и есть кабан. Я его не крестила, чтобы знать, как его зовут.

— Нет, вопрос я задал невеселый. Я грустный задал вопрос, просто вы весело на него ответили. Мне вот интересно, будете ли вы продолжать веселиться, если мы наденем на вас противогаз и лишим доступа воздуха. Если вы умрете от асфиксии, это не страшно. Мы объявим вашим родным, что вы сами повеси-

лись. Я знаю, нам не поверят, недоверчивый у нас народ, но это и не важно, потому что не народ у власти, а мы у власти. Вам все понятно?

— Нет, моя смерть вам даром не пройдет, гражданин Абакумов Геннадий Ильич. Я не Заболоцкая, я только стала Заболоцкой, а была я Герда Дмитриевна Штерн. Вам бы, да и вашему Жеглову, прежде заглянуть в базу данных надо было.

— Вы дочь Штерна?

— Да, я его дочь.

— Да, теперь я вас припоминаю...

Абакумов снял трубку и нажал какую-то кнопку на телефоне.

— Абакумов говорит. Соедините меня с генералом. Господин генерал? Тут вот какое дело... Мы взяли Герду Дмитриевну Заболоцкую, урожденную Штерн, за попытку приобрести оружие с оптическим прицелом. Что говорит? Говорит, что хотела купить для охоты на кабанов... Понимаю... Понимаю, что не время... Да, да, санкции... Да, будет скандал... Да, просто наивная. Да, просто дуручка... До свидания, господин генерал.

Абакумов вышел из-за стола и приказал:

— Снимите с нее наручники.

Наручники сняли.

— Так я свободна? — спросила Герда, потирая запястья.

— Свободны пока. Только не думайте, что вам все всегда будет сходить с рук.

— Тогда до свидания, господин Абакумов.

— Погодите, я пропуск выпишу.

Он черкнул какую-то писульку, с которой Герда благополучно покинула здание.

ГЛАВА 26

Иван бегал пальцами по клавиатуре компьютера, когда зазвонил телефон.

— Привет, Иван. Это я, Игорь. Я демобилизовался.

— Когда? — спросил Иван.

— Неделю назад откинулся, но только сегодня смог тебе позвонить.

— Не говори «откинулся», ты же не уголовник?

— Ну, дембельнулся.

— Это сколько ты воевал?

— Год. Ты приходи ко мне завтра с Настей часов в шесть вечера. Потом пойдем в кабак, отпразднуем как следует. Заодно и квартиру обмоем. Я получил гостинку. С мебелью. Конфискованную у врагов гетмана. Завтра с утра заселяюсь.

— Да? За какие заслуги получил?

— Я теперь Герой Сельхозугодии.

— Поздравляю.

— Запиши мой адрес. Улица Самых Счастливых Коров, дом 6, квартира 77.

— Иван достал смартфон и записал адрес. Но он ошибся. Вместо 77 он написал 87.

— Я с приятелем буду, вместе в поезде ехали, — сказал Игорь. — Он из зоны только что освобожден. Ну, как вы там с Настей? Не ссоритесь?

— Настя от меня ушла. Может быть, я с Гердой приду, недавно познакомился.

— Ну с Гердой так с Гердой. Буду ждать. Да, как там Людок поживает? Все там же работает, в баре?

— Все там же.

— Я ее приглашу тоже. Она же развелась?

— Она снова замуж вышла. Хороший парень. Я был на свадьбе. Ну, не совсем на свадьбе. На вечеринке, скорее.

— Ну, дай ей бог...

— Ты расстроился?

— Расстроился.

— Не расстраивайся, на твою долю девушек хватит. Ты парень, как говорится, видный.

— В том-то и дело, что толстоват я. Ну — все. Вешаю трубку. Надо еще к тетке съездить, она просила. Пока. До завтрашнего вечера.

Иван стал набирать номер Герды.

— Герда, это ты?

— Я.

— Хочу завтра пригласить тебя в ресторан. Вернее не я, а мой друг нас с тобой приглашает. Только что вернулся из зоны боевых действий.

— Я не люблю разговоры о войне.

— Он тоже их не любит. А что у тебя с голосом, Герда? Какой то он тревожный. Что-то случилось?

— Случилось. Ты оказался прав, это действительно очень опасно. Только больше об этом ни слова. Может быть, мы и так лишнее говорим, мой телефон может прослушиваться.

— Да мы же ничего такого не сказали!

— Все равно.

— Ну, так мы встретимся?

— Где?

— На Площади Первого Гетмана. Только не на той стороне, где лавочки «Для тоски», а на той, где лавочки «Для радости».

Ровно в 17.00. Я буду сидеть на первой со стороны Нового Крещатика. Идет?

— А как твоя голова?

— Все нормально. Отлежался.

— А голос у тебя веселый, не такой как был.

— Это от предвкушения встречи с тобой я несколько повеселел.

— Приятно это слышать. Нет, правда.

— И мне приятно, что тебе приятно. Ну — пока.

Иван положил трубку, подошел к стоящему гробу и произнес:

— Ну что? Может, пора с тобой расстаться? Старушке какой-нибудь подарить? Вроде как забрезжило что-то на горизонте. Вроде как узнаю тебя, жизнь, вроде как принимаю, вроде как приветственную звоном щита.

Он открыл гроб, взял туфли и, разглядывая их и поглаживая, сказал:

— Слаб человек! Поэтому придется вас надеть. А ведь раз уж я хочу быть мудрецом, то надо как Диоген, надеть тряпье и какие-нибудь лапти или галоши на босу ногу. Да, как я ни бьюсь, а не получается из меня аскета, не получается... Красота — великая порабошающая сила! Да, красота. Я твой раб.

ГЛАВА 27

Полина Васильевна с метлой и совком вышла из подъезда. На скамейке сидела Вера Львовна и читала все ту же книгу.

— Привет лучшим людям! — поздоровалась Полина Васильевна, присаживаясь на скамейку напротив. — Все Чеха читаете?

— Все читаю. Давайте я вам еще почитаю?

— Давайте, милая.

— «Мне кажется, все на земле должно измениться мало-помалу и уже меняется на наших глазах. Через двести-триста, наконец, тысячу лет — дело не в сроке, — настанет новая счастливая жизнь».

Вера Львовна вгляделась в текст и, сняв очки и приставляя их поближе к книге, сказала:

— Почему-то между «новой» и «счастливой» нет запятой. Ну да ладно. «Участновать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы ради нее живем теперь, работаем, ну, страдаем, мы творим ее, и в этом одном цель нашего бытия и, если хотите, наше счастье». Вы что, не слушаете, Полина Васильевна?

Полина Васильевна не слушала. Она злобно смотрела на Федора, который, брезгливо отерши что-то газетой с туфли, бросил эту с коричневым комком газету на асфальт.

— Ты что же это гадишь, скотина! Не мог на мусорник отнести?! — вскричала Полина Васильевна. Но Федор быстрым шагом уже скрылся за углом дома.

Полина Васильевна встала, подняла Веру Львовну за локоток и повела к газете.

— Вы мне нужны, милая, — говорила она. — Сделайте одолжение, возьмите вот это — она указала на газету с коричневым комком, — и отнесите на мусорник, но не на наш, а на мусорник соседнего дома. Пусть оно там воняет.

— Но у вас же метла и совок! — возмутилась было Вера Львовна.

— Но оно знаете как к метле и совку прилипает? Вы остороженько, двумя пальчиками. В одну ручку «новую счастливую жизнь», а в другую — вот это, и топ, топ, топ, топ.

Из подъезда вышел Иван.

— Здравствуйте, Полина Васильевна, — поздоровался он.

— Какой ты сегодня нарядный! — воскликнула Полина Васильевна. — Костюм такой чудесный, модный. Бабочка розовенькая! И как будто повеселел. Есть время? Присядешь рядом? Поболтаем.

Иван сел на скамейку, Полина Васильевна — тоже.

— Куда это ты, такой красивый, собрался?

— На свидание, Полина Васильевна.

— А вот это — правильно. Не век же горевать. Хотя, конечно, если любовь, то она без горестей не бывает. Сама была молодая. Помню, как и сама убивалась из-за какого-то, как оказалось, чмо. Ревновала. А как гордилась, что выхожу замуж за Теодора Иогановича, потомка прусского короля Фридриха Великого! Он ведь мне свое генеалогическое древо показывал. А что в итоге? Да ты сам знаешь, что в итоге. В итоге этот прямой потомок Фридриха Великого оказался просто Федькой. Позорище одно. Говорит, что его испортила среда. А я думаю, что свинья среду найдет. Вот ты, например, грузчик, какая у тебя может быть среда, а тем не менее...

— Ну, я не эталон.

— Тем не менее, ты еще молодой, а уже чего-то добился.

— Вы слышали о Бердяеве? — спросил Иван.

— Это поэт?

— Нет, философ. Так вот, Бердяев говорил о своей неприязненности к людям, добившимся успеха в жизни. Ему это казалось приспособлением к миру, лежащему во зле.

— Ты тоже так думаешь?

— Отчасти — да. Но я все же думаю, что мир постепенно, очень медленно, конечно, но становится лучше.

— Да, человеческих жертвоприношений нет. Да, лет через двести-триста, а, может быть, тысячу, мир, может быть, и станет

совершенным. Но нас с тобой, Ваня, уже не будет. Наши косточки уже сгниют. Ну да ладно философствовать, ты, наверное, спешишь?

— Да. Цветы надо еще купить. Как вы думаете, какие розы лучше, белые или красные?

— Вы целовались? — спросила Полина Васильевна.

— Да.

— Тогда, наверное, красные. Ну — иди. Мужчине не пристало опаздывать, это женщине можно, а иногда даже нужно.

Иван встал, чтобы уйти, и увидел сидящего на дереве Федора.

— Федор, — коротко сказал он и пошел.

Позади послышалось:

— Ты опять залез на дерево, скотина!

— Не мешай мне возвышаться над тоской!

ГЛАВА 28

Хотя Иван пришел на место встречи минут за пять раньше назначенного времени, Герда уже сидела на скамейке. Даже не поблагодарив за розы, она проговорила:

— Я думала, что я умная, а оказалась дура-дурой. Теперь за мной, возможно, будут следить и прослушивать телефон. Я не так за себя боюсь, как за знакомых. Что я всех своих знакомых могу подвести под монастырь. Даже сейчас за нами может кто-нибудь наблюдать и подслушивать микрофоном направленного действия.

— Так что же с тобой все-таки случилось? — встревожился Иван.

— Я нарвалась на одного типа, когда пыталась... Нет, не буду. Во мне появился инстинкт самосохранения. Да и тебя могу подвести. Скажу коротко: меня забрали в полицию, и только потому, что я урожденная Штерн, выпустили.

— Даже если все так страшно, даже если твой телефон прослушивают, все не так страшно. Просто выбрось из головы затею что-то изменить. Не надо делать ничего предосудительного, а, кроме того, хорошо подумать, прежде чем что-то сказать. Мы — влюбленная парочка и больше ничего. А влюбленным парочкам не до политики.

— Разве ты в меня влюблен?

— Пока нет. Но в тебя невозможно не влюбиться.

— В твою жену, наверное, тоже невозможно не влюбиться.

— Это так, — согласился Иван и добавил: — Давай сядем у фонтана, хорошо? Мне что-то жарковато в костюме.

— Давай у фонтана. Только нас может забрызгать.

— Не сахарные.

Они сели у фонтана.

— Ты очень элегантно одет. И бабочка тебе идет, — сказала Герда.

— Ты тоже ничего. Эта синяя блузка очень идет к твоим синим глазам. Если бы я был женщиной, я бы сказал: «просто прелесть».

— И мужчина может сказать «просто прелесть».

— Не может. Есть слова, которые мужчине употреблять категорически запрещается.

— Например?

— Например, то же «просто прелесть».

— А еще?

— Еще: «это так мило!» Ну, разве я не прав?

— Да, пожалуй... Что-то в этом немужское.

Какой-то мальчик, играясь рядом с пластмассовой машинкой, упустил ее фонтан. Иван с Гердой довольно долго смотрели, как малыш пытается дотянуться до игрушки, но, в конце концов, игрушка уплыла так далеко, что мальчик дотянуться уже не смог. Иван расстегнул манжет рубашки, закатил рукав пиджака, достал игрушку, отдал ее малышу, слегка погладил его по голове и услышал женский крик:

— Не трогай ребенка, педофил!

Пока Иван подбирал слова, чтобы оправдаться, раздался еще один женский крик:

— Все они извращенцы, эти лощеные!

— Пойдем отсюда, — сказал Иван.

— Я бы на твоём месте радовалась, — сказала Герда.

— Чему?

— Тому, что тебя назвали лощеным.

— Я лощеный?

— Ты хорошо выглядишь. Элегантно.

Мальчик снова упустил машинку в фонтан. Но на этот раз Иван, убедившись, что добро наказуемо, повторил:

— Пойдем отсюда.

Они встали, отошли подальше и уселись на лавочку под табличкой «для радости».

— Интересно, кто это придумал таблички «Для тоски» и «Для радости»? — спросила Герда.

— Я читал где-то, что эти чугунные столбики с табличками появились во времена Первого Великого Гетмана. К концу его правления, когда он окончательно дошел до маразма, все было настолько строго регламентировано, что появились эти чугунные столбики с табличками. Говорят, что именно при нем на дверях общественных туалетов, хотя и без того ясно было, что это туалеты, все равно появились таблички с надписью «Писать и какать здесь».

— Но ведь это же глупо?

— На первый взгляд — глупо. Но улица Самых Чистых Штанов тоже вроде бы глупость, но людям, а особенно туристам, почему-то нравится.

— Да, — согласилась Герда. — «Писающий мальчик» тоже в какой-то степени глупость, а людей привлекает.

— Да, тонко все это... — Иван посмотрел на часы.

— Ну что? — сказал он, — пойдем потихоньку к Игорю? Он недалеко живет. На улице Самых Счастливых Коров.

Когда они оказались у дома и зашли в подъезд, Герда оглянулась и, не увидев никого, сказала:

— Слежки, кажется, нет. Только не думай, что это паранойя.

— Я так не думаю.

Дом Игоря оказался гостинкой, и единственный подъезд встретил Герду с Иваном запахом разлитого пива и еще чего-то нечистого. В поцарапанном и обрисованном баллончиками и фломастерами лифте пахло алкоголиком, и иконописное лицо Герды исказила гримаса отвращения.

— Неприятно? — спросил Иван.

— Ерунда, — сказала Герда. — Бывает и хуже.

— В гостинках живет много маргиналов, — сказал Иван.

— Твой друг, я надеюсь, не маргинал?

— Не маргинал, хотя и многие маргиналы — маргиналы поневоле. Бедность-то у них беспросветная, и перспектив вырваться из бедности никаких. И нет никаких возможностей купить квартиру, вот и ютятся, бедные, по несколько человек в одной комнате.

— Зря ты их оправдываешь. Можно и в бедности сохранять достоинство, а у тебя получается, что если ты беден, то можешь со спокойной совестью мочиться мимо унитаза.

— Ну, я этого не сказал...

Они вышли из лифта и чуть прошли по коридору направо.

— Здесь, где мусор свален, — сказал Иван, нажимая на кнопку звонка, — квартира 87.

— Кто там еще? — грубо спросили за дверью женским голосом и добавили: — Если вы опять насчет мусора, то мусор мы уберем, раз вы сами не можете, раз вы такой белоручка!

— Я не насчет мусора, — сказал Иван.

Дверь открылась.

— Чего вам? — жуя и сплевывая шелуху от семечек в кулечек из газеты, спросила немолодая, густо накрашенная женщина.

— Извините, но по моим сведениям здесь должен жить мой друг, военный, Герой Сельхозугодии, — сказал Иван.

— Издеваетесь? — грубо спросила женщина.

— Я вас не понимаю, — сказал Иван. — И в мыслях не было. Видите ли...

— Точно издеваетесь! — грубо перебила его женщина. — Хотите сказать, дескать, вот мы какие, что даже друзья у нас Герои Сельхозугодии, не то что вы, лапотники позорные, вот что вы хотите сказать!

— Да нет, что вы, и в мыслях не было... — оправдывался Иван. — Но это же квартира 87?

— 87.

— Странно... — сказал Иван. — Он должен жить здесь...

— Как это должен жить здесь? А мы куда денемся?

— Да я не в том смысле, — пролепетал Иван.

— Если вы сейчас же не перестанете мне угрожать, то я вызову полицию, и она придет незамедлительно! Потому что начальник полиции мой кум, а вы, по-моему, даже никакой не начальник вообще!

— Да кто там такой? — послышался из глубины квартиры молодой женский голос.

— Да что-то непонятное тут стоит, — полуобернувшись, крикнула в глубь комнаты женщина.

— Ну дак закрой дверь!

— Да оно чего-то хочет!

Тут, шаркая тонкими босыми ножками, в прихожую просеменил шупленький трясущийся дедушка и ломким голосом крикнул: «Бей его, ребята!». После этого он занес кулачок и ударил Ивана в живот, хотел ударить еще, но женщина его схватила за руки. Удержать его было не трудно, да и удара Иван почти не почувствовал. Тогда старичок прокричал, что таких, как этот, вообще надо расстреливать без суда и следствия, поскольку совершенно ясно, что он прибыл к нам в plombированном вагоне.

— Пойдем, — потянула Ивана за рукав Герда.

— Подожди, тут что-то не так. Может, они еще не выселились?

— Бей его! — кричал дедушка вырываясь.

Тут в дело вмешалась молодая женщина.

— Ты посмотри, до чего он нашего дедушку довел! — возмутилась она. — А может, дедушка не ошибся? Может быть, и впрямь, plombированный вагон? А ну-ка, ваши документы!

Герда рукой отстранила Ивана и сказала:

— Извините, но документов у нас с собой нет. Но завтра, если вам так нужно, мы обязательно принесем. А теперь извините за беспокойство, до свидания.

И Герда с Иваном стали спускаться по лестнице.

Похоже, что Ивану с Гердой действительно могло не поздоровиться, поскольку сверху донеслось:

— Алло! Полиция? Кума позови!

На улице Герда сказала:

— Тут какое-то недоразумение. Ты знаешь его телефон?

Иван набрал номер.

— Игорь, привет! — сказал он. — Мы, похоже, заблудились. Позвонили в восемьдесят седьмую квартиру, но там другие люди живут.

— Я разве сказал «восемьдесят седьмая»? Я сказал «семьдесят седьмая».

— А-а-а... Сейчас будем.

Когда на другом этаже в полутемном коридоре, вглядываясь в номера на дверях, снова искали квартиру Игоря, Герда тихо произнесла:

— Почему у нас такие злые люди...

— Почему? — спросил Иван. — А помнишь, как в «Гамлете»? «Так на какой же почве? — Да на нашей, датской».

Наконец нашли нужную дверь и позвонили. Послышалась песня «Не стреляй», и Игорь почти сразу открыл дверь. Он заметно похудел, но все равно оставался увальнем, добродушным увальнем.

— Привет, Иван! — сказал Игорь, пожал руку Ивану и обнял его, а, взглянув на Герду, воскликнул: — Уж не ангела ли небесного я вижу? Вам никто не говорил, что вы — ангел небесный, потому что ваша красота — неземная!

— Это потому, что у вас в прихожей темно.

— Вряд ли только от того. Да, везет тебе на красивых девушек! Да что это я вас в прихожей держу. Проходите. Проходите в комнату.

В комнате был какой-то парень, и когда Иван с Гердой вошли, он привстал с кресла.

Это был небольшого роста шатен, скуластый, с крючковатым носом на треугольном лице и с пытливыми карими глазками. На нем был серого цвета костюм, вышедший из моды лет пять назад.

— Знакомся, Сергей. Это мой хороший друг Иван со своей девушкой. Как вас звать?

— Герда.

Сергей пожал Ивану руку, говоря при этом: — Ну, Ивану я руку пожму, а вот вам — не буду, леди. Я лучше ее поцелую.

Он поцеловал Герде руку, но Ивану это слишком долгое целование не понравилось, он несколько посуровел, что не ускользнуло от внимания пытливого Сергея.

— Извини, Иван. Я могу показаться уродом, но на зоне нет женщин. Соскучился.

Иван промолчал.

— Ну что? Давайте кофе пока выпьем? Вы любите растворимый кофе, Герда? — спросил Игорь.

— А как вас звать? — спросила Герда.

— Игорь.

— Я как раз, Игорь, растворимый и люблю, потому что из него можно сделать кофе по-еврейски.

— По-еврейски это как? — спросил Сергей.

— Это с густой пенкой. Я вас научу. Горячая вода есть?

— Только чайник вскипел, — сказал Игорь. — Да вы садитесь, садитесь. Вы, Герда, садитесь в кресло, оно новое, а ты, Иван, на диван. А ты, Серый, иди со мной.

Они вышли на кухню и скоро появились вновь. Игорь принес на подносе сахарницу, чашки с блюдцами и ложечками, а Сергей чайник и банку растворимого кофе. Когда расставили чашки на столе, Герда взяла одну из них, тихо постучала по ней ложечкой и сказала:

— Смотреть всем!

— Да, смотреть всем! — сказал Иван. — Раз это придумали евреи, значит это уже неплохо, значит, смотреть всем.

— Ну-у-у... — протянул Сергей, — жиды, между прочим, и Великую Октябрьскую социалистическую революцию придумали. Только было ли это умно?

— И на старуху бывает проруха, — сказала Герда. — Ну, так вы смотрите?

— Смотрим, смотрим! — сказал Сергей.

Герда насыпала в чашку ложечку сахара, добавила ложечку кофе, перемешала, добавила чуточку воды и снова стала все это перемешивать и перетирать. Скоро, перемешав и перетерев все до густоты сметаны, она долила в чашку воды, и получился напиток с густой пенкой.

— Это и есть кофе по-еврейски, — сказала она.

— Гердочка, вы извините, но я тут посмотрел на часы и понял, что мы можем опоздать, делая кофе по вашему рецепту. Может быть, это и вкусно, но надо поспешить. Пока попьем кофе без причуд, — сказал Игорь.

— А я хочу такой кофе, мне интересно, — сказал Сергей. — Это ничего, что опоздаем.

— Нет, — твердо сказал Игорь. — Сегодня пятница и, наверное, много охочих сходить в сравнительно недорогой ресторан.

— Кабак это, а не ресторан, — заметил Сергей, насыпая себе кофе и сахар. — Не бывали вы в настоящих ресторанах.

— Ну, мы не хитропупые, и сейфы тоже не взламывали, чтобы иметь столько денег, — сказал Игорь.

— Камешек в мой огород? — спросил Сергей.

— Понимай, как хочешь.

— Если я правильно поняла, то вы, Сергей, медвежатник? — спросила Герда. — А вы любой сейф можете вскрыть?

— Я — мастер! — заявил Сергей.

— Герда, мы же договорились, что ты не будешь пытаться изменить мир, — напомнил Иван.

— О чем это вы? — спросил Игорь.

— Да так, о своем. Тебе лучше не знать, безопаснее, — сказал Иван.

— Хочу заметить, что я сидел вовсе не за взломы. Я сидел за то, что разругался с хитропупым. Причем, он выстрелил мне в ногу из пистолета, но посадили не его, а меня. Оказалось, что я его якобы ударил. Он даже предоставил в суд липовую справку о наличии телесных повреждений. Не очень красивая это статья, хулиганство. Но по документам я хулиган.

— Да, нет справедливости в наших судах! — вздохнул Игорь. — Ну да ладно. Хватит грустить. Всем давно известно такое положение вещей, пора бы и смириться. От нас ничего не зависит.

— Зависит, — сказала Герда.

— Герда, в тебе снова пропал инстинкт самосохранения? — спросил Иван.

— О чем это вы? — снова спросил Игорь.

— Тебе лучше не знать, безопаснее.... — снова сказал Иван.

ГЛАВА 29

Ресторан оказался далеко не шикарным, но и назвать его забегаловкой тоже было нельзя. Белые креслица из пластика были украшены национальным рисунком, столы были покрыты белыми скатертями тоже с национальным узором по краям, а официанты были одеты в вышиванки. На национальный колорит претендовали и белые занавески с национальной вышивкой, развешанные на окнах на такой же манер, на какой когда-то развешивали похожие занавески в селах на окнах. Музыканты на сцене тоже играли что-то по мотивам народных песен.

— Какой вам нравится столик, Герда? — спросил Игорь.

— Давайте за тот, что в самом дальнем углу. В уголке как-то уютнее, — предложила Герда.

— Пойдемте, раз так, — сказал Игорь.

Все устроились за столиком, и вскоре подошел официант и подал меню.

— Тут много непонятных блюд, поэтому я предлагаю выбрать что-нибудь знакомое, традиционное, — сказал Игорь, рассматривая меню.

— А что там традиционное? — спросил Сергей.

— Ну... Грибы с картофелем в горшочках, холодец, окрошка, котлеты по-киевски с рисовым гарниром, голубцы, украинский салат.

— Ну, говорите, кто чего хочет? — предложил Игорь.

— Мне только котлеты по-киевски с рисовым гарниром, — сказала Герда. — Я поужинала дома.

— А мне только грибы в горшочках, — сказал Иван. — Я тоже поужинал.

— Возьми хотя бы котлеты по-киевски, ты же их всегда любил? — сказал Игорь.

— Разлюбил. Я теперь не ем мяса. Я видел, как этих бедных коров убивают, и с тех пор как отрезало. Не хочу финансировать убийства, — сказал Иван.

— Животные для того и предназначены, чтобы люди их хавали. Разве не так? — спросил Сергей.

— Не так, — сказала Герда. — Потому что человек вполне может обойтись растительной пищей. Индийцы, например, не едят мяса.

— Но ты-то ешь? — спросил Сергей.

— Грешна, — сказала Герда.

— Да ну вас, интеллигентов! — сказал Сергей и обернулся к официанту. — Мне котлеты по-киевски, оливье и грибы в горшочке.

— Хорошо. А я возьму грибы в горшочке и украинский салат, — сказал Игорь.

— И вазу с водой принесите для цветов, — сказала Герда.

— А пить что будете? — спросил официант.

— Шампанское и две бутылки горилки с перцем, — Игорь обвел всех глазами. — Никто не против?

— Никто не против, — за всех ответил Сергей.

Официант удалился.

— Вот ты, Сергей, сказал, что животные и предназначены, чтобы их ели, — заговорила Герда. — А я вот вчера в парке видела интересную сценку. К куску хлеба на траве подбежала мышка, но тут подлетела ворона — и мышка сразу же спряталась в норку. И что бы вы думали? Ворона отломил кусочек хлеба и положила его возле норки. Себя она, конечно, не обделила, но и о мышке позаботилась.

— Удивительно! — воскликнул Игорь.

— Да, заставляет задуматься. А еще говорят, что человек — венец творения, — сказал Иван.

— А ты что скажешь, Сергей? — спросила Герда.

— А что, мне тоже положено умиляться?

— Но разве тебя это не трогает?

— Не трогает. Я — мужчина.

— Разве в этом заключается мужественность? — спросила Герда.

— И в этом тоже, — сказал Сергей.

— Не ссорьтесь, ребята, — сказал Игорь и добавил: — Вы извините, что я не настаиваю, чтобы вы заказали побольше, но тут все так подорожало, что я боюсь, не хватит денег, — сказал Игорь.

— Я за все заплачу, — сказал Иван.

— Ну — нет! — воспротивился Игорь. — Я вас пригласил, а ты платить будешь? Куда это годится!

— Плати, — согласился Иван. — Только кто будет пить горилку? Я, например, ее не пью, Герда — тоже.

— А я пью, — сказал Игорь.

— Я тоже, — сказал Сергей.

— Все равно, две бутылки — это много.

— Да брось ты свои интеллигентские штучки! — недовольно морщась, сказал Сергей. — Тоже мне, интеллигент! Две бутылки ему много! Вечер-то долгий!

Иван посмотрел Сергею в лицо. Глазки у него уже перестали быть пытливыми, а стали, пожалуй, наглыми.

Официант прикатил на тележке вазу с водой и спиртное: шампанское и две горилки с перцем.

— Шампанское сейчас открыть? — спросил он.

— Валяй, — бросил Сергей небрежно.

Официант открыл шампанское, разлил его по фужерам и удалился.

— Ну? Кто скажет тост? — спросил Сергей. — Я лично предлагаю выпить за волю. Уж очень я люблю это сладкое слово: «воля»!

— А может быть, лучше выпьем за свободу? — предложила Герда, размещая цветы в вазе. — Слово «воля» уж больно отдает вседозволенностью, а человек, чтобы оставаться человеком, должен себя ограничивать.

— Ну, за свободу — так за свободу, — согласился Сергей.

Все подняли фужеры и чокнулись. Игорь с Сергеем осушили фужеры до дна, Иван отпил половину, а Герда только пригубила.

— До дна, до дна, все пьем до дна! — воскликнул Сергей.

— Я выпью, если вы настаиваете, но это будет единственный фужер, — сказала Герда.

— Я тоже только фужер. Мне писать завтра надо, — сказал Иван.

— Все пишешь? — спросил Игорь.

— Все пишу.

— А что ты пишешь? — спросил Сергей.

— В данное время роман.

— Так ты писатель? — удивленно вскинул брови Сергей.

— Писатель.

— Знал я одного жида писателя. Только он старый уже был. Нам на зоне всё рассказы сочинял. Прямо на ходу сочинял, жидяра. Потом, может, я о нем расскажу. Сейчас мне в одно место надо. Я пива выпил.

Когда Сергей отошел, Иван сказал:

— Не доверяю я твоему Сергею. Не знаю почему, но не доверяю.

— Я тоже ему не доверяю, мне кажется, что он какой-то нагловатый, — сказала Герда.

Официант подкатил на тележке заказанное и стал расставлять тарелки по столу.

— О, принесли! — воскликнул подоспевший Сергей и сел за столик. — Тогда давайте выпьем чего-то покрепче! И ты, писатель, выпьешь! Ничего, ничего. Не попишешь один день, не страшно. И ты, Герда, выпей! Горилка с перцем — это не водка. Пьется легко.

— Если я и выпью, то только полрюмочки, — сказала Герда.

— Ну, хоть полрюмочки!

Все выпили, и Герда, поставив свою рюмку, сказала:

— А она ведь не противная, как мне думалось. Она просто острая.

— А что я говорил?! — самодовольно заулыбался Сергей.

Пока они ели, ресторан понемногу заполнялся.

— А теперь еще по одной, — сказал почти приказным тоном Сергей и разлил горилку по рюмкам.

— Ладно, — сказал Иван. — От тебя не отвяжешься.

— Герда, ты хоть эту рюмку допей! Не порть праздник! — настаивал Сергей.

— Нет, больше — ни-ни. Даже не уговаривай. Мысленно присоединяюсь, — сказала Герда и спросила, обращаясь к Игорю: — А снайперы у вас были?

— А как же. Конечно, — сказал Игорь.

— А ты можешь снайперскую винтовку достать?

— Герда! — сказал Иван. — Ты снова за свое?

— Я только спрашиваю. Так можешь?

— Я — нет, я не делец. Но кое-кого по этой части знаю. А зачем тебе?

— Буду охотиться на кабанов. Говорят, восточнее Саратова их развелось видимо-невидимо!

— А ты знаешь, как это опасно? — спросил Игорь.

— Жить тоже опасно. Можно умереть, — сказала Герда.

Вдруг заиграли и запели «Анастасию». У сцены появились танцующие пары, и в одной из женщин Иван узнал Анастасию. Она танцевала, обняв уже немолодого, седоватого мужчину и

что-то весело шептала ему на ухо, положив голову на плечо. От увиденного уже отступившая было тоска снова сдавила сердце.

— Что с тобой, Иван? — озабоченно спросила Герда. — С чего ты так помрачнел?

— Ничего страшного, задумался просто... — соврал Иван. — Мне просто надо выйти и все.

— А-а-а... поняла.... Из-за песни...

Она посмотрела в сторону сцены и тоже узнала танцующую Анастасию.

— Мне надо выйти, — сказал Иван. — Иначе... Иначе я кого-то убью...

Иван встал и быстрым шагом направился в туалет.

— Что это с ним? Кого это он убивать собрался? — спросил Игорь.

— Захочет — сам скажет, — ответила Герда.

В туалете Иван закрылся в кабинке, опустил крышку унитаза, сел на нее и, схватившись за голову, зашептал:

— Она мне не нужна, она приносит только горе. Она мне не нужна, она приносит только горе. Она мне не нужна, она приносит только горе...

Затем он стал больно бить себя по щекам, приговаривая:

— Возьми себя в руки, слюнтяй! Возьми же себя в руки, тряпка...

Он встал, глубоко вздохнул, выдохнул и вышел из кабинки.

Когда Иван вернулся за столик, его ждал сюрприз. На сцене на стуле перед микрофоном сидел Сергей, и в руках у него была гитара.

— Дамы и господа, леди и джентльмены! — говорил он в микрофон. — Песня, которую я спою, называется... Нет, я не знаю, как она называется, но это замечательная американская поэтесса, я только совсем чуть-чуть ее переделал, а потому это замечательная песня. Песня, достойная вас дорогие дамы и господа! А посвящаю я ее замечательной... нет, не то слово. Необыкновенной девушке, которую зовут Герда. Спортсменке, комсомолке и просто красавице!

Он запел и заиграл.

Завидую волнам — несущим тебя —

Завидую спицам колес.

Кривым холмам на твоём пути

Завидую до слез.

Всем встречным дозволено — только не мне —

Взглянуть на тебя невзначай.

Так запретна ты для меня — далека —

Словно господний рай.

Завидую гнездам ласточек —
Пунктиром вдоль застрех —
Богатой мухе в доме твоём —
Вольна на тебя смотреть.

Завидую листьям-счастливым —
Играют — к окну припав.
За все алмазы Писсарро
Мне не купить этих прав.

Как смеет утро будить тебя?
Колокольный дерзкий трезвон —
Тебе возвещать Полдень?
Я сам твой и Свет и Огонь.

Он закончил петь и начал кланяться, принимая аплодисменты.
— Он, по-моему, нехороший человек, но поет замечательно, не думала... — сказала Герда на ухо Ивану.

— А ведь здорово, Серый! Ты, клянусь своим велосипедом, всех покори! — сказал Игорь, когда Сергей вернулся.

— И тебя я покори, а, Герда?

— Тебе бы певцом быть, правда, Ваня? Ну, Ваня! Брось горевать! Как мне хочется, чтобы ты бросил горевать! — сказала Герда.

— Сейчас брошу, — сказал Иван, налил себе целый фужер горилки и выпил.

— Это тот, кто не пьет горилку! — заметил Сергей.

— От него недавно жена ушла, и она здесь, с другим женщиной, понятно? — сказала Герда.

— Немножко понятно. Но чтобы так из-за этого горевать? Нет, непонятно. По мне — плюнь и разотри.

— В самом деле, Иван, — сказал Игорь. — Ты с Гердой пришел, она твоя девушка, насколько я понимаю, и вдруг ты в ее присутствии плачешься из-за другой женщины. Ведь Герде может быть обидно. Разве тебе, Герда, не обидно?

— Обидно, но я Ивана очень хорошо понимаю.

— Прости, Герда, — сказал Иван. — Я — подлец. И справедливо будет, если ты меня бросишь.

— Нет, не будет справедливо. Когда я с тобой познакомилась, я знала, что твое сердце не свободно, знала, в какой ты вязнешь трясине, знала, на что шла. Кроме того, ты не гусь, Ваня, далеко не гусь.

— А при чем тут гусь? — спросил Сергей.

— Кто-то сказал, что любить писателя, а потом встретить его, это все равно, что любить гусиную печенку и потом встретить гуся. Но ты не гусь, Ваня. Далекое не гусь.

— А я гусь? — с хитринкой в глазах спросил Сергей.

— Ты то гусь, то не гусь. Ты можешь то разочаровывать, то очаровывать.

Подошел официант с блокнотом и ручкой.

— Пожалуйте расплатиться, — сказал он, глядя в блокнот. — С вас 250 евро.

Игорь полез в карман пиджака, достал бумажник, раскрыл его и замер.

— Черт! — воскликнул он. — В нем нет денег!

— Ничего, я заплачу, — сказал Иван и достал бумажник, который оказался распухшим от банкнот.

— А ты, оказывается, богатенький Буратино! — воскликнул Сергей, глядя на деньги. — Уважаю!

Иван расплатился с официантом и встал.

— Куда ты? — остановил его Сергей. — Мы же, бля, шампанское не допили!

— Да. Давайте допьём, — сказал Игорь. — Не пропадать же добру. Ты будешь, Иван?

— Нет, не буду.

— А ты сноб, — сказал Сергей, разливая шампанское. — Ну снобствуй, бля, снобствуй, а мы, бля, выпьем. Лучше, быть жлобами, чем снобами. Дешевле обойдется.

Герда достала из сумочки кулек для цветов, уложила в него розы и, увидев, что мужчины прикончили шампанское, взяла из сумочки смартфон и сказала:

— А теперь, ребята, давайте ваши адреса и телефоны. Возможно, я заявлюсь к вам в гости. А ты, Ваня, прости, но не звони мне пока.

— Как долго? — спросил Иван.

— Это от тебя зависит. Только от тебя... Не думай, что я не хочу тебя видеть, я тебя не бросаю. Все зависит только от тебя.

ГЛАВА 30

Герда еще спала, когда раздался телефонный звонок. Полусонная, она взяла трубку, сказала «алло» и услышала:

— Это Максим говорит.

Спросонья она не сразу узнала голос и спросила:

— Какой Максим?

— Максим Загурский.

— Ах, Максик! Привет! Извини, не узнала спросонья. Как живаешь?

— Я-то ничего, а вот ты... — он замолчал.

— Что ты замолчал?

— Потому что это не телефонный разговор. Надо встретиться. Дело серьезное. Сейчас 9:15. Ты постарайся в 10:15 прийти в кафе «Грот», в сам грот. Знаешь, где это? Мы там однажды с тобой были.

— Помню. Это на улице Самых Счастливых Людей.

— Верно. И постарайся не опаздывать.

Кафе «Грот» на первом своем этаже не было чем-то примечательным, но стоило спуститься в подвал, как посетитель попадал в пещеру, отделанную ракушками и морскими камнями. Герда, всегда предпочитавшая что-нибудь поукромнее, села за столик в углу и пока рассматривала сделанные под глубокую старину бра, похожие на газовые фонари, подошел официант.

— Что будем пить, девушка? — спросил он.

— Кофе, пожалуйста. И пару кусочков сахара, — сказала Герда.

Официант удалился.

Герда посмотрела на часы. Было ровно 10:15.

Появился Максим. Это был плотного сложения темноволосый мужчина лет тридцати пяти. На нем был строгий темный костюм со значком «ХП», и казался он человеком чрезвычайно уверенным в себе, основательным и властным. Не поздоровавшись в ответ на приветствие Герды, он сел напротив и в упор глядя Герде в глаза, спросил:

— Зачем тебе винтовка с оптическим прицелом?

— На кабанов охотиться, — врала Герда. — Говорят, их точнее Саратова развелось видимо-невидимо! Только ты откуда знаешь?

— Я именно тот генерал, с которым говорил полковник Абакумов.

— Ого! — воскликнула Герда. — Ты уже в генералы выбился!

Подошел официант и поставил на стол чашку кофе на блюдечке.

— А вам что, господин хитропупый?

— Тоже кофе. Сахару не надо. Так зачем тебе, только честно, такое оружие?

— Я же говорю, что на кабанов охотиться, — помешивая сахар в чашке, говорила Герда. — В Саратове. Ты же знаешь, что у меня там родственники.

— Допустим. Но разве ты не знаешь, что оружие с оптическим прицелом запрещено иметь даже хитропупым?

— Ну... Захотелось...

— Я тебя отмазал. Сказал, что ты просто дурочка. Молоденькая и наивная дурочка. Запретил устанавливать за тобой слежку и прослушивать твои телефоны. Но если ты будешь продолжать в том же духе, мне тоже не поздоровится. Найдутся такие, что на меня донесут министру. Дескать, мы ее взяли, но этот враг гетмана велел ее отпустить. Ты это понимаешь?

— Понимаю.
— Тогда пообещай, нет, поклянись мне здоровьем своих родных, что не будешь делать ничего незаконного.
— Клясться — грех. Могу только пообещать.
— Ладно. Попробую поверить.
Подошел официант с кофе, но Максим уже встал.
— А как же кофе, господин хитропупый? — спросил официант, и в голосе его была обида.
Максим достал бумажник, вынул из него десять евро, протянул официанту и со словами «за даму тоже» покинул грот.
На лице Герды появилась улыбка.
— Обошлось, обошлось... — прошептала она, допила кофе и подалась из заведения.

По дороге ей попался тир, и она не преминула в него зайти.
— Десять пулек, — сказала она и протянул продавцу деньги.
Тот отсчитал на блюдечко десять пулек.
— Как она бьет? По центру или под яблочко? — спросила Герда.
— По центру, — ответил продавец.
— Прекрасно! — сказала Герда. — Я хочу стрелять по свечам, зажгите.
— По свечам трудно попасть. Попробуйте лучше по мишеням.
— Ничего. Я все-таки попытаюсь. Я раньше хорошо стреляла. Правда, из винтовки и пистолета.
Герде удалось потушить девять свечей из десяти, что ее разве-селило.
— Вот как надо! — воскликнула она.
— Да, вы молодец! — согласился продавец и добавил: — Вы, наверное, хитропупая, только без значка?
— Почему вы так решили?
— Ну, я так понял, что вы стреляли из винтовки, а нарезное оружие простакам запрещено.
— Да, собираюсь идти на охоту с винтовкой.
— А на кого охотиться будете?
— На кабана.
— Ну, счастливой охоты.

ГЛАВА 31

— Нет, Любочка, я понимаю, когда человек родился с таким горем, — иначе как горем это не назовешь, — но чтобы в таком возрасте сменить ориентацию? Нет, не понимаю! — сидя за столом, на котором стояли бутылка вина, шампанское и закуски, говорил полный мужчина с каким-то сытым лицом и беспокойно бегающими маленькими глазками.

— Не гневи бога, Василий! — сказала Люба, тоже полная крашенная блондинка лет тридцати пяти с чересчур ярким макияжем. — Если бы Лекрыс не сменил ориентацию, мы не смогли бы так открыто встречаться.

— Ну, а он-то сам с ним встречается?

— Что ты! У него любовь возвышенная и на расстоянии. Он говорит, что настоящая любовь не в обладании, а в обожании. У него и другие странности. Абсолютно нет слуха — а все пиликает на скрипке. Говорит, что хочет быть таким же утонченным и возвышенным, как и его любовь

— Да кто же это такой утонченный и возвышенный?

— Этого он не говорит. Говорит, что тот гений, и что гениев многие люди никогда вначале не понимают.

Из соседней комнаты донеслись звуки скрипки.

— Что ты там опять запиликал, Лекрыс? — так громко закричала Любочка, что Василий поморщился. — Какой шедевр ты так шедеврально исполняешь?

— Только не надо иронизировать. Я научусь. Не сразу Хитропупинск строился. А исполняю я «Ходит зайка».

— Зайка у него ходит! — сказала Люба и покрутила пальцем у виска.

— Но проктолог-то он хороший?

— Да вроде ковыряется.

— Диплом не за сало купил?

— Нет, тут уж ты мне поверь.

— У меня ведь, Любаша, по этой части проблемы. Проклятый геморрой. Бывает, так схватит, — хоть кричи. Может, он меня посмотрит? А то в поликлинику все некогда, все работа, работа. Быть главным говорителем страны — ой как нелегко.

— Хорошо, я пойду спрошу.

Люба открыла дверь в соседнюю комнату. Звуки скрипки стали громче.

— Перестань пиликать хотя бы на время и ответь мне на один вопрос. Ты не мог бы заглянуть в одно место?

— В какое место?

— Ну, в то, куда ты любишь заглядывать.

— Это ты так шутишь?

— Уж и пошутить нельзя. Посмотри, пожалуйста. Там у Васи что-то не так.

— Сегодня же твой день рождения, праздник. Зачем портить праздник диагнозом?

— Вы извините, — вмешался подошедший Василий, — но потом мне просто не до того будет. Все работа, работа. Заела, проклятая!

— Проходите сюда, раздевайтесь и залазьте на этот стол, пожалуйста.

Василий снял брюки, под которыми оказались белые ажурные трусы.

— Какой ажур, какая белизна! — воскликнул Лекрыс.

— Праздник! — пояснил Василий, снимая трусы.

— Встреча с чужой женой — праздник?

— Но вы же все равно, простите, другой ориентации. И вы подали заявление на развод.

— Да ладно уже, ладно, я не ревную. Забирайтесь на стол. Становитесь на четвереньки и раздвиньте ягодицы, — проговорил Лекрыс. — А ты выйди из комнаты, — он взял Любу за руку и стал выпроваживать.

— Почему выйди? Мне, может быть, тоже нравится!

— Да что там может нравиться!

— Но ты же этим занимаешься?

— Это мой крест, — закрыв дверь и вернувшись к столу, он снова приказал раздвинуть ягодицы.

— Ну что там? — поинтересовался Василий.

— Плохо там. Хуже не бывает. Сплошные узлы. Гордиевы, я бы сказал узлы.

— Значит, только операция?

— Да, вас спасет только операция. Одевайтесь. С вас десять евро.

— Целых десять евро? Но вы же ничего не сделали!

— Я провел консультацию, с вас десять евро.

— Да побойтесь бога брать с меня деньги! Мы же почти что родственники!

— Вы считаете, что если вы спите с моей женой, то это уже родство?

— Ну, не родство. Но близость какая-никакая...

— Дай ему десять евро, Вася, — открывая дверь, сказала Люба. — Пусть удавится. Умный уступает.

— Это слабый уступает, не дам!

— Ничего. Я тогда конфискую ваш ананас и шампанское, винном обойдетесь, — Лекрыс пошел в зал и забрал со стола бутылку и ананас.

— Пусть конфискует, Вася. Не будешь же ты с ним драться. Посмотри на него, он жалкий!

ГЛАВА 32

Надежда гладила постельное белье, когда раздался звонок в дверь. Она посмотрела на часы. Было половина одиннадцатого.

— Кто там? Вы, Лекрыс? — спросила она, подойдя к двери.

— Да, я, Лекрыс, — послышалось за дверью.

Надежда, открыв входную дверь, сказала:

— Только, пожалуйста, не играйте.

— Вы меня простите, Наденька, что я к вам так поздно. Но... как бы вам сказать... Скажу, что думаю. Человечество большое, а вы — одна. Вы — единственная. А играть я не буду, я даже скрипку не взял. Я вот по какому поводу. Я...

— Вы проходите в комнату. Садитесь в кресло, а мне надо белье догладить.

— Кстати, вы смотрели сегодня концерт по первой программе? Были Боря Моисеев, Поплавский, Шура, другие великие, — оставляя на столе ананас и шампанское, сказал Лекрыс.

— Я не смотрела. Я не люблю великих.

— Я тоже не люблю великих. Но ведь другие любят? Поэтому, может быть, мы чего-то не понимаем?

— Это не мы, это другие чего-то не понимают, — сказала Надежда. — Так по какому вы поводу?

— Понимаете, я сегодня опять всю ночь не спал, все думал над тем, как искоренить воровство, взяточничество, несправедные суды. Помните ЛТП?

— Не помню, а что это?

— Лечебно-трудовой профилакторий. При Советском Союзе в них алкоголиков лечили. Я предлагаю устроить нечто подобное. Понимаете, у нас только в школе людей кое-как и кое-чему учат. А потом, когда их еще больше надо учить, когда на них с особенной тяжестью обрушиваются пороки нации, когда они особенно нуждаются, так сказать, в культивации, они растут, не ведая стыда, как лопухи и лебеда. И взятки дают, и берут, и воруют, и все это не ведая никакого стыда. Бесстыдно воровать каким-то странным образом присутствует в генах нашего народа. Когда-нибудь ученые, западные, конечно, у нас уже их нет, а, допустим, английские или японские, научатся извлекать из нас гены воровства и взяточничества и пересаживать чистые и честные, от огурца или помидора. Но ведь это когда будет? А что делать пока? Жить-то честно и сейчас надо? Поэтому всю пенитенциарную систему надо перепоручить англичанам или японцам. Затем следует организовать особые тюрьмы, назвать их дистанциями и посадить в них для начала половину страны. Сажать не только простаков, но и хитропупых. Потому что, как я теперь узнал из русского радио и Би-би-си, хитропупые ничем не лучше, а даже хуже. Назвать тюрьмы дистанциями потому, что в них и простаков, и хитропупых будут держать на дистанции от пороков общества, где они с помощью литературы, искусства и одиночества будут развивать в себе иммунитет к среде обитания. Работать там, в отличие от ЛТП, будет не надо. А в одиночной камере от скуки поневоле начнешь читать настоящую литературу, слушать настоящую музыку, и по-

неволе начнешь становиться лучше, поневоле себя культивировать. Каждый год заключенные будут сдавать экзамен по культивации англичанам или японцам. Иначе, сами понимаете, свобода будет покупаться и продаваться.

— Хорошо вы это придумали, — сказала Надежда. — Вот только то, что человек говорит, сдавая экзамен по культивации, и то, что он при этом думает, — разные вещи.

— Есть и другой вариант. Запретить разнополые браки. Тогда проблема решится сама собой. Настанет миг, когда народ исчезнет с поверхности земли. А территорию пусть займет достойный жизни народ. Так будет справедливо.

— Вы только одну ночь не спали?

— Я вообще перестал спать.

— Тогда вам надо к врачу.

— Я сам врач.

— Психиатр?

— Проктолог. И я проктолог, и отец мой был проктолог, и дед мой был проктолог.

— Династия?

— Народность.

— Никогда не слышала.

— Очень редкая, вымирающая. Настанет миг, когда она исчезнет с поверхности земли.

— Грустные вещи вы говорите.

— Да, грустно. Но ведь только из грусти может получиться настоящий человек. Тот, кто не испытал горести, — недочеловек. Такого не возьмут на небо.

— Вы верите в бога?

— Не очень, но все же, если он есть, мне иногда думается, что он любит, когда люди страдают.

— Значит, по-вашему, бог зол?

— Не знаю, но у нашей народности есть такая легенда. В ней рассказывается, что наш предок, праотец, вначале жил в раю. Жил вдвоем с женой, красавицей и умницей. Детей у них не было, они сами были как дети. И жили они вечно и радостно. А почему бы и не жить вечно, если живешь радостно? И Про — так звали праотца — любил играть на скрипке. И вот однажды, когда он сидел на берегу ручья, пытаясь сыграть его журчание, соткалась из лунного света лестница, и спустился по ней незнакомец. Спустился, сел рядом, обнял Про за плечи и сказал:

— Перестань, а?

— Почему? — спросил Про.

— Потому что плохо ты играешь, больно слушать.

— А что такое «больно»? — спросил Про.

— Ты не поймешь, лучше отдай скрипку.

— На, возьми, мне не жалко. Вон их сколько на деревьях растет.

— Скрипки больше не будут расти на деревьях. Время плакать.

— А что такое «плакать»? — спросил Про, но незнакомец не ответил, он поднимался по лестнице.

— А что такое «плакать»? — закричал Про, но незнакомец молчал.

Тогда Про стал подниматься по лестнице вслед за незнакомцем, но лестница вдруг распалась, Про упал, сломал себе ногу и горько заплакал. А жена его смеялась, потому что думала, что он так смеется. Потому что до этого никогда не слышала плача.

— Врача, врача! — кричал прозревший Про.

— А где у нас врачи?

— На деревьях посмотри!

Врачей на деревьях не было. Пришлось Про самому стать врачом, а потом они отправились искать новый рай, потому что их рай высох. Вот так. А вы...

— Что я?

— Верите в доброго Бога. Если бы он был добрым, он бы не допустил бы столько горя и несправедливостей.

— Тогда и я расскажу вам одну легенду, только очень коротенькую. Сидят папа муравей и сын муравейчик на верхушке муравейника. Ночь и светит месяц. Вот сын муравей и говорит:

— Папа, какая ночь! Какие звезды! И как чашечка месяца красиво светит!

— Это не чашечка, это шар. У месяца есть точно такая же обратная сторона — полушарие.

— А зачем месяцу обратная сторона, она же все равно не светит?

— По недомыслию, сынок, по недомыслию.

— И что же эта легенда означает, я не понял? — спросил Лекрыс.

— Мы, как и эти муравьи, не все можем постичь.

— Да. Наверное... А легче жить, когда веришь в бога?

— Легче. Намного легче.

— И все равно мне вас жаль. Молодая, красивая и такая одинокая.

— Не надо комплиментов, у меня одна нога не в порядке, а вы с комплиментами.

— Это такая чепуха, Наденька. Все равно вы лучше, чем красавица! — он помолчал, потом добавил: — Жаль, что я такой невзрачный, что такого вы никогда не сможете полюбить.

— Но ведь ваша бывшая жена, когда мы были в бомбоубежище, говорила, что вы сменили ориентацию?

— Я просто сказал про него, что он утонченный, высокодуховный, что такого можно полюбить. И добавил еще, что настоящая любовь — это обожание, а не обладание. Все остальное — это уже ей, наверное, приснилось. А может быть, себя оправдать хочет, что завела любовника. Дескать, я верная жена была бы. Это он со своей ориентацией виноват, — он замолчал, потом сказал:

— Голова кружится, и какие-то пятна перед глазами...

— Это оттого, что вы не спите. Вам надо поспать. У меня где-то было снотворное.

Надежда вышла на кухню и стала рыться в шкафчике. Вернувшись, она подала Лекрысу бутылек.

— Вот. Годен до пятнадцатого мая. Сегодня как раз пятнадцатое.

— Спасибо, Наденька. До пятнадцатого, говорите? А что же такое важное у меня назначено на пятнадцатое число? Что-то с Иваном связанное, а вот что, хоть убейте, забыл.

— Вам надо сон наладить, — сказала Надежда.

— Да, конечно. Но — не получается. Только лягу, как видения появляются. Какие-то черные вороны с желтыми хищными глазами и новорожденные с когтями хищников.

— Вам к врачу надо, — сказала Надежда.

— А поможет? Разве это спасет от действительности? Ведь люди действительно хищники, потому и рождаются с когтями хищников, просто они у них до времени втянутые, их не видно. Вам не страшны новорожденные с когтями хищников?

— Страшны.

— И мне страшны. Хорошо, что я не акушер.

Лекрыс закрыл глаза и пошатнулся.

— Ой, что-то в глазах туманится, и пятна какие-то. Вы мне кофе не приготовите?

— Я приготовлю вам чаю, только некрепкого, — сказала Надежда и вышла из комнаты.

— Я никак не могу вспомнить, что же такое важное намечено у меня на пятнадцатое число...

Вернулась Надежда.

— Скоро закипит, — сказала она.

— А может, шампанского выпьем? Зачем-то я его принес?

— Шампанского на ночь?

— Тогда давайте нарежем ананас. Зачем-то я его принес? Режьте, не стесняйтесь.

— Спасибо. Сейчас схожу за ножом.

Лекрыс потянулся к лежащей на столе книге.

— А что это вы читаете? А-а-а... «Снежную королеву»...

— Да, «Снежную королеву», — входя в комнату, сказала Надежда.

— Видимо, хорошие люди плохих книг не читают, — Лекрыс положил книгу и посмотрел на ананас. — А что это вы ананас не кушаете? Вы кушайте, кушайте, а я посмотрю. Клянусь своим велосипедом, мне приятно будет посмотреть, как вы кушаете.

Надежда принялась за ананас.

— А ведь вы, Наденька, точно так же, как и Герда из этой книги, могли бы научить меня видеть и младенцев без когтей, и ласковый светло-голубой воздух, и нежные звезды в теплом синем небе, и теплый голубой снег, и людей с чистыми помыслами. Людей, которые, как сказочные Герда с Каем, любят друг друга так бескорыстно и радостно, что, клянусь своим велосипедом, ты тоже проникнешься этой любовью, и такая радость охватывает, такая радость...

Послышался свист закипевшего чайника.

— Я сейчас, Лекрыс, — сказала Надежда и вышла.

— Такая радость, — продолжал Лекрыс в одиночестве, — что так и хочется в эту радость окунуться, и окунаешься, и болтаешься, как говно в проруби, и хочется выть.

— Простите, я не расслышала последние слова, — сказала Надежда, возвращаясь с чашками.

— А вам и не надо было их слышать, я о мышеловке говорил.

— Что-то из Шекспира или из Чехова? Кто-то из них говорил, что жизнь — это мышеловка.

— Да, что-то такое было, но вам это ни к чему. Вы такая, такая! Слов нет, какая вы!

— Вы говорите обо мне красивые слова, упорно не замечая, что я калека.

— Я этого не вижу.

— Зато все остальные видят.

— Дураки.

— Нет, не дураки. Просто люди.

— Но Иван — определенно дурак.

— Не будем больше об этом. Все прошло.

— Как с белых яблонь дым... Как красиво! А Иван говорит, что красоту надо запретить.

— Как это можно запретить красоту?

— Не знаю, как он собирается это сделать, но он говорит, что мир устроен неправильно. Мир должен быть не цветным, а серым. Если мир будет серым, его не будешь любить. А женщины должны появляться на улице только в серых ватниках, серых штанах и кирзовых сапогах.

— Он это серьезно?

— Не знаю, но говорил не улыбаясь. Он все теперь видит в мрачном свете. Все видит не так. Это когда-то, говорит он, в мире не было ни грязи, ни зависти, ни жадности, ни подлецов, не теперь.

— А где были подлецы?

— Наверное, погибли на дуэлях.

— А разве только подлецы погибают на дуэлях?

— Да, не только. Но если бы был ваш бог, то погибали бы только они. Хотя, это еще вопрос, кто подлец, а кто нет. Так что, вполне возможно, что ваш бог сам не знает, кто есть кто. Сам путается. Может быть, и я подлец, потому что завидую его таланту и в глубине души желаю его смерти...

— Чьей смерти? — спросила Надежда, но Лекрыс не ответил.

Часы на стене зажужжали, поднатужились и начали бить, и Лекрыс на них посмотрел.

— Ну, вот он и умер... — сказал он и вздохнул. — Вот и хорошо, теперь вы у него не в плену, теперь есть надежда, что вы сможете обратить внимание на меня...

— Кто умер?

— Кто же, как не Иван, — Лекрыс вытащил из кармана ключи. — Вовремя я вспомнил. Пойду удостоверюсь и вызову похоронную бригаду.

— Вы шутите? — вскричала Надежда. — Вы плохо шутите!

— Какие уж тут шутки, с цианистым калием не шутят.

— Боже мой, боже мой! — Надежда схватилась за голову. — Я с вами, я с вами!

Окончание в сл. номере

Ігор ПАВЛЮК

/ Львів /



ПРОКЛЯТТЯ ВОЛХВІВ

Глуpe серце без голови.
В голові безсердечно темно.
Може, нас прокляли волхви?
Може, гнали ми їх даремно?

Їх усіх пожалів Христос,
Як жалів і прощав душевних,
Коли бачив іконів стос
Чи базарні хрести дешеві.

Адже Він і Петра простив,
І, напевно, простив би Юду...
Якби прощення той просив,
Як бандит на хресті прилюднім.

...Але ж ми розп'яли волхвів,
Це найперші наші поети.
Тому тінь наших кровних слів —
Мов космічне сміття у Леті...

ВОЛИНСЬКЕ

Дим від вогнища предків з озерним туманом зійшовсь:
Син вогню тут із сином води обнялися,
Щоби я через них до людей по ріці не пішов,
А тягнувся до зорі, що тепліла над рідним Поліссям.

Поряд їли-пили і співали, і власть матюкали.
Навіть дехто молився.
А дехто померти хотів.

Наші чорні лелеки, напевно, у рай відлітали
Крізь цей димний туман, через простір долюдських віків,
Де пастух динозаврів пив даль з пастухами овечок,
А в поетів первісних клювала душа на сльозу.
Ще усе підсвідомо у генах чекало Предтечі.
А Предтеча чекав, доки прийде із Неба Ісус.

Мию душу свою чорним милом волинської ночі.
Наче корінь надгробного каменя — тайне щось в ній.
Відчуваю — що буде...
Та вголос не хочу пророчити,
Адже й так наші люди ховаються в спирті, у сні...

Виростаю з Волині...
Слабкі мене терпко бояться,
Сильні тупо ненавидять.
Добрі вважають своїм.

...Дим від вогнища предків.
Гостинець від зайця,
Що приніс мені прадід,
В раю вже доім.

* * *

Мінне поле печалі.
Свічка —
Радості знак.
Хтось не має медалі
Від держави,
Однак
І поет він народний.
Навіть вовчику брат...
У душі великодній
Зорепад,
Серцепад.

І хребет,
І коріння,
Сиві крила й мої
Із калини насінням
Уросли в ці краї.

Проростуть
Через сотні
А чи тисячі літ.

...Мінне поле безодні.
Жде мене зореліт.

Полечу я без тіла
Аж туди,
Аж туди...
Де би мама зраділа...
Назавжди.
Назавжди...

ГОЛОС КРОМАНЬЙОНЦЯ

«Життя і смерті спивши щедрий келих,
Усі літа спаливши на вогні,
Я скіфський цар, лежу в дніпровських Геррах.
І стугонять століття по мені».
Борис Мозолевський. «XV. Герри»

Я кроманьйонець.
Юний предок людства.
Я більш уже нікуди не іду...
В стоячих водах,
Як в небесній люстрі,
Я бачу вашу радість і біду.

Тут динозаври й мамонти вмиралі,
Де з рідними я впав у вічний сон.
Мене знайшли ви,
Хоч і не шукали...
У Франції,
В печері Кро-Маньйон.

Ми четверо заснули тут,
Лежали.
Тисячоліття.
Вічність.
Суєта...
Нащадки в космос
Радісно літали.
Христос над нами
Ніс його хреста.

Ми кроманьйонці.
Звідки ми — не знаєм...
Тіла землею стали вже давно,
Яка родить нас заново збирається,
Як справжня Мама перед смертним сном.

Адже ніщо невічне попід зорями.
Невічні й зорі...
Вічний тільки Бог.
Ми ж зі своїми радостями й горями —
Невиплакані іскорки епох.

Ще пам'ятаєм позу ембріонову.
І все життя знов прагнемо туди.
Ех, людство, людство...
Вівіска неонова...
І піраміди —
Це твої труди.

Смішні вони у космосі безмірному.
Смішні вони у часі.
Сміх і гріх.
Любили ми,
Надіялись і вірили
У Того,
Що у нас
І угорі.

Не мали ми держав із їх коронами,
Боялися.
Молилися до зір
Із небесами їхніми бездонними,
Пісні не вміли класти на папір.

Пісні цвіли.
Папір ще не придумали.
Тому писали кров'ю по сльозі —
Про те, кого любили чи затлумили
На перехресті долі і стезі.

Злу кроманьйонку?
Оленя?
Чи мамонта?
Свій профіль в тихім дзеркалі води?
Останню зустріч зі своєю мамою
Тоді, коли ще був без бороди.

Чому ми вмерли? —
Нам не пам'ятається.
Були щасливі.
З'їли щось не те?
Боліло тіло.
Потім, потім — таїнство...
І це ось «воскресіння» золоте.

Душа людська за час цей не змінилася?
Хоч техніка краде у людства дух.
Молилися, любили і постилися
Щиріше ув епоху молоду.

З польотом в космос гасне світло святості?
Подвижники мобільні...
Інтернет...
Нутро ж душі стає ванільно-ватяним,
Немов душа також колись засне.

Як спало тіло кроманьйонця дикого
Тисячоліття,
Доки не Христос,
Не ангели
Його зі сну покликали,
Не воскресивши, правда,
На «всі сто».

Бо воскрешати —
Диво діла Божого.
Палеонтолог лиш знайшов кістки,
Що спали під земною огорожею
В печері —
Тут,
На березі ріки.

Нам біль минув.
І відіснились вирії.
Між небом і собою я завис.
Та хтось мене із того світу вимріяв
І знову кличе в материнську вись.

ДЗВІНКИ

Далина осіння воскова.
Я до пращура дзвоню
Із Землі — чудного острова, —
Де всі грають у війну.

Де всім хочеться побачити,
Як задумано цей світ,
Під зіницями собачими
Вчути Божий Заповіт.

Ми сміємось, плачем, тужимо
З молитвами і постом.
Між смиренними й байдужими
Кров дзеркалим золотом.

Струн зміюки намагнічені.
І — мов бісова печаль —
Потемніли наші ніченьки,
Журавліє наша даль.

Як ґрунтові води, пінилась
Радість зламаних доріг.
Крокодилячими спинами
В душу повз торішній сніг.

Із мобільника найкращого
В тиші віщого вогню
Я дзвоню до свого пращура,
До Всевишнього дзвоню...

*27 верес. 21, Польща – Німеччина – Австрія –
Ліхтенштейн – Швеція – Італія...*

ОСІННЯ ФІЛОСОФІЯ

Мов терну коріння – стежини мої золоті.
А лавру корінням стоять журавлі під зорею.
Приходять до мене у келію курви, святі,
Мене зігріваючи духом і кров'ю своєю.

Я з ними блаженно лечу в глибину, до Отця,
Розхриставши душу, неначе гніздо на соборі,
Яке зігріває то ангела, то горобця,
В яке задивляються відьми, лампадки і зорі.

А ми вимираєм, немов динозаври сліпі,
Покинувши нафіг і астро-, і гастрономію,
Олюднивши небо у небі, в озерах, в собі,
З'єднавши його із Землею — як з вирієм мрію.

Вовки свого Бога отут вибирають з вовків,
З вовків свого Бога і вівці, на жаль, вибирають...
Листочок із клена оно золотий облетів
І хоче у вирій...
До шуму, до моря, до зграї...

Я ж димом багаття зігрію туман і зорю.
Сльозинки пташок із душі теплим спогадом витру.
Симфонію з ними і першим сніжком сотворю,
З могильного каменя і міжпланетного вітру.

І буде звучати до першого цвіту вона.
В терновім вінку проведжати поета на лаври.

А осінь ця пізня на позір – як рання весна.
А ці журавлі — як хрести на Почаївській лаврі...

ЛИСТОПАДОВИЙ ВЕЧІР

Тварини хмар гуляють в небесах.
Одні пасуться, інші гострять ікла.
Живемо — доки вірим в чудеса,
Доки душа до вирію не звикла.

Але прийшла патлата темнота.
Дитячі сни мені ще раз присняться.
Ті зорі в добрім погляді kota —
Мов іскорки вина мого причастя.

Осінні ж квіти довго не живуть,
Не знають бджіл, не вірять навіть Сонцю,
Надіючись на себе, на траву,
На білі вази в синьому віконці.

Та мед з осінніх квітів я люблю,
Цей запах кольорів і колір звуків.
Стаття в газеті вийшла «Наш Павлюк»,
Яку з весною прочитають внуки.

Ляга на стежку довга тінь хреста
Із храму, у яким мене хрестили.
Та тінь — також туманно-золота.
Все золоте: і люди, і могили...

Листочки — хтиві очі муз моїх:
Одні розкосі, інші круглорибі.
В такий-от час поширюється гріх,
Як запах самогонки у колибі.

...Мов спирт сухий,
Явився перший сніг.
Душа жертовно напоїла тіло.
Як у дитинстві, хочеться мені —
Щоби пташа від мами прилетіло.

Спішить пташа сльозиною зорі
Із того дня печального у січні...

Не тільки день,
Вже я повечорів.
Лягаю спати.
Завтра буде вічність...

Игорь ШЕСТКОВ

/ Берлин /



КОМА

Узколицый, породистый, еще совсем молодой врач нахмурился и демонстративно медленно просмотрел мое электронное досье.

— Что ж, ваши соматические заболевания мы худо-бедно диагностировали. Попробуем вас подлечить. А что у вас с психикой? Каким вам видится окружающий мир, как вы себя в нем чувствуете?

— Мир? Мир от меня ускользает. Как песок в песочных часах. Жизнь уходит. Время течет в пять раз быстрее, чем в детстве. Я постарел и деградировал. Ничего не делаю. Лень. Ни с кем не общаюсь. Идеи больше в голову не приходят. А раньше сыпались с неба как метеориты в августе. Смотрю на алфавит на клавиатуре моего компьютера и думаю о смерти. А тут еще боли. Симфония.

— Да вы поэт... Не надо упиваться отчаянием. Сейчас всем нелегко, не только пожилым и больным. Корона. Война. Инфляция. То ли еще будет... Кстати, у меня тут один пациент из комы вышел. Почти три недели пролежал после аварии на железной дороге. Помните, поезд сошел с рельсов под Нюрнбергом? Машинист зашнул, вроде бы. Автоматическая блокировка не сработала. Черепно-мозговая травма... поврежден позвоночник... Тоже из России. Реабилитация ему трудно дается. Для гипнотерапии он еще слабоват. Чувствую, ему надо выговориться. Но я по-русски не говорю, а его немецкий... хм... еще хуже его английского. Может быть, вы с ним поговорите по душам? На родном наречии... Расскажите мне потом... Лежит он в отдельной палате. Номер 207. Можете прямо сейчас и пойти. Лифты там, за поворотом. Не забудьте смартфон захватить. Вы телефон нашего отделения помните? Звоните, если что.

...

Решил навестить этого человека. Исключительно из уважения к моему любезному и внимательному доктору. Интерес к судьбам других людей я давно потерял. Исповедальные излияния терпеть не могу. Нашел его палату. Постучал.

Он лежал на больничной кровати и глядел в потолок. Голова забинтована, на шее бандаж. Капельница. Взгляд отсутствующий.

Кажется, мой ровесник.

Представился. Сообщил, что меня прислал доктор такой-то.

— Для того чтобы вы могли поговорить со мной на родном языке. И поведать мне все ваши сокровенные тайны.

Глаза его ожили.

— Тайны? Какая забота! Страховка оплатит? Шутка, садитесь, прошу вас.

— Расскажите о себе.

— Охотно. Давненько я не брал в руки шашек... Никому не интересно... как в том анекдоте о похоронах Рабиновича.

Я узнал, что идейные родители назвали его в честь какого-то большевика. Что он родился и вырос в Москве, недалеко от МГУ на Ленинских горах. Там же учился и работал. Приехал в Германию с любимой женой в начале девяностых.

— Когда все уезжали.

Ходил на языковые курсы, но не пошло. Пытался устроиться научным сотрудником. Не вышло. Затем инженером на строительную фирму. Но его и рабочим не взяли. Пил, затем бросил. Жена ему изменила с молодым и представительным менеджером фирмы, в которой работала системной программисткой, он случайно об этом узнал.

— Как она могла лечь в постель с этим наглым прохвостом? Все менеджеры — наглецы. А гонора у них...

Развелся. Опять начал пить. Жил то тут, то там, у разных женщин. Мучил их и бросал. Они платили ему тем же. Нюхал кокаин. Искал постоянную работу, но так и не нашел.

— Эти высокомерные сволочи не хотели меня брать!

Пробовал — в компании других энтузиастов — начать новую жизнь... в Патагонии! Пасти овец. Сорвалось. Деньги группы украл организатор.

— И смылся, подонок. Если когда-нибудь его встречу...

Пришлось ему полгода батрачить у местного пейзажа.

— Тогда и познакомился близко с аргентинскими овцами. Знаете, они умнее, чем я думал...

Вернулся в Германию и неожиданно нашел работу в саду у какого-то нувориша. Жил в садовом домике. Жена нувориша...

— Была ко мне благосклонна. Несмотря на мой возраст и характер. Нувориш догадался, чуть не застрелил...

Кое-как дотянул до пенсии.

Спросил его об аварии.

— Я, как вы уже поняли, неудачник. На родине мотался... между небом и землей. Университет еле закончил. Работал спустя рукава. Всем, кому мог, испортил жизнь. И прежде всего — самому себе. Рисовал, лепил, пытался писать прозу... все фуфло. Воображал о себе. Хуже Манилова. Строил грандиозные планы. Генералы на

мосту. Обыкновенная история. В Германии тоже ничего не добился. В Патагонии... об этом и упоминать стыдно. Да, а тут еще... этот дурацкий поезд. Железнодорожная катастрофа! Вот уж действительно — апофеоз жизни идиота. С нормальными людьми такое не происходит. Вагон этот паршивый. Помню, в нем нестерпимо пахло писсуарами. И чистящими средствами. Ненавижу химию. Пассажиры... Ехали мы ехали, а потом вдруг... заскрежетало как в аду, хлопнуло... вагон запрыгал как игрушечный заяц... Ударило что-то тяжелое в крышу. Как будто строительный кран на нас свалился. Это мы на большой скорости сошли с рельсов и опрокинулись. Я как будто потерял вес, затем и зрение, и слух... левитировал... В последний момент мысль проскочила: Ну вот и все. Приехали тачанки... курым-бурым... А затем...

— Очнулись в этой палате?

— Если бы так...

— А что же еще было, кроме тачанок?

— Вам что, на самом деле интересно?

— Да. Вы ведь пытались нашему доктору что-то рассказывать. А он ни черта не понял и послал к вам меня. Так что я весь внимание. Не стесняйтесь, прошу вас. Я ваш рассказ записываю на смартфон. Если вы не возражаете. Попытаюсь потом перевести доктору. А затем сотру запись. Честное слово!

— Валяйте, валяйте. Только предупреждаю... это личное. Ничего особенного.

— Мне все равно. Я для доктора стараюсь...

— В поезде была еще боль, кровь, борьба. Я изо всех сил пытался вылезти из-под трупов других пассажиров, их чемоданов и сумок. Помню у меня по лицу ворона ходила, черная как смерть. Откуда она взялась? Помню лицо пожарника, спасшего меня. Оно светилось... походило на лицо ангела. Его слова поразили меня.

— Смотрите, кровавая каша. Этот кажется еще живой. Счастливчик.

Я — живой! Живой. Значит, еще не все кончено. Значит, мутная канитель моего немецкого существования продлится еще несколько лет. Радоваться или печалиться?

По дороге в больницу я чувствовал телом каждую неровность дороги, каждый камешек под колесами — любая встряска вызывала у меня невыносимую, пульсирующую боль в шее, на которую надели жесткий корсет, и в голове. Боялся, что не дотяну... В больнице врачи сделали мне компьютерную томографию, прооперировали наскоро, посовещались и ввели в искусственную кому. Реальность упорхнула от меня как птичка. Решил, что умер.

Поначалу я висел, не чувствуя ни рук, ни ног в... скажем, в белом влажном тумане. Продолжалось это довольно долго, как долго точно я

не могу сказать, потому что не с чем было сравнивать. Время и пространство исчезли. Исчезли люди, здания, деревья. Я попытался расслабиться, старался ни о чем не думать. Несколько раз засыпал и просыпался. Все в том же влажном тумане. Но это состояние не было сном и бодрствованием. Забыть. Отрешенность от всего. Ничто.

Но вот, я снова очнулся, но уже не в тумане, а в бабушкиной спальне, в ее и дедушкиной квартире в университетском доме, построенном в стиле «сталинского ампира», на кровати из карельской березы. У меня был жар, першило в горле, я почти не мог глотать.

Понял, что галлюцинирую, что меня забросило в год 1972-ой, когда я, шестнадцатилетний школьник, несколько раз тяжело болел ангиной.

Бабушка сидела рядом со мной, меняла мне холодный компресс на лбу. Компресс мне не помогал, только мешал. Я пытался спихнуть его со лба. Но бабушка терпеливо клала его обратно.

Мерила мне температуру. Потом, глядя на ртутный термометр, тихо сокрушалась: Опять сорок и пять. Уже три дня не спадает. Ах, гулик, гулик...

Я узнал каждую морщинку на ее добром лице, опухшем из-за долговременного приема преднизолона, единственного тогда средства от бронхиальной астмы. Узнал звуки ее свистящего дыхания, ее кашля. Узнал ее седые, поредевшие от старости, великолепные когда-то, курчавые волосы. Узнал ее голос и запах.

Узнал трельяж, нефритовые и фарфоровые фигурки на нем, которые мой покойный отец привез из Китая, узнал шкаф из той же карельской березы, узоры которого напоминали мне в детстве сплетающиеся обнаженные женские тела, узнал вишневое пианино Петроф, заменившее старенький Бехштейн, на котором бабушка несколько лет безуспешно пыталась научить меня играть на фортепьяно.

Узнал фотографии на стенах и вид из окна. Узнал книгу в пестрой обложке на тумбочке. Это была «Лолита» по-французски.

Узнал даже старые бабушкины тапочки.

Казалось бы, галлюцинация не может быть таким буквальной, детализованной.

Или это была не галлюцинация, а что-то другое?

Душа моя болела. Я был переполнен жалостью и любовью к этому давно исчезнувшему миру, к давно умершей бабушке.

Неотвязная мысль жалила сердце как оса. Как ты мог тогда бросить и бабушку, и дедушку, и маму? И многих своих близких друзей. О чем ты думал? Что превратило тебя в эгоистичную скотину? На что ты надеялся? На карьеру на Западе? Ты даже пастухом в Патагонии не смог стать, ничтожество. Самовлюбленный кретин. Отомстил родным и близким за собственную слабость. Бросил умирать в Совдепии все, что тебе было дорого. Ради чего?

В судорогах раскаяния и невыносимой душевной муке схватил бабушкину руку, поднес ее к губам. Целовал ее ладонь, целовал и рыдал.

Бабушка крикнула деду: «Миша, он плачет. Что же нам делать? Позвони Марии Абрамовне, прошу тебя».

Затем мое подсознание смилостивилось надо мной...

Меня опять унесло в белый туман. В пень несуществования. А когда я проснулся...

Декорации остались прежними, но времена изменились. Бабушка превратилась почему-то в мою подружку Олечку, разделась и села на меня верхом.

Я все еще лежал на кровати из карельской березы.

Но мне было уже восемнадцать. Ангины больше меня не терзали, потому что несколько месяцев назад мне вырезали гланды в одной из Градских больниц на Ленинском проспекте. Опытная врачиха возилась минут сорок. Я запомнил только то, что кровь, эта красная лава, лилась из меня как вода из крана. Только медленно.

На дворе жаркий московский июль. Бабушка и дедушка отдыхают в санатории в Переделкино, я живу один в их двухкомнатной квартире на Ломоносовском... наслаждаюсь свободой... и изо всех сил пытаюсь затащить в постель свою застенчивую подружку Олечку, студентку экономического факультета, стройную, нежную, преданную, с которой часами целуюсь в университетском парке каждый вечер. Мы целуемся, обнимаемся и влюбленно воркуем. Но этого мало, мало.

И вот... наконец... Мы, молодые, красивые, голые — в бабушкиной кровати.

Рай на земле?

Как бы ни так.

Длинные льняные волосы Олечки падают на маленькую, прекрасной формы грудь, пахнущую розами. Аккуратненький животик украшен снизу рыжей опушкой. Очаровательная талия. Узкие бедра.

Ее руки — в моих руках. Ее близорукие карие глазки моргают от волнения.

Я уже пять минут изо всех сил пытаюсь воткнуть мой вставший член туда, куда полагается. В созданные для него природой в женском теле ножны. Но Олечка этого явно не хочет, ёрзает задом... она боится забеременеть, боится стать взрослой женщиной, боится ответственности.

Ничего у нас не выходит...

В отчаянии я кричу Олечке — и всей вселенной — что-то грубое, оскорбительное. Глаза моей любимой вспыхивают, лицо искажается гневом, маленькие крепкие ручки лыжницы сжимаются в кулаки. Она отталкивает меня, вспархивает с постели как испуган-

ная бабочка с цветка, мгновенно одевается и убегает. Бешено хлопает входной дверью, страшно пугая этим рыхлую и трусливую соседку с варикозными венами на ногах, как раз выходящую из лифта. Возвращающуюся из булочной и молочного. С двумя полными сумками, из которых вылезают зеленые крышечки бутылок кефира и уголок упаковки вафельного торта, нашего советского деликатеса.

А я остаюсь один на один со своим разочарованием, со своим возбуждением. С тоской по женщине. Со своим острым кинжалом. Тупить который мне уже который раз приходится самому.

И опять меня гложут мысли как волки ягненка.

Как легко ты тогда оскорбил эту девушку! Оскорбил и безжалостно выкинул из своей жизни. И теперь каждый раз, когда тебе одиноко и грустно ты вспоминаешь не тех милых женщин, с которыми ты годами кувырчался в постели и наслаждался всеми возможными видами плотской любви, а эту близорукую лыжницу с льняными волосами. Она была так нежна с тобой. В университетском парке. Мы так сладко целовались. Как сложилась ее жизнь? Жива ли она? Или от нее осталось только твое воспоминание? Твоя тоска.

— Я вижу, вы приуныли. Ожидали ужастик, а получили — мелодраму и нытье. Я вас предупреждал. Впрочем, будет вам и ужастик. Продолжать?

— Естественно. Я привык к вашему стилю...

— Ну что же, если вы еще не сыты по горло... Следующее мое пробуждение не было похожем на первые два. В этом новом миреке царил беспросветный ужас.

Очнулся я... в пещере. Я лежал — в очень неудобной позе — на ее холодном и неровном каменном полу. Затекшие мои руки и ноги были крепко связаны грубой толстой веревкой. Так, наверное, связывают в деревне свиней, перед тем как перерезать им горло.

Я был одет... не сразу это осознал... в форму советского солдата. Грязную и рваную. На ногах — кирзовые сапоги.

Рядом со мной валялись еще несколько солдат. Многие были ранены, они стонали, матерились, просили воды.

Сцену освещали две керосиновые лампы, стоящие в топорно вырубленных в глиняных стенах нишах. Лампы коптели, воняли. Мне казалось, что по пещере летают летучие мыши. Издалека доносились крики и взвизги.

«Там у них пыточная, — негромко сказал здоровенный блондинистый солдат, лежащий рядом со мной. Показал головой направление».

Я спросил его: «Где мы?»

«А кто знает. Меня так избили после боя, что я чуть ни целые сутки провалялся без сознания. Везли куда-то нас духи долго. В тыл, полагаю, через перевал, подальше от наших. Теперь будут кишки тянуть...»

«В какой мы стране?»

«Ну ты даешь, чувак. По голове тебя не били? В Афгане мы».

«Год какой сейчас?»

«Слышь, пацаны, он и год не знает. Оторвался по полной. Тебе ничего не вкалывали? Говорят, у духов лекарство есть специальное, американское, человека в зомбака превращает. Зомбаки эти у душманов вроде рабов. Восемьдесят второй год».

Что за вздор? Я никогда в Афганистане не был. Войну эту не поддерживал. Осуждал даже.

Внутренний голос прошептал мстительно: «Не был, не поддерживал, осуждал, но никогда, никогда и нигде ничего не сделал, чтобы остановить эту бойню. Даже вслух ничего не сказал. Все десять лет молчал. Трясся».

— Молчал, как все молчали.

— Все нас не касаются, но ты, ты... никогда и ничего. Даже шёпотом не протестовал, не то, что там... на Красной площади. Даже дома об этом говорить боялся.

— Да, нас так запугали.

— Запугали... Запугали, потому что вы разрешили себя запугать. И от молчания вашего вы даже особый кайф славливали. Радость от собственной гнусности получали. Вроде как купались в чужой крови.

К нам подошли несколько моджахедов с большими черными бородами. В темных халатах и характерных шапочках. В их глазах я прочитал смертный приговор всем нам, неверным собакам. Сердце у меня ушло в пятки. И не зря.

Ни слова не говоря, они распорили животы одному за другим всем связанным советским солдатам своими кривыми ножами, а затем отрезали головы.

Когда мне резали живот, я кричал что было сил. Мой блондинистый сосед не издал ни звука.

Когда мне отрезали голову — кричать я уже не мог.

...

Тут я прервал моего собеседника. Не было сил дальше слушать. Поблагодарил и ушел.

Доктору переводить его рассказ не стал. Не хотел его мучить карельской березой, льняными волосами и кривыми ножами. Сказал только: «Похоже, вашего пациента попросту замучила совесть. Редкое явление в наше время».

Молодой врач поднял и опустил свои узкие брови, укоризненно покачал головой и пожал плечами. Ему тоже было все равно.

Пациента из палаты 207 выписали недели на две позже, чем меня.



Андрей ГУЩИН

/ Киев /

Из цикла «Спасение бабочек»

* * *

Солнца, солнца-то сколько, гляди, намело,
Из пустыни надуло.
И уже не спасает двойное стекло
От вселенского гула.

Не пришёл, не увидел, не победил.
Все пошло не по плану.
И дороги ведут через призрачный Рим
К океану.

* * *

Песок и сосны. «Океанская».
Воспоминания замылены,
Канцона неаполитанская
По радио. Сирены выли

Сегодня с бóльшим напряжением,
Как будто мальчик кошку мучил.
Жизнь — хаотичное движение:
Так в поднебесье ходят тучи.

* * *

Пророческий сумбур событий,
И стук упрямый каблуков.
Остановить, остановить бы!
Он вышел, вышел, был таков,

Продолжив путь до Трёх Вокзалов,
И до куличек, до Курил.
Она ему носки связала.
И лишь о главном не сказала.
Замялась, так и не сказала,
А, впрочем, он бы не спросил...

* * *

Озекерит печёт и греет.
Прикладываю к давней ране.
Имеет или не имеет
Сон отношение к нирване?

Добавьте серы в эту ванну.
Мне не хватает чёрной жёлчи.
Она по телу растечётся.
И будет Марья без Ивана.

* * *

Ни марша, ни белого платья.
Лишь мускусный дух конопли.
Тебя заключают в объятия
Мохнатые лапы земли.

И душно тебе, и тревожно.
Надейся на русский «авось».
Отныне все станет возможно.
Все сбудется, что не сбылось.

СПАСЕНИЕ БАБОЧЕК

Откроешь окно пошире,
Стараяешься выгнать пленниц,
Чтобы витали в эфире
Миниатюрные мельницы.

Но что-то их отвлекает
От собственного спасения.
Свобода теперь пугает
Возможностью воскресения.

Просто их срок подходит,
Полет бесполезный труден.
Они покорились природе,
Как некоторые люди.

Из цикла «Китаева Пустынь»

* * *

Шагнешь и выгнешься во фронт
От нравственного перегруза,
От городского передоза,
Неунавоженный, как грунт.

Рубильник вырубить вчистую.
Впустую прогреметь по весям.
Дубы стоят, как обалдуи,
А в небесах медовый месяц.

* * *

Проснёшься в летнюю грозу.
Бегут ручьи по Иорданской.
Так камень смотрит на косу
С тупой улыбкою мещанской.

Есть в вихрях северных широт,
В услугах шлюх, объедках шпрот
Не столько бездна огорчения,
Но тайнопись наоборот.

* * *

Когда в Китаево поеду
Святыни посетить живые,
Заскачут галки-непоседы,
На корки зарясь дармовые.

Зардеют дальние пещеры
И облаков нетленных мощи.
И листопад, как символ веры,
Смирненно восприимет роща.

* * *

Апостола простым-проста
Фигура речи до креста.
Там начинается обрыв,
И высший смысл, нервный срыв.

Тень, в ясный полдень набежавшая,
Уснувшая в саду сирень,
И молоко подорожавшее,
И завывание сирен.

Олег МИКОЛАЙЧУК-НИЗОВЕЦЬ

/ Київ /



КАШТАН І КОНВАЛІЯ

(Драма про війну на межі можливого)

*Посвята пам'яті Віталія Краснюка (позивний «Сокіл»)
та усім загиблим Героям України*

ДІЙОВІ ОСОБИ:

МАРКО Мар'ян (псевдо «Каштан»);
ГАЛИНА Каштан (псевдо «Конвалія»);
ВІТАЛІЙ Краснюк (псевдо «Сокіл»)
ДАНЬКА (псевдо «Ромашка»);
А також позмінно може виконувати одну чоловічу роль:
Донець, Басмач та інші.

ПРОЛОГ. НІЧНИЙ ПОТЯГ ГОЛОС: ЯВА ПЕРША. У ПОЇЗДІ

Два бокових місця плацкартного вагона. З великим наплічником заходить спортивної статури чоловік близько 30-ти років. Дістає квиток. «Так таки так, 43 місце, нижня полиця, — зупиняється, — так таки так, буде риба й буде рак. Ось і знак». Запаковує речі. Як тільки сідає, до вагону заходить з великою валізою напрочуд миловидна молода жінка.

ЖІНКА. Доброго вечора! Моє місце 44. Напевно, ми з вами сусіди.

ЧОЛОВІК. Доброго вечора! Ось це так сусідка. Може одразу й познайомимся?

ЖІНКА. І як ви це пропонуєте зробити?

ЧОЛОВІК (*бере з рук її квиток*). А дуже просто: квиток за місцем 44 належить Галині Каштан. (*Виймає свій квиток.*) Квиток за місцем 43 наданий Марко Мар'яну. Як це все несправедливо?

ГАЛИНА. Щось знову не так?

МАРКО. Я не зможу собі дозволити, аби прекрасна Галина Каштан їхала всю ніч на боковому верхньому місці, тоді як я розкошуватиму на боковій нижній полиці.

ГАЛИНА. Не переймайтеся, пане Марко, мене висота не лякає.

МАРКО. А якщо впадете?

ГАЛИНА. Краще падати згори на когось, ніж хтось падатиме на тебе. Проте, одразу попереджаю, я не схильна до польотів серед ночі. Ну не схожа ж я на відьмочку.

МАРКО. Звісно, ні. Ви, Галино, швидше подібні...

ГАЛИНА. Не заперечуватиму проти небесного ангела. Проте міняємо тему розмови.

МАРКО (*розчаровано*). Ангелу не заперечиш. Ви часто їздите до Києва?

ГАЛИНА. Так, навчаюся там в аспірантурі. А перед цим закінчувала медичний університет.

МАРКО. Уявляєте, я теж аспірант. Але закінчував юридичний.

ГАЛИНА. Он як!

МАРКО. І про що ж буде ваше дослідження?

ГАЛИНА. Про трагічні наслідки для жіночої психіки та загалом здоров'я після штучного переривання вагітності. По вас бачу, ви вже шоковані!

МАРКО. Доволі специфічна та навіть трагічна тема.

ГАЛИНА. Не трагічна, а катастрофічна. Щороку в Україні роблять близько 200 тисяч абортів. А це — фактично — 200 тисяч дітей. Ненароджених. Менше з тим. А ви про що ж пишете?

МАРКО. Про недосконалість правозахисної системи України в умовах новітнього тоталітаризму.

ГАЛИНА. Зараз перший рік, коли донецькі прийшли до влади. І вони самі кажуть, що прийшли не надовго, а назавжди.

МАРКО (*пригнічено*). Хай собі кажуть.

ГАЛИНА. Марко, а ви з вогнем граєте.

МАРКО. Я знаю. Міняємо тему.

Деякий час мовчки дивляться у вікно. Чути тільки передзвін коліс.

МАРКО (*декламує*).

Сніги і ніч. І ліс дорого пише.
І спить в снігах все тепле і живе.
Лиш інколи захриплий голос тиші
Чийсь зорю із вічності позве.

ГАЛИНА. Ліна Костенко.

МАРКО. Так, Ліна Костенко. Тільки вона могла так сказати: «Лиш інколи захриплий голос тиші чийсь зорю із вічності позве». Колись Чернігівський ієромонах Антоній сказав про гетьмана Івана Мазепу: «Не було раніше подібних йому, і по ньому вже більше ніколи такого не буде». А якщо перефразуємо Антонія щодо Ліни Костенко.

ГАЛИНА. «Не було раніше подібної Ліни Костенко, і по ній вже більше ніколи такої не буде». Погоджуюсь. У неї якась неземна поезія. *(Декламує):*

Мені снилась бабуся, що вона ще жива.
Підійшла, як у церкві, засвітила слова.

Муркнув кіт у чоботях, поклонився і зник.
Засміялася миша, позіхнув домовик.

Подивився Архангел на святого Іллю, —
Сон вже хоче приснитись, а я ще не сплю.

В хаті тихо-претихо, і натоплена піч.
Інкустований місяць в заворожену ніч.

МАРКО. Галю, навіть не віриться, що ми з вами в поїзді. Можете уявити, що ми з вами зараз сидимо біля печі, де тихо-претихо палає вогонь.

Галя. Не могу. У вас, Марко, до речі, обручка на руці.

МАРКО. Як то кажуть, прийшов час.

ГАЛИНА. І дітки напевно вже є.

МАРКО. Недавно донечка народилася.

ГАЛИНА. Ось бачите. А ви фантазуєте щодо якоїсь печі.

МАРКО. А що у цьому забороненого?

Галя *(піднімається)*. Час вже й спати. Покарабкалася я на свою верхню полицю.

МАРКО. А може все ж таки — поміняємось?

ГАЛИНА. Ви справжній кавалер, проте годі фантазувати.

Жінка лягає на верхній полиці, накрившись ковдрою.
Так само лягає внизу чоловік. Якийсь час чути тільки перестукіт коліс. Марко піднімається.

МАРКО. Галю, ви спите?

ГАЛИНА. Як там у Ліни Костенко: «Подивився Архангел на святого Іллю, — сон вже хоче приснитись, а я ще не сплю».

МАРКО. І мені сон вже хоче приснитись, — а я ще не сплю. Знаєте, Галю, коли побачив ваше прізвище, то ледь не зомлів.

ГАЛИНА (*визирнула з під ковдри*). А то що таке?

МАРКО. Каштан — моє улюблене дерево. Колись, ще за часів дохристиянського вірування наші предки язичники вважали, що кожен чоловік має мати своє дерево оберіг. Яке його лікує, оберігає, підтримує. Ніби побратим. Я для себе вибрав — каштан. А вас звати — Галина Каштан.

ГАЛИНА. А чому саме — каштан?

МАРКО (*декламує*).

Київ — місто зелених бульварів
І каскад позолочених бань
Навесні білопінні каштани
Ще десь з ночі розгойдують рань.

Пам'ятає ще древній мій Київ
І ворожу навалу орди
Не зміг втриматися трон Батиїв
Місто буде завжди молодим.

Бо живуть в ньому люди хороші,
Любомири тепла і весни,
А поки що в зимовій порожі
Місто бачить моє — дивні сни.

ГАЛИНА. Марко, так ви ще й поет. «Навесні білопінні каштани, ще десь з ночі розгойдують рань». Я теж обожаю той час, коли білими свічками цвітуть каштани. Проте в Києві, як і скрізь, живуть вже не тільки хороші люди, а дуже різні люди. А новітні крутелики перетворили його з міста зелених бульварів у місце, яке зараз більше нагадує величезний гараж. І, погодьтеся, каштанів у тому гаражі стає все менше і менше.

МАРКО. Київ відродиться. І забуває ще радісним білим цвітом каштанів.

ГАЛИНА. Або деградує ще більше, перетворившись на такого собі монстра з тисячі хмарочосів.

МАРКО. Галю, не будьте песимісткою.

ГАЛИНА. Песиміст — це добре поінформований оптиміст.

МАРКО. Вам палець до рота не покладеш!

ГАЛИНА. Ще чого не вистачало!

МАРКО. Гаразд, Галю, а як би ви, скажімо, жили в дохристиянські часи, яке б дерево ви вибрали собі в друзі?

ГАЛИНА. Я, напевно, воліла б обирати щось із квітів.

МАРКО. Цікаво. І якою б квіткою ви хотіли б бути?

ГАЛИНА. Мені завжди найбільше подобалися конвалії. Однак, даруйте, Марко, за авторитаризм, час вже вкладатися спати.

МАРКО (*вкладається*). Ваша правда, бо так і до Києва можна доїхати. А сон вже таки хоче приснитись.

ГАЛЯ. Хоче, аж муркоче. На добраніч, Каштан.

МАРКО. На добраніч, Конваліє.

ГОЛОС: ЯВА ДРУГА. МИНУЛО ДВА РОКИ.
МАЙДАН. БЕРЕЗЕНЬ 2014 РОКУ

Звучить пісня «Пливе кача». За напівпрозорою завісою два чоловічих силуети проносять труну. На авансцену виходить Марко Мар'ян, тримаючи в руках капелюх. Витирає хустиною очі від застиглих сліз. Чути вигуки Майдану: «Герої не вмирають!», «Герої не вмирають!», «Герої не вмирають!». Тричі лунає прощальний салют. Підходить Віталій.

ВІТАЛІЙ (*курить*). О, Марко, привіт, сто років не бачилися.

МАРКО. Привіт, Віталька! Не сто, а майже два роки. Дай закурити!

ВІТАЛІЙ (*протягає цигарки*). Так ти ж ніби раніше не курив?

МАРКО. Я, Віталій, сьогодні вперше на Майдані.

ВІТАЛІЙ. Та ну?!

МАРКО. Так. Ці Герої Небесної Сотні померли і за мою свободу. Друзе, мене щойно випустили з в'язниці.

ВІТАЛІЙ. Та ну?!

МАРКО. Я один із тих політв'язнів, яких першими звільнили...

ВІТАЛІЙ. Он воно як.

МАРКО (*викидає цигарку*). Яка ж гидота ці цигарки. Так, в житті по різному буває.

ВІТАЛІЙ. І за що ж вони тебе запакували?

МАРКО. Нібито за викрадення паспорта у кандидата в депутати.

ВІТАЛІЙ. А що насправді?

МАРКО. Хотіли фальшивих свідчень. Мав на камеру сказати, що один із політиків дав гроші на підкуп виборців.

ВІТАЛІЙ. Сильно катували?

МАРКО. Професійно: і струмом, і газом, і так били. Особисто під мою справу викликали ментів з Донбасу.

ВІТАЛІЙ. Зрозуміло, все було по їхнім понятієм.

МАРКО. Скаженіли, що говорив тільки українською. Слідчий, підполковник із Луганська, казав: «Я би тебе посаділ тільки за твоей українській».

ВІТАЛІЙ. Не шкодував, що не дав потрібні їм свідчення?

МАРКО. Шкодную тільки, що весь цей час не був на Майдані.

З'являється Галина з сумкою санітара через плече, яку одразу помічає Віталій.

ВІТАЛІЙ *(махав руками)*. Галю, гей, Галюню, йди но до нас. *(Дівчина підходить, уважно вдивляючись в Марка.)* Ось одна з героїнь Майдану. Найкраща санітарка з усіх санітарок.

ГАЛИНА. Віталька, не мели дурниць.

ВІТАЛІЙ. Знайомся, Марко, правозахисник, юрист, і до того ж політичний в'язень, якому ти щойно допомогла вийти з в'язниці.

ГАЛИНА. Я допомогла?

ВІТАЛІЙ. А хто ж ще? Ти стояла на Майдані? Стояла. А завдяки Майдану політв'язні вийшли на волю. І Марко у тому числі.

МАРКО *(зворушено)*. Дякую, Галино Каштан.

ГАЛИНА *(дуже тихо)*. Немає за що, Марко Мар'ян.

ВІТАЛІЙ. Оба-на, так ви знайомі!

МАРКО. Цілу вічність.

ГАЛИНА. Неправда. Ми познайомилися в поїзді приблизно два роки тому.

ВІТАЛІЙ. Ви, я бачу, маєте добру пам'ять. Тоді вам є ще щось згадати. *(Відходить.)*

МАРКО. Галю, в ув'язненні я чомусь часто згадував про вас. Думав, що ви вже, напевно, захистили свою дисертацію.

ГАЛИНА. Захистила.

МАРКО. Сильно шкодую, що фізично не міг тут знаходитися.

ГАЛИНА. Так, це був неймовірний Майдан. Такого ніколи не було, і більше вже, напевно, ніколи й не буде. Таке неможливо повторити.

МАРКО *(озирається)*. Ще понесли одного Героя Небесної Сотні.

ГАЛИНА. Дуже багато важко поранених. Лікарі не в силах врятувати їм життя. Ось вони і відходять один за одним.

МАРКО. Підемо станемо ближче. Попрощаємося. *(Відходять.)*

Звучить пісня «Пливе кача». Вигуки: «Герої не вмирають!», «Герої не вмирають!», «Герої не вмирають!». Тричі лунає салют бойових пострілів.

ГОЛОС: ЯВА ТРЕТЯ. ХРЕЩАТИК. ТРАВЕНЬ 2014 РОКУ

ГОЛОС ГАЛИНИ *(напівтемрява)*: Сні. Іноді ви просто карбуєтеся в пам'яті, а іноді й одразу збуваєтеся. Той сон я спершу не могла зрозуміти... Наприкінці квітня, коли Росією вже був анексований Крим, Україна як ніколи опинилася перед реальною загрозою повномасштабного вторгнення. І саме в цей час мені приснився той сон. Ніби я стою з батьком на березі швидкоплинної річки. На іншому березі суне неосяжний табун величезних і до бурості бурих ведмедів. Вони хижо поглядають у наш бік, готую-

чись кинутись у річку і плисти на наш берег. Раптом біля наших ніг пробігає з десяток левів та скачуть у воду, перепливаючи на протилежний бік. Там вони разом із полчищем ведмедів ідуть вздовж нашого берега.

З наплічником та у військовому строї виходить на авансцену Галина. Знімає наплічник та ставить до ніг. Так само у військовій формі виходять Віталій та Марко. Віталій прагне схопити Марка за руку, намагаючись щось роздивитися.

ВІТАЛІЙ. Та покажи вже, Марко, покажи. Все одно ж потім побачу.

МАРКО. Та не будь ніби з дикого краю. Що, тату в житті не бачив?

ВІТАЛІЙ (*вотузяться*). А може, в тебе там шедевр мистецтва?

МАРКО (*вивільняє руку*). Знайшов мені мистецтво. Та дивися вже, дивися! Вчепився, немов реп'ях.

ГАЛИНА (*підходить до чоловіків*). І ще один реп'ях. І мені, хлопці, покажіть ту картинку.

ВІТАЛІЙ (*розглядає*). О! Листок каштану. Раніше ж цього не було?

МАРКО (*ховає руку за спиною*). З самого дня народження точно не було.

ВІТАЛІЙ. Галю, а це він часом не на твою честь собі клеймо поставив.

ГАЛИНА. А чому це на мою честь?

ВІТАЛІЙ. Ну ти ж у нас Галина Каштан.

ГАЛИНА. Ну то й що. До речі, це тату дуже схоже на колишній герб Києва.

ВІТАЛІЙ. Радянська символіка.

МАРКО. Ну то й що з того. Фільм «Тіні забутих предків» справжній шедевр мистецтва. Але ж ти не будеш заперечувати його тільки тому, що він був створений ще за тих часів?

ВІТАЛІЙ. Так то виключення з правил.

МАРКО. Ну то й це виключення з правил.

ГАЛИНА. Хлопці, тихо, ша! Скажіть лише, куди ви потрапили?

ВІТАЛІЙ. Ми з Марком вступили до добровольчого батальйону.

ГАЛИНА. І я буду у добровольчому батальйоні.

МАРКО. Ми записалися до Айдару.

ГАЛИНА. А я подалася в батальйон ОУН.

ВІТАЛІЙ. Галю, переходь до Айдару — там медиків не вистачає.

ГАЛИНА. У батальйоні ОУН вони теж потрібні. До того ж, там мої подруги.

ВІТАЛІЙ. А ми тобі що, хіба не друзі?

ГАЛИНА (*сміється*). Хлопці, даю обіцянку, що я вас не забуду.

ВІТАЛІЙ. Щастя, Галинко!

ГАЛИНА. Бувайте, хлопці! (*Галина, натягнувши наплічник, йде в одну сторону, а чоловіки — в іншу.*)

ГОЛОС: ЯВА ЧЕТВЕРТА. ЛУГАНЩИНА.

МІСТО ЩАСТЯ. ЧЕРВЕНЬ 2014 РОКУ

Віталій, Марко та Донець чистять зброю неподалік один від одного.

ДОНЕЦЬ. Хлопці, а ви собі які позивні взяли?

ВІТАЛІЙ. У мене псевдо — Сокіл. У Марка — Каштан. А ти — Донець?

ДОНЕЦЬ. Донець.

МАРКО. А чому?

ДОНЕЦЬ. Тутешній я. Луганчанин. Сіверський Донець — річка мого дитинства. Ось і взяв собі це псевдо.

МАРКО. Гарно солов'їною володієш.

ДОНЕЦЬ. Навчався у Києві, в Могилянці. Як почалася війна — одразу сюди. Санітаром.

ВІТАЛІЙ. А перев'язувати хоча б вмієш?

ДОНЕЦЬ. Не дрейф, мужики, я до Могилянки ще й встиг медичне закінчити.

ВІТАЛІЙ. Такі молоді, а вже все вміють і все встигають. Ну й покоління пішло! А я тільки два рази був жонатий...

МАРКО (*кричить*). Тривога! Червона ракета!

ВІТАЛІЙ. Усі бігом за мною.

Вибігають. Гримить бій: вибухи, постріли, лайки та крики.

МАРКО (*на авансцені*). Мій перший великий бій — за місто Щастя. Надійшла підмога броні з десантом, і наш командир умовила їх погнати на другий берег Сіверського Дінця. Ми добряче тоді погромили тиллові бази так званих ополченців, хоча й не мали такого наказу. Тоді за Щастя нам справді щастило. Обійшлося майже без втрат.

На інший бік авансцени виходить боєць Сокіл. Звуки бою стають ще гучнішими.

ВІТАЛІЙ (*на авансцені*). За три дні ворог спробували відбити Щастя. О п'ятій ранку нас підняли по тривозі. Доки доїхали, вже вирував бій. Навколо горять підбиті танки. Не зрозуміло, хто де: зв'язку нормального немає, рації не працюють. І почалося. Біля

мене вбиває одного бійця, потім іншого. То був найзапекліший бій. Ми перемогли, але з великими втратами.

Вечір. Тиша. Чути тільки, як потріскує вогонь у багатті, біля якого чатує санітар Донець. З двох сторін підходять Сокіл та Каштан. Втомлено сідають поруч.

МАРКО. Ти мені поясни, як це сталося?

ВІТАЛІЙ. Наші допустили помилку. Кинулася наздоганяти сепарів і в них «на хвості» заїхала чортзна-куди. А там москалі з протитанковими ракетами. Підбили нашу броню, і всіх взяли у кільце.

ДОНЕЦЬ (*ніби сам до себе*). Ну які ж люди дурні, які ж дурні ці люди. Кричать: «У нас трьохсотий!» Я, як ідіот, повзу під вогнем — а там повна каска мізків.

МАРКО. Донець, тихо будь! Сокіл, так що з ними потім сталося?

ВІТАЛІЙ. Кажуть, ніби всіх уцілілих узяли в полон.

МАРКО. Ковбої хренови! Якої мами треба було пертися в таку даль? Та й ще без прикриття.

ДОНЕЦЬ (*ніби знову сам до себе*). Ну які ж люди дурні, які ж вони дурні. Кричать: «У нас трьохсотий!» Я, як ідіот, повзу під вогнем, а там...

ВІТАЛІЙ. Боєць, Донець, відставити говорити. А ну швидко піднявся і пішов спати.

ДОНЕЦЬ. Спати?

ВІТАЛІЙ. Це — наказ!

ДОНЕЦЬ (*піднімається та йде*). Але які ж ці люди дурні, які ж вони дурні...

МАРКО. Це він ще в стані афекту. Молодий хлопець.

ВІТАЛІЙ. А в бою молодець, трьохсотих дай Боже з під вогню витягав.

МАРКО. Хороший хлопець, хоча ще теля телям. Якщо дах не поїде, то будуть з нього люди.

ВІТАЛІЙ. І край свій любить. Навіть позивний взяв — Донець. Слухай. Марко, а я знаю, чому у тебе позивний Каштан.

МАРКО. Чому?

ВІТАЛІЙ. Тому що ти втюхався в Гальку.

МАРКО. Та ну тебе!

ВІТАЛІЙ. А чому б і ні, Галя дуже навіть гарна дівчина. Я б і сам у неї закохався.

МАРКО. Так і закохуйся.

ВІТАЛІЙ. Так я ж жонатий!

МАРКО. Ну ти даєш? Ну так і я ж одружений!

ВІТАЛІЙ. Всі ми одружені. Але всі час від часу знову закохуємося. Така вже, брате, наша чоловіча природа.

МАРКО. Жіноча природа, скажу я тобі, не набагато відмінніша за чоловічу. Віталька, а чому ти взяв собі псевдо Сокіл?

ВІТАЛІЙ. Моя історія не настільки романтична, як у тебе. Був у мене знайомий із Сумщини. Григорій Король. Неймовірної сердечності чоловік. На жаль, перед самою війною у віці 77 років відійшов у інші світи.

МАРКО. Нам би до такого віку дожити.

ВІТАЛІЙ. У кожного свій вік. Так цей Григорій Король був настільки дивовижною людиною, що завдяки йому я навіть збірку своїх гуморесок видав. І назвав її «Королівське весілля».

МАРКО. «Королівське весілля», то, виходить, на честь того Короля.

ВІТАЛІЙ. Так, у тій збірці була розповідь і про весілля Григорія Короля.

МАРКО. Слухай, Соколе, то ти ще й письменник?

ВІТАЛІЙ. А ти думав, я тільки й міг, що на Майдані коктейлі Молотова кидати, а на війні з автоматом бігати. Я колись, аби ти знав, навіть працював у газеті «Гаківниця». Гарна була газета. Са-тирично-гумористична. Але що було, то загуло. Зараз інші часи.

МАРКО. А чому все ж таки позивний Сокіл узяв?

ВІТАЛІЙ. Була у того Григорія Короля улюблена пісня про со-кола. Тільки він міг її так сердечно співати. Ось тому то я й взяв собі псевдо — Сокіл.

МАРКО. А можеш заспівати? У тебе ж голос теж нівроку собі.

ВІТАЛІЙ. Та куди мені братися до Короля. Але, давай, спробую. *(Співає.)*

Ой з-за гір, з-за гір, вилітав сокіл,
А з-за хутора вилітало два.
А з-за хутора вилітало два.
Один одного братом назива.
Один одного братом назива.
Небо в нас одне й кров у нас одна.

ГОЛОС: ЯВА П'ЯТА. МІСТО ГОРЛІВКА.
ЖОВТЕНЬ 2015 РОКУ. СТРАТА.

Галина потрапляє в полон. У підвалі сидить разом із вчителькою, яка насправді є ополченкою.

Ранок. Двері зі скрипом відчиняє вартовий. Говорить з ка-вказьким акцентом: «Укропка, виходи, скоро к шайтану своєму пойдьош». Галина кидає цигарки Даньці: «Кури, землячка, во-ни мені більше не потрібні». Виходить. Данька закурює, потім піднімається, без проблем відчиняє двері та виходить.

Коридор. В одному кінці навколішках обличчям до стіни із зав'язаними очима та руками стоїть полонений боєць, в іншому — Басмач та Галина.

БАСМАЧ. Конвалія, тебе хотят твої поїметь (*хихікає*), вернее поменять. Но на обмен пойдьош только после того, как расстреляеш пленного укропа. Это майо правіло.

ГАЛИНА. А якщо я не погоджуся?

БАСМАЧ. Тогда умрьош ти. Пошли. (*Підводить її до полоненого. Дає в руки револьвер, а сам тримає біля її скроні свій пістолет.*) Тут всего одін патрон. Стреляй в затилок. Не бойся. Это всего лишь укроп.

ГОЛОС ГАЛИНИ. Якщо хтось говоритиме, що він міг думати в такі хвилини, він скаже неправду. В голові все закрутилося. Лише усвідомлюєш, що ти приречений, і що ти божеволієш. Потім просто перестаєш думати. Потім...

БАСМАЧ. Стреляй, бандеровка. Стреляй. Теперь я твой Бандера.

Галина з останніх сил робить крок вперед і стає навколішки поруч з бійцем. Басмач вириває в неї пістолет і насталяє на потилицю Галини.

БАСМАЧ. Ти хочеш умереть?

ГАЛИНА. Ти не Бандера. Ти — Басмач.

БАСМАЧ. Молчі, укропка. (*Стріляє в полоненого, який падає за мертво. Хапає обезсилену Галину і тягне за собою.*) *Еслі сейчас хоть пікнеш, я тебе размажу по одной стенке, а потом ещю раз размажу. По другой стенке.*

Затягує Галину до кабінету. Жбурляє в крісло.

БАСМАЧ. А теперь, красавіца, твое последнее желаніє.

ГАЛИНА. Навіщо ти, іроде, хлопця вбив?

БАСМАЧ. Это не желаніє. I это не я его убил. Это все должны знать. Говорі, есть желаніє?

ГАЛИНА. Так.

БАСМАЧ. Говорі?

ГАЛИНА. Відпусти вчительку, що в підвалі у вас сидить. Не калічте ще однієї дівки. Ви ж не хочете, аби так колись калічили ваших дітей?

БАСМАЧ (*спочатку довго сміється*). Не хочем. Поетому я виповняю твое последнее желаніє. На этой території.

Плескає в долоні і до кімнати заходить Данька. Вона у військовій формі, на якій красується нашивка ДНР.

БАСМАЧ. Как відішь, она свободна. Знакомся, ополченка Ромашка. Правая рука свірепого і страшного для всех укропов Басмача. *(До Даньки.)* Представляєшь, она просіла, чтобы я тебя отпустил. Ха-ха-ха!

ДАНЬКА *(підходить ближче)*. Я всьо за дверьми слыхала. Скажуть честно, даже удівлена. Не ожідала такого от... націков.

ГАЛИНА *(вражено)*. Офігеть, Данька, та ти просто курва надірвана. Горіти тобі, потворо, у вічному пеклі.

БАСМАЧ *(підскакує до Галини і б'є в обличчя)*. Молчать! Іначе прямо сечас заклею твой хавальнік скотчем. Поняла?! *(Ще раз б'є.)*

ДАНЬКА *(до Басмача)*. Басмач, не порть ей фізіонамію. Перед самім обменом ето не кстаті. Лучше скажі, она виполніла твойо условіє?

БАСМАЧ. У меня все всьо виполняют. Іначе я їх просто убівваю. Вот что, Ромашка, прямо сейчас отвезьош ейо на пропускной пункт. Там обміняеш на Гурона. Помні, Гурон — мой брат. Поетому всьо сделай очень акуратно.

ДАНЬКА. Ти знаєш. Я тебя не подведу.

ГАЛИНА. Басмач, не вбивай більше полонених. Адже у наших не тільки твій брат. Їх також можна обміняти.

БАСМАЧ. Умная? Смотри, чтобы сейчвс без языка не осталась. *(До Даньки)*. Іді. Но перед етім закройте ей пасть. *(Данька заклеює їй скотчем рот та виводить.)*

Дорога. З однієї сторони стоїть Сокіл з полоненим Гуронм. До іншої сторони Данька підводить Галину. Зриває скотч.

ДАНЬКА. Ждьом сігнала... І вот что ещьо, Галіна, валі ти лучше с этой войны. Сіді в свойом Кієве і жді, когда я приеду к тебе в гості.

ГАЛИНА. Ти при своему глузді?

ДАНЬКА. Когда наші танкі с флагами Новоросії поедут по Крещатику, ти вспомнішь мої слова.

ГАЛИНА. Господи, і у вас багато таких параноїків?!

ДАНЬКА. Я непременно буду в Кієве. І ми с тобой обязательно встретімся на Крещатіке. Ти знєшь хорошій ресторан на Крещатіке?

ГАЛИНА. Якщо ти і будєш в Кієві, то не на Хрещатику, а на Лук'янівці.

ДАНЬКА. А там что?

ГАЛИНА. В'язниця.

ДАНЬКА. Сігнал. Медлено ідьом вперьод. Прощавай, Конвалія.

ГАЛИНА. Рятуї свою грішну душу, Ромашка.

Полонених доводять до середини дороги та обмінюють. Сокіл веде Галину на безпечну відстань, а потім повертає до себе.

ВІТАЛІЙ. Галинко, ти пам'ятаєш мене? Це я, Віталька, Сокіл.
ГАЛИНА (*ніби щось згадуючи*). Сокіл, Віталька... Ріднесенький мій! (*З риданнями кидається йому на шию.*)

ГОЛОС: ЯВА ШОСТА. ГОСПІТАЛЬ В ІРПІНІ.
ТРАВЕНЬ 2016 РОКУ

Медсестра виводить Марка, який, накульгуючи, опирається на паличку.

МАРКО. Сестра, так до мене дорогі гості, чи хтось так собі прийшов?

МЕДСЕСТРА. Найдорожчі з найдорожчих. Зараз сам побачиш.

МАРКО. Ого! А хто саме?

МЕДСЕСТРА. Сюрприз.

МАРКО. Вмієш ти, сестричко, замакітрити голову.

МЕДСЕСТРА. А ось і сюрприз!

Виходять Віталій та Галина. Кидаються до Марка, обнімаються та цілуються.

МАРКО. Друзі! Віталька, Галинка! Як я радий вас бачити!

ГАЛИНА. Каштанчик ти наш гладесенький, а як ми раді тебе бачити.

ВІТАЛІЙ. Каштан, Конвалія. Навколо мене якийсь один ролінний світ.

ГАЛИНА. А тобі що, Соколе, треба?

ВІТАЛІЙ. А Соколу треба небо.

ГАЛИНА. Ага, було б тобі добре у небі, як би внизу не росли каштани та конвалії.

ВІТАЛІЙ. Погоджуюсь, без зеленої землі у небі таки самотньо.

ГАЛИНА. Ну то й спускайся хутчіш з неба на землю.

ВІТАЛІЙ. Спускаюся. І приступаю до головних своїх обов'язків.

Стає струнко перед Марком, якого під руку підтримує Галина.

ВІТАЛІЙ. Сержант Марко Мар'ян, вищим командуванням уповноважений вручити вам нагороду за виявлений героїзм та виняткову хоробрість під час боїв за Дебальцево. Вручається орден Ярослава Мудрого другого ступеня. (*Прикріплює до халата орден.*)

МАРКО. Перепрошую, але я рядовий.

ВІТАЛІЙ. Вже сержант.

МАРКО. А ти?

ВІТАЛІЙ. А я вже капітан.

МАРКО. Ого, скільки я пропустив.

ГАЛИНА. Марко, тобі важко стояти. Давайте присядемо.

МАРКО. Справді, ще не розходився. І особливо ліва нога сильно болять.

Сідають на лавочці. Віталій дістає газету.

ВІТАЛІЙ. Це ще не все. Ось ця газета, це друге моє доручення в сьогоднішній місії. Спершу назва. «Дев'ять куль і п'ятнадцять осколків дістали хірурги, оперуючи українського вояка».

ГОЛОС МАРКА (*ніби читає*): «Це ще було перед Дебальцевським котлом. Ворожі частини ніби покинули місто — відступили. Наш підрозділ мав перевірити цю інформацію. «Мерщій сідаємо в кузов «Уралу»», — скомандував командир, — і вперед. На вулицях справді жодної душі. Навколо руїни, понівечена техніка. Ніхто не стріляє. Проте якимось тривожно. Я — на кабіні з кулеметом. Командир запропонував підняти український прапор над будівлею держадміністрації. До неї залишалося якихось двісті метрів... І раптом із вікон сусідніх будинків шквал вогню. То була пастка».

ГОЛОС ВІТАЛІЯ: «Треба було негайно відступати: «Урал» мов на долоні. Будь-якої миті машина могла вибухнути. Боець за позичним Каштан стріляв безперестанку. Найголовніше, він намагався не дати ворогу добре прицілитися».

ГОЛОС МАРКА: «Раптом відчув різкий біль у руці. А потім ще і ще. Побачив кров і зрозумів — поранило».

ГОЛОС ВІТАЛІЯ: «Проте кулеметник не покинув своїєї позиції. Він зціпив зуби і шосили тис на спусковий гачок. Нам треба було будь що виїхати із зони обстрілу. Коли вже не міг стріляти, лежав поруч і подавав хлопцям набої».

МАРКО (*піднімає голову*). Все — начиталися. (*Згортає газету і кладе до кишень.*) Давайте про щось інше поговоримо.

ГАЛИНА. Зачекай, так у тебе справді тоді увійшло дев'ять куль і п'ятнадцять осколків?

МАРКО (*пробує жартувати*). Ну так в газеті пишуть.

ГАЛИНА. Так у тебе ж тіло мов решето... Як ти зумів вижити?

МАРКО. Добре, що був у бронезилеті. Тому й вижив. Інакше б, гаплик.

ВІТАЛІЙ. Ще й влучно стріляв. Завдяки йому в тому бою жоден з бійців не загинув. Проте, скажи, скільки можна ще на цьому курорті в Ірпені відлежуватися.

ГАЛИНА. Гарненький собі курорт, із купою металолому в тілі.

МАРКО. Та вже давно повиймали з мене ці залізяки. І все б нічого, як би не одна підла куля. Розтрощила, скотиняка, кістку ноги. Тепер маю мороку. Хочуть на реабілітацію до Німеччини відправити.

ВІТАЛІЙ. Я так і знав, що тобі вітчизняного курорту буде замало. Ще й за кордон намилився.

ГАЛИНА. Соколе, ну ти таке скажеш!

ВІТАЛІЙ. Та жартую я, звісно, жартую. Скучив за тобою, побратиме. Так що повертайся швидше.

МАРКО. Обов'язково, Соколе. Якщо, звісно, війна до цього не закінчиться.

ВІТАЛІЙ. А хрін коли вона закінчиться. Не хоче Путін йти з Донбасу та й годі. Хоч кілок йому на голові теши. До речі, на журналіста, що писав статтю, я страшенно розлючений. Бо він найголовнішого не написав.

ГАЛИНА. І чого ж він не написав?

ВІТАЛІЙ. Коли їхали до Дебальцево, у всіх нерви натягнулися, як струна. Ніхто ні пари з вуст. І тут Каштан говорить: «Хлопці, а чи знаєте ви, що на цій землі під Дебальцево народився славетний український поет Володимир Сосюра... І що він воював в армії Симона Петлюри... І що написав один із найкращих віршів про Україну «Любіть Україну». *(Декламує перший куплет, другий — Галина.)*

Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну...

ГОЛОС. ЯВА СЬОМА. 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ

Галина після звільнення з полону ще деякий час воювала, а потім після демобілізації її запросили працювати медиком в Австрії. Марко тривалий час ще лікувався, а після того як його комісували, осів в Ірпіні.

Спальня. Темрява. Марко та Галина розмовляють.

ГАЛИНА. Марко, з того часу, як ми не бачилися, минуло п'ять років

МАРКО. А ніби все це було вчора.

ГАЛИНА. А як на мене, минула ціла вічність.

Марко запалює нічник і піднімається з ліжка, одягає халат. Накульгуючи, підходить до вікна.

ГАЛИНА. Марко, тебе щось турбує.

МАРКО. Та ніби ні, але чомусь не спиться.

ГАЛИНА (*дивиться на годинник*). Четверта година ночі.

МАРКО (*все так біля вікна*). Або четверта година ранку. Скажи, як ти могла ось так взяти і зникнути на цілих п'ять років?

ГАЛИНА. Я завжди прагнула займатися наукою, а в Австрії для цього мені створили всі умови.

МАРКО. А заміж чому там не вийшла? Мала б зараз щасливу сім'ю.

ГАЛИНА (*пауза*). Марко, ми знаємо один одного дванадцять років, і за цей час у нас могло б бути купа дітей.

МАРКО. Могло б, якби мене спершу регіонали не кинули до в'язниці, якби ми з тобою не пішли на війну на Донбасі, і якби ти потім після звільнення з полону не поїхала б до Австрії. До речі, ти коли повернулася до України?

ГАЛИНА. 23 лютого 2022 року.

МАРКО. А сьогодні?

ГАЛИНА. 24 лютого 2022 року.

МАРКО. Як бачиш, для створення купи дітей обмаль часу.

ГАЛИНА. Які ж ми з тобою непрактичні. І чомусь дуже часто згадую Кет — вона мріяла мати хлопчика і дівчинку...

МАРКО. Це та, яка загинула під Маріуполем?

ГАЛИНА. Так, саме та. Вона не одного 300-того врятувала тоді під Маріуполем. А себе — ні!

МАРКО. Славне було дівча...

Враз один за одним почувся шум літаків, ракет, а потім і вибух за вибухом.

ГАЛИНА (*зривається з ліжка, пригортаючись до Марка*). Марко, це війна?!

МАРКО (*прислуховується*). Неподалік аеропорт Гостомель. Здається, саме його якраз і бомблять.

ГАЛИНА. Марко, скажи мені, це знову війна?

МАРКО. Так, Галинко, тепер це вже скрізь війна.

Виходить. Галина нашвидкуруч приводить себе в порядок, час від часу озираючись на вікно, звідки долинають вибухи. Заходить вбраний в офіцерську форму Марко.

ГАЛИНА (*обіймає його*). Мій красень!

МАРКО. Незрівнянна! (*Цілуються*.) Проте, красуне, маю йти..

ГАЛИНА. Куди?

МАРКО. До військомату.

ГАЛИНА. Ранок. Вони ж ще не відкрилися. Зачекаємо годинку-другу. А поки, може, передзвони Віталію Краснюку.

МАРКО. Сокіл — кадровий офіцер. Він перший, хто зараз зустрічає цю рашистську орду. Тому Віталію зараз не до нас.

ГАЛИНА. А ти?! Марко, ти ж не зможеш бігати з такою хворою ногою. А це — війна.

МАРКО. Бігати — так, складно, а автомат триматиму. А ти, може, повернешся до Австрії?

ГАЛИНА. Повернуся, але туди, де знайшла свій спочинок наша Кет, і де й досі на передовій моя подруга Катрін.

МАРКО. Там зараз буде справжнє пекло, орки вдарять по Маріуполю всією армадою.

ГАЛИНА. Я знаю.

МАРКО. І все одно...

ГАЛИНА. Так, Марко, до Маріуполя.

Пригортаються одне до одного. Затемнення, на горі одна за одну починають загоратися ліхтарики-зірочки, ніби свічечки в піднебесному склепінні.

ЕПІЛОГ

Чути зумер телефонного дзвінка, Марко бере трубку.

ГАЛИНА. Алло, Каштан. Ти мене чуєш?

МАРКО. Конваліє, як можна не почути твій сріблястий голос. Навіть з потойбіччя пізнаю його.

ГАЛИНА. Не говори так. Мені наснився Сокіл! Ти щось знаєш про нього?

МАРКО. Ні. Але ж тобі відомо, що він в особливих військах. І який то був сон?

ГАЛИНА. Рівне поле, яке перетинає тоненька лісосмуга. Підрозділу Сокола доручили зупинити колону рашистських танків. Наших п'ятеро. Вони виконали завдання, замінувавши дорогу. Однак машину з усією зброєю, яку вони залишили у лісосмузі, помітили танки і відкрили по ній вогонь.

МАРКО. Влучили?!

ГАЛИНА. Так. Машина вибухнула. Сокіл наказав усім відступати до села, що було неподалік.

МАРКО. Відступили.

ГАЛИНА. Ні. Навперейми їм вийшла ворожа ДРГ у складі десяти чоловік.

МАРКО. Далі.

ГАЛИНА. Зав'язався бій. Хлопці відстрілювались з автоматів. І коли орки побачили, що їм наших не здолати, направили на них танки...

МАРКО. Далі.

ГАЛИНА. Далі я прокинулась.

МАРКО. Мені теж снився Віталька. Ніби високо в небі парить Сокіл. Я йому й кажу: «А коли ж ти, друже, опустишся на землю?». А Сокіл мені відповідає, що відтепер його домівкою буде тільки небо.

ГАЛИНА. Марко, невже наш Віталька, наш Сокіл загинув?

МАРКО. Віталька фартовий. За стільки років війни на Донбасі жодної подряпини, лише одна контузія. Він не міг загинути.

ГАЛИНА. То ми знову зберемо усі разом після Перемоги?

МАРКО. Так, Галинко, і поїдемо до Сокола у його рідне село Ташань, де він усіх нас почастиє наливкою зі свого саду.

ГАЛИНА. Каштане, ти кажеш правду?

МАРКО. Так, Конваліє, тільки бережи себе. Обіцяєш?

ГАЛИНА. Обіцяю...

Звучить пісня «Пливе кача».

ГОЛОС.

Галина КАШТАН (позивний КОНВАЛІЯ) пропала безвісти під час оборони мариуполя.

МАРКО МАР'ЯН (позивний КАШТАН) отримав важке поранення в боях за Макарів, направлений на лікування за кордон.

ВІТАЛІЙ КРАСНЮК (позивний СОКІЛ) 10 березня 2022 року у запеклому бою з колоною танків РФ загинув на Чернігівщині в районі села Новий Биков. Вже посмертно Віталію Краснюку присвоєно звання майора.

Вічна слава героям України!!!

Завіса

Римма МАРКОВА

/ Стокгольм /



Из цикла «Как жить теперь?»

* * *

А там, на облаках,
среди вечной синевы
гуляют те, чей прах
оплакиваем мы.

И видят без прикрас
все наши «чудеса»
И так жалеют нас,
что плачут небеса.

* * *

Бессонница. Горят пшеничные поля.
Я список городов перечитать не в силах:
Чернигов, Буча, Луцк... Расколота земля.
Фанерные кресты на временных могилах.

Как журавлиный клин с обугленным крылом
пикирует в поля среди пепельной метели,
где ржавый БТР несется напролом,
сметая и давя все, что в его прицеле...

К чему здесь Мандельштам, тем более Гомер?
Ты видишь, города по Украине тлеют.
Кружится, как волчок, подбитый БТР.
Лишь ненависть одна в пожаре уцелеет.

* * *

Убогие дети убогих окраин,
российские пасынки в Тмутаракани,
несущие гибель себе и другим
с отчаянным лозунгом: «Мы повторим!»

Средь грязного блуда, средь пьяного бреда
салютом им вспыхнуло слово «Победа».
За праздничным словом, знакомым со школы,
пошли они в даль строевым и тяжелым.

Ведь трудно осмыслить пустой голове,
что ляжет костями на соседской траве.
Счастливики те, что вернутся домой
с пустым рукавом и штаниной пустой.

Андрій БУЛЬБЕНКО Марта КАЙДАНОВСЬКА

/ Київ /

СИДИ Й ДИВИСЬ

Наш Продукт характеризувано винятковою надійністю у сполученні з простою збирання, яка є доступним Вашому дитині. Не рекомендовано збирати дітей молодше 10 років! Деякі деталі можуть зіпсувати Вашого дитину, зокрема втулки та шурупи можуть випадково ковтнути. Більш молодих дитлахів рекомендовано залучити через ваші пояснення. Збирання Продукту всієї родини може бути рекомендовано як доброзичлива терапія від дозвілля, що зміцнить єдність Вашої родини під головою дорослого.

(З інструкції по збиранню дитячого двох'ярусного ліжка «Гніздо Фенікса F24»)

Від соавтора

З Мартою ми бачилися в мотелі «Час Відпочити». (Вона казала не «відпочити», а «почити» — без згаслих літер.) Пам'ятаю першу появу її родини: сірій джип коло входу, торбані гори — і оте скептичне:

— Те-екс. Мотель «Час почити»?

Родина Кайдановських провела тут щонайменше тиждень, чекаючи на паузу в обстрілах Руби-Коня. Паузи не було, й вони спробували їхати. Перед виїздом Марта піднесла мені два конверти:

— Отже. То ясно, що я вам без варіантів пишу чи там дзвону, коли вже будемо на місці. Тобто можна не марнувати слів і не казати мені оце: «Марто... ну ти ж пиши... коли ви...»

— Гаразд, не буду.

— Не перебивайте! Отже. Я напишу... але. Коли я вам через тиждень НЕ пишу (вона скривилася на цьому «не»). Коли я НЕ дзвону, НЕ повідомляю, що все в нормі і... То аж тоді ви відкриваєте першого конверта. Через тиждень, окей?

- Окей. Коли ти НЕ пишеш.
- Так. Коли я НЕ пишу.
- А коли пишеш?
- А коли пишу? Ну-у, тоді... Тоді я скажу вам, що робити. Ну, напишу тобто. Чекайте на інструкції!
- Домовились. А другий конверт?
- А другий... (Марта чомусь озирнулася). Другий — все те ж саме. Але тільки через місяць.
- Тобто? Мені чекати цілий місяць, і якщо...
- Так.
- Все буде добре, — сказав я те, чого можна було б і не казати. — Тисячі людей спокійно виїжджають, десятки тисяч... Чи не сотні.
- Угу. Виїжджають. Це точно. Так що не дуже, не дуже у вас багато шансів дізнатися, що там, в отих моїх конвертах.
- А що там, в отих твоїх конвертах?
- Марта знов озирнулася.
- Там я, — мовила вона. И зробила крок назад.
- Ти?
- Я. Ну, й не тільки. Я і все моє. І всі ми. Тож побачите. Чи не побачите. Ну... піду вже?
- Куди «піду»?
- Туди. «Піду» значить «піду». Бувайте. Ну, тобто вже час. Їхати час. Наші сидять, на мене чекають. Тож... з вами була ваша Мартишка в цьому нереальному захоплюючому інтерактивному... угу? Всьо, я пішов.
- І вона пішла.

Минув тиждень, і я розкрив конверт із цифрою «1». Чи то папір був такої якості, чи як, але конверт узяв і луснув просто в мене у руках, і все розлетілося шелесливою зграйкою по підвалу. Хвилин десять я збирав м'яті листки там і тут, і ще потім знаходив їх під трубами й за плінтусом. Усього зібрав чотирнадцять штук (не знаю, чи всі відшукав). Таке було враження, що вони давно вже дерлися на волю, і конверт просто не витримав напруги.

Це була якась кумедна китайська інструкція з кресленнями, схемами і таким іншим. Я не одразу втямив, що справа не в ній, а в кривуватих нотатках, якими були ісписані всі листки з того боку (а деякі і з цього). Марта просто користувалася ними як блокнотом. Намагаючись розкласти їх, я з'ясував, що вони не пронумеровані. Весь Мартин рукопис перетасувався як колода карт. Я спробував відновити порядок, орієнтуючись за розділами інструкції, але заплутався й плюнув на це діло. Нотатки наповзали одне на одного таким собі листовим тістечком — впереміш з орнаментами та чийось пиками; іноді вони безсоромно видиралися на друковані рядки, і тоді виходило щось на зразок палімпсесту.

Крім нотаток, там іще були дві карти пам'яті. Я ледь не викинув їх разом із конвертом (вони забилися по кутках). Одну Марта, мабуть, витягла з відеореєстратора, другу зі свого телефону.

Всю ніч я читав її нотатки, переглядав її відео та міркував, що ж із цим усім робити.

І ще думав про тисяча й одну причину не писати мені. Наприклад, згубити телефона — це ж легко. Це ж запросто. В тисняві на кордоні, де юрби біженців. Або в машині. Або — або не згубити, а просто його вкрали. Чи забула. Тобто забула про мене в отому своєму новому житті, до якого спробуй ще й пристосуйся (не кажучи вже про «звикни»). Руби-Кінь як жомбили, так і бомблять, — але ж багатьом вдається виїхати. Тисячам, десяткам тисяч. Чи не сотням.

Тож шанси все одно на користь сірого джипу та його пасажири.

І, крім того, в мене ще є другий конверт. І з ним бонусні три тижні.

А поки що займуся першим, вирішив я. Бо люди мають знати. Оцю історію, звичайну й пересічну для тих місцин, де колись стояли затишні будинки, а тепер гуляє вітер, — її мають знати люди, що й досі живуть в затишних будинках і аж ніяк, звісно, в тому не винні. Просто вони мають знати. Гадаю, Марта й сама хотіла цього, бо навіть вона піднесла мені свої конверти?

Певно, змішаю її нотатки з відеороліками, приправлю китайською інструкцією (як без неї) та подам цей вінегрет від лица самої Марти — аби саме воно було на виду, а не моя бородата фізія. Порядок візьму той, що вийшов сам собою, коли всі листки склалися у стопку. Гадаю, трьох тижнів мені якраз і вистачить. За той час Марта, мабуть, згадає й напише.

Або не згадає й не напише. І тоді перший конверт зімкнеться із другим.

Або так, або сяк.

Головне — не надто сильно хотіти взнати, що ж там у другому.

А. Більбенко
мотель «Час Відпочити»
шістдесят дев'яте лютого ...2 року

ЛИСТОК ПЕРШИЙ

*про банку шпротів
та як туди впихнути тріо*

Для встановлення Деталі №2 потребує додатково порожнє місце. Якщо всі кріплення використовані, ви не можете установляти деталю.

(З інструкції)

- Якого біса? От ти мені скажи, якого?
- Шо?
- Капшо! Казали тобі як людині!

(Не казали як людині, а горлали як людині. Це коли бути точним.)

- А?
- Бе! Якого ти сюди звернув? От якого? Чому не слухаєш нікого й нікол...
- Бня-бня-бня-бня! — раптом забнякав діда. Це він бабусю так кривляє. — Бня-бня-бня! Е-те-те-те-те! От помело дурне! Так і меле, так і меле!
- Рота свого закрий!
- Може, досить вам? — підключилися усі. — Та не чіпай ти їх... Ба, ти забула, що діда в нас глухий і недочуває? Ну скільки ж можна? Е-те-те!

Це вони одночасно (а як же ж). Мама, тато й Тонконоге. І бабуса. І дід.

- Кукуємо тепер у пробці через тебе!
- Якби ж якось назад...
- Е-те-те-те!
- Глухий він, еге. На голову глухий...
- Досить! Повісьтеся з вами...
- Бня-бня-бня-бня!
- Так він же ж навмисне! Йому кажеш, а він навмисне!
- А не можна так зробити, щоб у нього теж був навігатор?

Хочу еодору. Нормальну таку. Не як у мене, а нормальну. Справді нормальну, щоб коли показати комусь... чи ні. Еодору не показують аби кому. На те вона й еодора.

Але коли все ж показати її, як Ада мені тоді показала... хоч вона і не второпала нічогісінько. І в мене теж тупа моя еодора, просто тупа та й все...

- Але ж бувають люди, в яких вона не тупа?
- Чи ні?

— ...тишко! Мартишко!

О. Починається.

- В астралі уся?
- Татова доця!
- Якщо Мартишка — татова доця, то тато в неї хто? Мартиш!

— Гей, Марто, ау! Ти з нами чи ти де?

Подивитись отако на них на всіх.

Чи навіть отако. Аби зразу все дійшло. Хоча не знаю, що там до них дійде...

— Тебе що, нудить? Убовтало?

— Її убовтало!

— Дідууу! Мартиху убовтало, вона зараз навекає!

— Не чуєш, ні? За дурості твоєї дитині погано!

— Мартишці погано!

— Тільки не на мене, не на мене-е-е!

От дурдом.

Що характерно, версія про «убовтало» навіть не перевіряється. Жодних сумнівів у своїй правоті, ну просто жодних.

Нехай вже мокре місце, ніж так.

— Потерпи трохи, Мартишк. Я все розумію. (Татов ексклюзив — спроба погладити мене по голівці. Незабутні відчуття гарантовано.) Ну чого ти смикаєшся, ну чого? Ну пробка, ну так. Нервують усі. Дідусь твій знов недочув і звернув... куди звернув, туди й звернув, одним словом. Ну то й що тепер, всім лягти і самовбитися?

А це варіант, думаю. Чи навіть кажу.

— Так вона ще й говорити вміє! — нудить Тонконоге. — Наша Мартишка говорити вміє!

Зар-раза. І без неї здохнути тягне, а воно пельку роззяває, ходи-но сюди, нахабо, мурло мале, ходи-ходи, а ну в очі дивись мені...

— Так, заспокоїлись обидві! Марто, не соромно? Ти ж старша!

— А вам не соромно?

Ще й плямкають. Чіпси з креветками, неабищо. Хоч би пригостили.

— Так ми тобі кричимо-кричимо, а ти зависла, не чуєш...

— Мартиха в астралі!

— На, тримай осьо і виходь до нас. Пепсі хоч?

Не треба мені їхні чіпси. І пепсі не треба... хоча пару ковточків і не завадило б. Організм потребує води.

— Е, ти так усе видудлиш! Ма, вона усе видудлить! Ба, вона усе видудлить!

— Та тихо ти, жадного! Сиди й... і читай свого Людвіга.

— Не тре їй читати на ходу! Убовтає дитину...

— На якому такому «на ходу»? — без посмішки мовить тато. — Ви десь помітили якийсь «хід»? От у цій пробці, де все стоїть мертвим болотом?

Цікаво, що бабуся відповість на таке.

Взагалі вона любить татові щось відповідати. Що-небудь, аби одразу було все ясно. Але виходить навпаки: всім все ясно про неї, а не про тата.

Ти диви, нічого не відповіла. Мовчить. Тупо втомлена, може. І я втомлена. І всі втомлені, крім оцієї осьо, яка ніколи не втомлюється, геть ніколи, термоядерні батарейки бо в неї. В тому самому місці, де мізки, і це, на жаль, не голова. Ну дайте, дайте людині вже втупитися в свого Людвіга, аби хоч трішечки була тиша...

О. Нарешті. Хвала тобі, Ян Екхольм. Тупа в тебе казка про тупого Людвіга¹, але на даний момент я тобі вдячна. Навіть щось тупе дає користь, коли робиться громоводом чогось іще тупішого. (Ай, Марто, ай-яй-яй, Мартишко, будеш отако про сестру — і буде тобі від внутрішнього голосу атата. Від того, який сумління.) Гаразд-гаразд: гарненьке Тонконоге, розумне, чудовісіньке й жодного разу не тупе. Галасливе трохи, але в цілому не гірший з варіантів.

А Людвіг тупий. Отут вже ніякий внутрішній голос нічого не поробить із цим фактом. Сам Людвіг, може, й не надто тупий, але кінець у нього точно тупіше не буває: про оцю дружбу лис із курями. Від такого кінця аж за кілометр смердить ванількою для дітлашків, котрі мають вірити в світлу перемогу, блін, добра над злом. Книжковий сиропчик, якого насъорбаєшся — і потім вдвічі дужче болітиме, коли вріже тобі тим, яке воно все насправді...

— О, наче поїхали, — мурмоче ма.

— Еге, — кажу. — «Поїхали». Це точно.

І ржу. Про себе, звісно ж. Хоча й реально смішно: повземо наче в таймлапсі. Чи як вздрючений тарган: перебіжечками по півметри. І час теж перебіжечками: вснув, прокинувся, рушив уперед, знову вснув, знову прокинувся. Ще й оцей мегапакунок бавовни, що його бабуся пхнула до машини, падає в сотий раз на маму, жбурляється назад, знов падає, знов жбурляється...

¹ «Тутта Карлсон перша і єдина, Людвіг Чотирнадцятий та інші» — казка шведського письменника Яна Екхольма (прим. А.Б.).

Такий смугастий час. Зеброчас. Прикольний був би хештег: *#зеброчас*. Це коли по-тарганськи, як от зараз. А коли наглухо в пробці — тоді який час? *#глухочас?* *#мертвочас?* Чи взагалі *#безчас?* Таке відчуття, що його геть вимикають, коли пробка. І простір теж вимикають.

#вакуумпробки #чорнадірапробки

— Ну куди ти рулиш? Ну куди?

О божечки.

— Е-те-те-те! Оно там вже їдуть, не бачиш? В лівому ряду! А ми тут повземо!

— То що тепер, їхати туди прямо по кістах? Ну що ж ти ро...

— Просто діда схотів нас вбити, — ляпає Тонконоге, коли всі припинили гавкатися. — Щоб ми були мокре місце...

Коли стулити вуха, то бабусина лайка наче зі старих навушників. Трохи крипова, трохи смішна. Інших практично й не чути, крім, звісно ж, Тонконогого, її голосина завжди цвяшком у черепі. Довго з затуленими не посидиш, діда смикає весь час, до лівої смуги хоче, а коліна в тата наче ворота. Спробуй посидь не тримаючись на скажених воротах, які хочуть до лівої смуги. Щоправда, ворота самі тримають тебе своїми лапенціями — там, де дівчат не тримають взагалі-но. Особливо коли дівчата, скажімо так, трохи змінюються...

Все. Руки затекли. Хоч і добре зі стуленими вухами, але...

— Чого ти на мене гавкаєш? — раптом визвірився дід у вікно. — Гавкало дурне! Ти в іншому ряду, я не чіпаю те...

— Що з тобою? — загримала на нього вся машина. — Він просто сказав «привіт!» Привітав тебе, глуху тетерю! Він сказав «привіт», альо! А ти взяв і образив людину!

— Те-те-те-те! А можна іще голосніше? Бо я недочуваю! — з сарказмом причитав дід.

— Вибачте! — випхнулася у вікно ма. Майже подвиг: між нею та вікном цілий торбяний Азкабан. — Він недочуває! Вибачте його, будь ласка!

Е, ну дайте ж подивиться. Ма, ну дай подивиться, хто там такий привітний. Мала, бошку прийми!..

— ...везунчики! — почулося з вікна. — Бог мандрів любить вас! Щасливої дороги!

— І вам! — крикнула ма, і ми також заверещали — «і вя-а-ам!»

Привітна машина відповзла — ми обігнали її, — але я встигла все роздивитись. У вікнах такі ж торбяні Азкабани, як і в нас, і впереміш із ними голови, дитячі та дорослі. На нас поглядають. Шкода — не розібралася, хто там за тими Азкабанами, дівчата чи пацани, і довго визирала на лобове скло з наклейкою «ДІТИ». Біля самої наклейки — кілька дірочок, і від них павутиння тріщин, наче на скло видерлися павуки-привиди.

Попереду, певно, батьки. Не старі, як ото мої, і голови забинтовані. Аварія?..

Від якої аварії бувають дірочки на склі?

— Така ж банка шпротів, як і в нас! — хихотів діда. Це він любить: щойно лаявся, і вже хі-хі. — Битком набито! І торби там, і діввора, і шо хоч! Я думав, тільки ви так вмієте.

— Ти краще на дорогу дивись, а не думай!

— Мартишк, ти скоро без ноги лишиш мене, — сказав тато, і я відлипла від маминого вікна. Бідолашний тато, котрий моє крісловорота. І бідолашна я. *#бідолашніми*

— Шпроти, — регоче мала. — Я манюсінський шпроти, ти велика жирна шпротина. (Під ніс мені совається татов кулак. Скоря сімейна допомога, еге ж.) Ма, а як будуть мальки шпротів? Шпротенята?

— Шпротюгани, — кажу сама собі.

— То вредні підлітки шпротів!

— Тоді шпротівні шпротівні... та-ат! Чому мені кулак, не йй? «Бо ти старша» знов?

— А в них все так само, — голосно каже ма. Тіпа на своїй хвилі. — Теж торби, теж спиногрізів повне авто, теж... («ну як не соромно отак про дітей?» — «а ти мене не вчи, мам. Зосередься на баті») ...теж усе отаке от...

#отакеот

— Ціла хата в машині, — підключився тато. («Не треба мені твого хамства...» — «мам, трохи відпочинь, добре?») — Зі сходу їдуть. Щойно читав — знов не випускають, б'ють прицільно по автівках. Бачила ж? — у них на склі?

— Не треба при дітях. («А що таке? Що я, при дітях вже не можу й зауваження?..» — «Мам, та ми взагалі не про тебе...»)

#нетребапрідітях

Я відвернулася до вікна. Тепер мене наче й нема, тож і не при дітях вже. (Тонконоге не рахується, воно все рівно скрізь лізе.)

Дорослі лаялись, лаялись, а я знову стулила вуха (руки відпочили і вже можна). Вони лаялись, а я визирала у вікно. Там було узбіччя зі снігом і всяким бує.

І ми не їхали вздовж нього, а повзли. Нас пішки обігнав якийсь дядько, от взяв і пройшов повз нас, наче ми не рухаємось, а тупо стоїмо на місці. #перегонизпішоходом Навіть принизливо якось, ну дякую, ну не можна ж так...

#нунеможнажтак

І тут я їх побачила.

Тобто її. І вже в ній — їх. Аж ціле трійко.

І мале так само побачило, от же ж. Вічно туди, куди й я, пнеться. Пильнує.

— МАЦУЦИКИ!!! — встромився вереск мені у вухо. — ЦУЦИКИ-МА!!! Тат! Мам! Цуцики!

Бо там і справді була ціла будка із цуциками. Цілісеньке тріо цуців. Мордатих, зовсім масіх і таких, що аж прикро. Не від них прикро, а не знаю. Прикро, що отакі вони — і тут, у цьому всьому.

— Ну чого так кричати, Тонь, ну що ти там вже знов нафантазу... уїїі! Утібозімій! — мама вийшла з астралу. — Ой, Март, Мартишк, ти бачила? Ти бачила?!

— Мартишки все бачать, — хотіла сказати я. Але не сказалося чомусь, а верескнулося, як у Тоньки, от нерви дурнуваті, хоч це й не нерви, а просто такі цуци, що тримайте мене, бо не можна, не можна ж такими бути, не винувата ж я, що вони такі. І навіть бабуся встромила своє:

— Манюні всі гарнюні.

І тут ми зупинились.

І я подумала, що саме через це ми й зупинились. Бо цуцики. Аж ціле тріо.

Просто на узбіччі.

І почала відчиняти двері й виходити туди до них.

І мала підгледіла, що я виходжу, і теж полізла через тата.

І саме в цей момент діда газонув.

Він не сильно газонув, так, по-тарганському, і я майже не випала — тато втримав, показав реакцію, — але все одно я верещала, і тато верещав, і всі верещали, і гучніше за всіх Тонконоге, як завжди:

— КУДИЛІЗЕШЗГЛУЗДУЗ'ІХАЛАЧОМУЇДЕМОЕЕЕ!!!

Чого?

От чого в мене сім'я психів?

Чого у всіх нормальні, а в мене отаке? Чого як подумаєш, наче вони нормальні і роблять щось нормальне — так одразу кувалдою по рогах: НІ!!! ПСИХИ!!! А ти губу розкотила, еге? Розслабилася?

Повірила, що вперше в житті буде не психовано, а як у людей? Повірила, що діда зупинив, аби тобі цуцики, і прям зараз ти прям до них, і потім вони до тебе і, може...

— ...Ну подумай, Мартишко! Ну хоч трохи, бо не можна бути такою!

— ...І не треба до них лізти! Просто сиди й дивись.

— ...Ну яке «зупинив»?! Не бачиш — воно сплошняком іде? Всі поїхали — і ми поїхали, всі стали — і ми стали. Як всі, так і ми. Поіншому не вийде, Мартишко, невже не...

— ...Яке «візьмемо з собою»?! Ти чим думаєш взагалі? От куди? От сюди ось, прям от сюди, ось у це усе — іще й цуценята? І так ми на голові одне в одного, плюс сто торбів на горбі — і ще тобі оці? Шоб вони тут нам оцей?

— ...Тільки про себе й думаєш! А про твариночок подумала? Як вони у тісноті, у духоті такій?

— ...Тонько, не вий, бо матимеш у мене!

— ...От гомонить молодняк! А ти чогу мовчуна даєш, стара? Га? Давай, як ото завжди: е-те-те-те! Га? Цуцики? Які цуцики?..

Знов стоїмо. Будка вже десь там, за кілометр чи за десять. А ми тут.

Метр на метр на півтора, і в них шість осіб... тобто п'ять з половиною, бо оце горласте на особу й не тягне. І торби. Стопіцот фігліонів торбів.

Стоїмо. І всьо чотко, еге. Все правильно й чотко виходить у них... як завжди.

#всеякзавжди

Бо — ну так, куди б ми взяли тих цуців?

І — так, як би ми зупинились?

І — так, тре було думати. Не тупити тре було.

#требуло

І стоїмо. Мовчимо. Усі задовбались гав-гав, усі мовчать. Тато у своїх новинах. Тонька друшляє. Бабуся друшляє. Час друшляє.

#часдрушляє

Опаньки. Рушили.

Так?

Наче так. Знов по-тарганському, знов по півметри?

Ні. Наче їдемо більш-менш.

Точно їдемо. Навіть прискорюємось.

Вже зовсім нормально їдемо. Не як у пробці, а нормально.

І звідки там ті цуци?.. До найближчого житла фігдесять кілометрів, а тут будка. І цуци. Мордаті такі. Не лізте, не лізте до нас у ма-

шину, не треба, ще бабуся вас отої, і мама, і... Ну куди ви крізь скло? Ну куди? Воно тверде все ж таки, і не треба, не треба вдавати, наче ви...

От як це: зранку до цуциків їхали сто років, а тут від цуциків до вечора долетіли за одну секунду?

Дивна штука — час. *#дивнийчас* То він зебра, то взагалі вщухає, то летить, наче потяг Синкансен. Чи застрягає назавжди у лютому. Яке вже сьогодні лютого? Тридцять третє?.. Чи навіть хтось вирізає з нього шматки. Хопа — і вирізав скільки-но там годин.

От би вирізати отак оце все. Хопа — і вже нема війни, і всі жи-ві, і ура-ура.

Хоча ні. Хтозна, що там, у тому вирізаному. Можливі сюрпризи. Так хоча б спостерігаєш, бачиш усе і можеш щось змінити.

Чи ні?

Принаймні оцей тупий прихисток, куди ми на ніч приїхали, точно б вирізати. Знов сьогодні спати на підлозі, знов у куртці і знов з отією під боком, бо замало матраців. Знову, знову, все знову. А поки слідкуй за нею тут, на цій тупій парковці. Бо мама-тато пішли домовлятися, а діда пішов тягнути з водіїв новини, а бабуся пішла...

— Диви, Мартих, диви! Це вони! Це вони, Мартих!

Верещить й тицяє пальцем.

Хто «вони»? Чого б оце верещати? ще й біжить світ за очі, під самісінькі машини... стій, заразо, я тобі сестра чи хто?

А там... а там оці повискують. І хлоп дверима, і голоси, і серед них привітний, отой самий:

— Драсьті! А ти хто? Кого ваш діда образив?! Мене-е?! Ну що ти таке говориш! Угу, угу, підібрали. Що ж ми їх, кинемо, чи що. Хтось вивіз отак конурою, дякувати вже — не втопив. Зараз багато хто тваринок кидає, бо... Ну, якось влізли, не знаю. Ну так, виходить, тепер наші. Й гадки не маю, пустять із ними через Руби-Кінь, не пустять... Звісно, можна погладити. Наші їх вже гладили-перегладили, геть засмикали...

— Мартих! Давай сюди! Давай ми їх гладитимемо! Бо вони такі! Такі-і-і!

Та йди ти.

Ідть ви всі. У сортир по гімнотрубах і ще далі. І не чіпайте мене. Верещіть, психуйте, казяться, гладьте своїх цуців чи давіть їх катком, як хочте, валяйте з них цуценячі фрикадельки, жеріть їх сирими, тільки відвалить від мене усі! Вимкніть мене, невидимою зробіть чи видалить нафіг, бо не хочу я з вами, не могу я, коли таке, коли отак соромно і...

Чи погладити?

ЛИСТОК ДРУГИЙ

про дівчину в білому
та про суцільний бонжур

Маєте сенс для переконання, що парні лінії збігаються, а капелюшки з конфірмати №4 добряче сидять в собі та не псують естетики милування.

(З інструкції)

#нетуди

Коли дід рулює не туди — чорти цокаються у пеклі.

Або ж ні, не цокаються. Не цокаються, а тупо собі нудьгують. Кивнуть одне одному — «авжеж, наша людина», ще й позіхнуть раз-другий. І тоді вже на повну врубають пробку.

— Ма-а-а! Ну ма-а-а! Мене зараз зну-удить!

Просто не туди — це ще не пекло. Ну повернули, ну покричали, ну переконали діда, що ми хоч і дурний молодняк, але простіше під нас прогнутись, — от і все. І рулюємо собі назад.

А тут — смикайся у цьому «не туди», аж доки сам не занетудішаєш до самісіньких кісток...

— Тонь! Мене теж знудить... від тебе. Всі терплять — і ти терпи. Читай свого Людвіга.

Якщо просто пробка — це вже пекло, то пробка не туди... О-о. То вам пекло не просте, то пекло подвійне. Із хріном, імбиром та перцем чілі. І з мускусом, бо ми тхнемо усі, а відкрити вікно — то зась: дітлахи ж носа відморозять.

Ну, тобто бабуся так подумає і заведеться.

— Клав Семенівно, давайте все ж відкриємо, а?

— Ну ти диви на нього! А про дітей подумав? Про дітей, не про себе, га? У Тонічки оно соплюхи були...

— Е-те-те-те! — увімкнувся діда. — Так і меле, так і меле!

— Пельку стули! Час вже, молоді люди, знаєте, вчитися думати не тільки про себе...

— Досить! — підскочила мама з Тонькою на руках. — Досить! Починається!

#починається

Отак взяти просто й вийти. От просто взяти і вийти звідсіля. Смішно навіть: відкрила двері, вийшла — і все. Й без того висимо в

цій пробці, наче ми глючне відео, і провисимо в ній ще фігзна скільки. І знов до когось не доїде швидка, і знов хтось не народиться, і знов, і знов...

Чи просто нас тут всіх накриє, як то казали в татових новинах. І буде велике мокре місце. Люди виходять, до речі, розминаються, весь час бачу на узбіччі когось. А нам чого не можна?

І тут щось в мені коротнуло, і я сама не втупила, як воно сталося... але так, я вийшла. Вийшла!.. І наступна мить була вже не задушною машинною, татовоколінною, а білою й дикою від снігу, простору й повітря, яке, по-перше, просто в тебе є, по-друге, в ньому тонутися можна, захлинатися, плавати в ньому як в океані...

— Куди!.. Хто дозволив?.. Ма, я теж хочу!.. А ну назад!.. Нехай і справді... У мене вона так себе не веде!.. Бня-бня-бня... — долітало звідти, з духоти. Долітало й тхнуло болотом, і я відпливла, аби мене не всмоктало назад.

Довкола були поле й небо. І пробка. Все безкінечне. Десь бакхало — ледь чути, не так, як у нас, — наче хтось з-під землі стука. Далеко й обережно.

Промайнула остогидла фізія з бантами. Я й не думала бігти за нею (хоч коліна і смикнулися — дурний рефлекс сестри-сторожа). Нехай оці біжуть. Ті, кому воно треба.

Згодом і інші остогидлі намалювалися десь на обрії зору (не дивитимусь на них, обійдуться). Одна («Тонь, а ну стій, кому сказала»), друга («а повітрячко нічо таке»), третя («чому це ти дозволяєш собі, моя любя»),... Коли підкульгала четверта й згрібла боляче, як завжди («свиня-атко... норови-истеньке»), я вихопилася й рушила вперед.

Мала бігла вже геть далеко. Трохи ближче тяглася за нею мама. За поворотом, де пробку вигнуло зміюкою, був якийсь пішохідний движ: люди повиповзали, як ми, і щось робили таке, чого наче й не роблять на дорогах.

Диверсанти? — згадалися бабусині страхи. Ходять по машинах, хапають людей?

І тато теж щось таке в своїх новинах...

Ноги стали самі. Потім самі ж пішли вперед. Згубила малу — тож давай, не очкуй. Он їх скільки: два: три, чотири... Може, за татом збігти? й за дідом? А той диверсант наче якийсь дивний: весь в білому, як наречена. Стоп, так це ж і є дівчина в білому, — не наречена, звісно, бо звідки ж тут наречені? Рояль у кущах, наречена в полі... Але коли дівчина, і коли в білому — то, може, вона нормальна, хоча саме її й могли смикнути з машини, щоб...

О. Наша мала — вже біжить назад. Боднулася в маму, щось крикнула — вітер проковтнув, — і далі жене, до мене:

— Еїа! — чую впереміш із вітром. — Ам еїа! Там весілля! — розібрала я, коли зовсім поруч вже був малиновий від бігу морденштерн та психовані очиська. — Реально! Весілля! Не віриш? — волав морденштерн, хоч я ще нічого не казала. — То ходімо, покажу!

І хапає мене липкою лапою.

— Так, — кажу. — Нагасалася? Вітру холодного наковталася? У кого соплюхи були? Годі вже, — тримаю її наче скеля. Виходить так собі, але ж треба. — Стоїш отако, охолоджуєшся. Андерстенд?

Андерстенд їй, а як же ж. Вихопилася й погнала іще швидше. Гаразд, нехай вже мама... хоча вона з нею не впорається. На першому місці тут бабуся, на другому я, на третьому тато, і тільки на почесному передостанньому — мама. Ну, а діда — він і є діда.

— Піду гляну, як там, — кричу двом силуетам, що йдуть за мною. Досить далеким, до речі, силуетам, навряд чи їм чути.

Ну, то так вже й буде. Хто не чув — я не винувата.

І рушила до того весілля, що справлялося собі у пробці серед поля.

— Лямур мусьє монпасьє! Ля парі траляля тірірі! Впізнаєш мову, Мартишк?

— Драсті, — кажу. Наречений, котра зазирає в машини й щось питається, і нареченому. Він теж при параді — костюмчик, краватка з гербом.

Реально свадьба. От просто тут.

Може, ми в дорозі трохи того?

— Ти говориш по-французькому? — раптом тицяє в мене пальцем наречений. — Парле ву франсе?

— Не, — мотиліяю головою. — Не парле.

— А ти парле? — тицяє він у маму. (Мама у нас гарненько збереглася, тому про неї думають, наче вона щойно з випускного.)

— Га? Доброго дня, тут до вас мої доньки...

— Парле, питаю? По-французькому вмієш?

— Що по-французькому?!

— Е, — махнув рукою наречений і відвернувся.

— Ма! Так ти ж вчилася за французьку! — встріває мала. — І мене вчила: Тирдам Депарі — столиця французької богоматері...

— Тоню! — мама озирнулася туди-сюди. Я закотила вічі. — Тонь, давай до машини. Марто...

— Але ти ж вчилася, ма!

— Вчила... у школі. Гадаєш, я пам'ятаю щось? Ходімо!

— ...тоді, може, просто постійте? Для масовки? Ну блін же ж, — наречена відскочила від ближньої машини. — Ніхто не хоче, ну ніхто! Михасю, ніхто не хоче, аби їх знімали! Думають про нас, що ми цей, не знаю! І що робити?

Вона майже плакала. І вона була не сказати щоб гарна — з червоними очима, і взагалі вся червона, обвітрилась чи що. І сукня у неї з розанами, а воно, коли по-чесному, то трохи фу. Хоча діло ж взагалі не в тім...

— А що у вас тут? Весілля в чистім полі? Тре кричать «горько»? — наздогнала нас бабуся, така вся Леді Сарказм. У п'яти метрах прибуксував тато (він не любить людей).

— Так! — наречена підбігла до неї. — Доброго дня, і... так, треба кричать «горько», тільки можна на камеру? І французькою. Ви вмієте французькою?

— Я вмію! Я! — підстрибнула мала. — І мама!

Бабусині очі були вже як у справжньої Королеви Сарказму.

— Це в вас таке кіно? Я так і подума...

— Та ні, не кіно. Ну тобто так, кіно. Майже. Михасю, поясни їм! Так ви можете ж? А я піду у інших попитаюся, — наречена побігла до нашого тата, ковзнувши на снігу. — Добри-идень!..

— Кароче, треба просто в кадрі говорить по-французькому, — підійшов наречений Михась. — Ну, або я не знаю. *Тіпа* по-французькому. Вони все одно не розуміють.

— Хто «не розуміють»? Кому треба, шановний?

— Ну, її батьки. Вона вам не казала чи що? От! Теж мені, — Михась хитнув головою. — Ви її вибачайте, вона зараз через усю цю, кароче, ситуацію...

— Яку ситуацію?

— Ну, цей, — Михась безпорадно подивився на наречену, яка тримала за руки мого тата. — Кароче, у неї батьки. На сході. Вони й хворіють, і... там зараз самі знаєте. Кароче, не поїхали вони. От. А в нас вчора був літак на Брюссель. Розумієте?

— Ні.

— А сьодні весілля. Вже там. А ми їм сказали, що улетіли. По Руби-Коню фігачать весь час, ви в курсі? І тут теж оця красота, — Михась кивнув на пробку. — Думали, що встигнемо, але не встигли. Не зрослося. А їм сказали, що якраз припинили обстріли, і ми улетіли. Вчора. А сьодні весілля...

— Тут таке діло: мої хворіють, — підійшла наречена. — І якщо вони визнають, що ми їх надурили, що ми тут... Вони й так у підвалі, ані вийти, анічого, вчора якраз поруч по дитсадку прильот був...

— А чому ви їх там лишили? — насупилася бабуся, і Михась з нареченою затовбичили їй про батьків, що ті хворі і можуть не доїхати.

— І просто аби не переживали, розумієте? Тіпа ми вже в Бельгії і все тіп-топ. Але дуже треба французів.

— Бельгійців, — виправив наречений.

— Яка різниця?.. Треба бельгійців, бо можуть не повірити. Мої французькою все одно не цей, тож...

— Вуаля, медам, месьє, — до нас підійшов тато. — Кескесе? Женеманжпа сисьжур.

— Це якраз краще без такого, добре? — замахала руками наречена. — Таке вони знають... Михасю! От один француз в нас є. І... може, й ви теж? — зазирнула вона у бабучині очі. У королівсько-саркастичні.

Хоча вони вже були, мабуть, просто очманілі, і все.

— І я! І ми! І ми! — застрибало Тонконоге, схопивши мене за руку. Я висмикнула, але потім теж сказала «і ми».

— І я, — підійшла мама.

Всі стояли навколо бабусі і дивилися на неї.

— Ееем... а ви знімати хочете? — спитала бабуся. — На камеру?

— На телефон, — благаюче мовила наречена. — Просто щоб по вайберу...

— Салют, жевузем, мадам, — повернувся тато до бабусі, знявши уявного капелюха. — Же ес ля мурло де ля еколь...

— Ля еколь де ля уколь! — заверещало Тонконоге й стрибнуло на тата. — Жульєн буль-буль! Міау!

— Ну? — наречена глянула на Михася.

— Не знаю, — кривився той. — Халтура. Сама вирішуй.

Наречена видихнула й дістала телефона.

— Готові? — спитала вона. — Чи іще репетицію?

— Ось-ось може все поїхать, — мовив Михась, кивнувши на пробку. — Тож треба швиденько.

Наречена видихнула знов і стала тицяти по екрану. Всі зазмерли, наче фоткою стали.

Телефон зудів огидним вайберним бззз. Потім хрюкнув і гугняво спитав «аоівагвекваква?»

— Ма? — некрасиве обличчя нареченої кудись раптом поділося, а замість нього вирросло гарне й щасливе. — Ма, тут поганий зв'язок, ма! Уявляєш? Це, певно, через наші події, ма! По всій Європі наслідки!

— Ква-ква? — спитався телефон. Зв'язок і правда був не дуже.

— Не чую, ма! Уявляєш, ми тут у пробці, ма! Ми їдемо з Брюсселю, так, у нашу церкву, і тут пробка! Погано чути, ма! А це... це мсьє Жене! Це наш друг, ма! Він вітання тобі передає!

— Бонжур, мадам, — тато галантно вклонився телефоніві. Той відгукнувся — «ква-ква».

— Ти нас чуєш-бачиш, ма? Ми потоваришували тут з однією родиною! З однією родиною потоваришували, ма! («Ква-ква!») Це мадам Жене, вона теж вітання передає тобі (бабуся велично махнула рукою). Ми з Михасиком французькою не дуже, ти знаєш, тому більше на мигах... Ти чуєш, ма?

— Ква-ква!

— Еее...

(«Говоріть одне з одним! — зашипів Михась. — По-французькому! Робимо фона, фона робимо, фона...»)

— Мамуль де ля жабо, — звернувся тато до бабусі. — Емву ле шампань?

— Ві, етплю де канкань! — відповіла мама, тому що бабуся відвернулася й полізла до ридикюля. — Шампань пармезань мерлобухло ді п'янь!

— О, съест требьєн! Ві?

— Віііі... — мама намагалася не ржати. («Нормуль-нормуль, смійтеся, то якраз гуд» — шипів Михась.) — Нормуль жульєн шампурель де шампіньон...

— Ма, тобі чути, ма? Ми тут за весільний обід балакаємо! Га? Що?

— Ква!

— Поганий зв'язок, ма! У тебе все гаразд?

Тут мене щось штовхнуло до телефона. Я зиркнула туди й побачила обличчя якоїсь мумії в окулярах, і позаду бомжатник: підстилки, торби, облізла стіна із трубами. Я вже в курсі була, що то укриття, а раніше не знаю, що подумала б.

Мумія сумно визирала на мене, і я посміхнулася їй на всі щокі:

— Салююююу! (Спробувала зобразити кіношну Амелі.)

— Це... це Марта, — відрекомендувала мене наречена. (Я роззявила рота. Потім дійшло: тато видав.) Теж з тієї сім'ї. А це сестра Марти. (Телефон розвернули не до Тонконогого, а до мами. Ги.) У вас все гаразд, питаю?

— Ква-ква-ква-ква...

— Поїхали! — долетіло звідкись з-за повороту. — Поїхали! Народ, по місцях!

— Все, — наречена швиденько тицьнула в «завершити». Тіпа наче обірвалося. — Велике вам превелике... — вона притулила руки до серця, як в кіно. І обличчя в неї було ще й досі «для мами». Навколо кричали:

— Поїхали! Поїхали! Всі поїхали!

— Поїхали-и-и! — заверещало мале. — По місця-ах!

— Так, все. Давайте в темпі, — заметушився Михась. — Ми вам так... Ви нас так... — бурмотів він услід татові. — Кароче, не буду затримувати. Давай, давай, оно вже ідуть...

— Це він своїй дівчині, — пояснила мені Тонька на бігу. Наче й так не зрозуміло.

— Тоню! Марто! Не біжіть! Дідусь вас підхопить! — волала бабуся позаду. А ми бігли, бігли, спеціально плюхаючи ногами у самий сніг, бо коли ж іще?..



Галина КОМИЧЕВА

/ Киев /

* * *

Я сослана в себя.
Ушедшая от всех,
сама себе судья
и на голову снег.
Сама себе семья,
что не такой уж грех,
сама себе своя
слеза и горький смех.

ХУДОЖНИК И МОДЕЛЬ

Белая роза на длинном стебле в напольной вазе
угол твоей мастерской собой занимала,
дева из воздуха, пены морской, она ни разу
не шевельнувшись, перед тобой стояла.

Ты рисовал её углем, гуашью, тушью,
каждый её лепесток обводил глазами.
Белая роза была тебе так послушна,
как богомолка в мольбе перед образами.

* * *

... и грустный поэт чудаку улыбнётся с галёрки.

Ю. Тувим

Когда все слова переселятся в гнезда молчанья
и день отойдет, сползая по крышам вечерним,
под прожекторами появится с возгласом «я начинаю!»
циркач со звездой вместо сердца, и круг
божьей искрой очертит.

И зеленоглазая кошка с коричневой шерстью
удобно устроится в первом ряду без какой-либо цели,
и спустится с неба чудак, он потребует факельных шествий:
«Вы скучно живете, — он скажет, — я вас призываю к веселью!

Земляне, где факелы ваши?! Огни карнавального счастья
я удостою зажечь... Маэстро, поправьте оборки!
пришельца из дальних миров... — поправьте манжет на запястье!
И грустный поэт чудаку улыбнется с галёрки.

ЭТЮД ШОПЕНА

С ногами в кресло заберусь, —
заботы подождут, —
мой патефон озвучит пусть
шопеновский этюд.

Входите, сумерки, — ваш час,
ваш Фредерик Шопен
грустя, наигрывает вас
и зазывает в плен.

Мне нотных знаков не прочесть,
они — чертёжный след
того, чего на свете нет,
но всей судьбою есть.

* * *

У Золотых ворот, у старого фонтана,
где вечера картинно угасают,
сидят задумчивые кофеманы,
над ними тент, в полоску, провисает.

За ними дом, в котором жил Вертинский,
там жёлтый ангел таял без следа.
И может быть, там пьёт шотландский виски
— дай бог удачи! — новая звезда.

* * *

Снова мне приснился Киев фундуклеевской округи,
где дома и горожане воедино собрались,
где ласкающее солнце, сколько достаёт досуга,
согревает спелым светом столь обыденную жизнь.

Я ещё не надышалась, я ещё не насмотрелась,
не наслушалась фонтанов и дворовых воробьёв,
и цветущие каштаны никуда ещё не делись,
не забыть мне ни соборов, ни собак без поводков.

Киев-Киев, град и город, мы с тобой так славно жили,
из одних стаканов пили и дышали в унисон...
— Где теперь Наташи, Шаши, с кем мы с юности дружили?
— Разбрелись по белу свету, не сыскать и адресов.

* * *

Привет тебе, растение Лебеда!
В ногах природы всем хватило места...
Беседуя с тобою иногда,
я нахожу беседу интересной.

Я тоже парвеню. Изысканную брошь
не пристегнешь к брезентовой одежде.
На рынке счастья счастья не найдёшь, —
живи себе и здравствуй без надежды.

ОБ ОДНОМ ЗАТЕЙНИКЕ

Он расскажет вам смешное, удивит задорной песней,
он сыграет вам на флейте, если надо — и «на бис»,
а потом покажет фокус со своим исчезновеньем, —
не найдёте ни на сцене, ни за пологом кулис.

Мы не плачем, — этот фокус нам давным-давно известен,
просто мы о нём не думать втихомолку поклялись,
но скажите — я поверю — что на том же самом месте
он поёт вживую песни, если надо — и «на бис».

Инна ХАЛЯПИНА

/ Эрфурт /



ЦВЕТОЧЕК АЛЕНЬКА

Всё сошлось: и малиновый берет, и беседа с испанским послом, и позднее раскаянье. Потому что классическая литература — это всегда философия, а философия, как известно, на века.

Надо сказать, что с беретом она погорячилась. Нахваталась на распродаже всякого разного, ну и его в придачу, не подумав о последствиях. Потому как если бы светло-серый или, скажем, цвета морской волны, то это ещё куда ни шло. Но малиновый...

К тому же, попробуй его на голову натянуть, когда волосы не просто вьются, а пружинят мелким бесом.

О малиновом берете и классической литературе как о важнейшем вспомогательном средстве в ситуациях катастрофических, а порой непоправимых, Аля ещё вспомнит. А пока она едет в санаторий для психически больных и перечисляет в уме взятые с собой вещи. Вид из заплеванного окна не впечатляет, но, слава богу, попалась молчаливая соседка, которая за три часа пути съела целую корову и теперь принялась за десерт. Попробовала угостить Алю: «Хочите сладенького?», но нарвалась на грубость и окончательно притихла. Аля понимает, что нельзя так обращаться с людьми, даже с теми, которые говорят «хочите», и вспомнила о враче, которому тоже нагрубилась.

Врач: «Алевтина Валентиновна! В вашем случае можно было избежать стационара, а то вы там насмотрелись». Почему же не избежали? Почему накололи её какой-то дрянью, после чего она жрала, как соседка по купе, и растолстела, как целая корова? Год потом восстанавливалась, пока не вернула форму и не привела в порядок мысли. Таблетки Аля больше не принимает, но она в этом не признается, легкое вранье иногда идет на пользу. А в санаторий ехать согласилась, хочет снова насмотреться и послушаться, ведь у психов мозги устроены своеобразно, особенно у шизофреников, за ними хоть записывай. Были в больнице двое, муж и жена — жертвы кинематографа, они становились в позу заставки

«Мосфильма» и преграждали собой вход в столовую, и при этом орали, что надо жить духовной жизнью, а обед игнорировать, потому что это отравля. Кстати, они были не далеки от истины. А неудавшиеся суицидники — это вообще отдельный разговор, так и норовят сигануть в окно. За ними глаз да глаз. И хотя на окнах решетки, одна изобретательная дама как-то изловчилась, чем испортила статистику больницы, а главврач еле откупился. Но больше всех запомнился пациент с травмой, ему омонцовцы так отбили голову, что он неожиданно заговорил по-французски. Им сразу заинтересовались спецорганы. Поди знай... Радистка Кэт тоже когда-то выдала себя со всеми потрохами.

Аля вернулась к перечислению вещей в чемодане. Новый беретик она не забыла. Неизвестно, какая будет погода в этой многострадальной средней полосе, излет сентября всегда непредсказуем. Попутчица улеглась и отвернулась к стене, обиделась, между прочим, справедливо — кому охота иметь дело с грубиянкой?

Аля своим неуживчивым характером отвадила от себя людей, непригодных для общения, а ими оказались почти все. Остались, как ни странно, психи, с которыми она познакомилась в больнице. У одного из них синдром Перельмана, и поэтому он коллекционирует авоськи. В наше бандитское время это не так просто, он находит их на барахолках. Мечтает, чтобы на одной из них расписался сам Перельман, только непонятно, как можно оставить автограф на авоське. Но если бы только это. Одевается он не по сезону, носки не носит, а из обуви предпочитает калоши. Для общей гармонии он и рацион свой урезал — картошка, хлеб, молоко. По праздникам сто грамм или сто пятьдесят — и это единственный способ немного разогнать кровь, ведь с любовью ему не везет. Исчертил стены своей коммунальной конуры формулами, красивей всего у него получается знак бесконечности. Ничего удивительного, ведь он когда-то окончил математическую школу и его феноменальная память полна математическими шедеврами. Но самая большая удача в том, что его зовут Гриша, также как Перельмана.

Есть ещё подружка Вера, она сбрендила по причине постоянного сидения в интернете. Выискивает там болезни, желательно с летальным исходом, и примеряет их на себя. Эта проблема была решена радикально, Вера переехала в Лапырёвку в деревенский дом без интернета и телевидения. Ездить к ней одно мучение, но и не ездить нельзя. В этих поездках Аля набирается позитивных эмоций и обогащает опыт нестандартного общения.

У Веры живет ручная курица Муся. Такая умница и красавица! Рябой масти, типичная насадка с пушистой попкой. Когда Вера приходит с работы, она встречает её с распростертыми объятиями, то есть крыльями. К тому же она отличный собеседник, Вера рассказывает ей о своей жизни, а та в ответ поддакивает, или возражает,

или чертыхается. С растениями Вера тоже разговаривает, но тут получается абсолютный монолог, зато очень содержательный. За Верой тоже можно записывать.

В последний Алин приезд она была сама не своя. Умерла старушка из соседнего дома. Приехали её сыновья и первым делом вспороли подушки и перины, деньги искали. Из окон летели матюки и пух-перо. Муся запаниковала и бегала кругами по двору на немыслимой скорости, она решила, что кто-то ощипывает кур, и почувствовала реальную опасность. В конце концов, она забилась в угол сарая и просидела там допоздна. Аля застала Веру в слезах, а Мусю без сил, обе были страшно возмущенные. Муся и так была о людях невысокого мнения, особенно после того, как в неё бросил камень одноногий алкоголик Паздырин, а теперь разочаровалась совсем. Ну, а Вера... Аля их весь вечер жалела.

Есть ещё один приятель — Боник. Он тоже совпал с Алей по времени в психушке. Боник поступил с весом сорок килограммов и кроме сладких сырков ничего не ел. Его хотели заточить в закрытое отделение, но обошлось. И слава богу. Боник оказался на редкость тактичным и внимательным к особам противоположного пола, но его заинтересованность носила исключительно платонический характер.

Без интриги, однако, не обошлось. Любвеобильный Гриша по уши втрескался в Веру и полез к ней с гнусными намерениями, после чего схлопотал по морде и получил в ответ народную мудрость о свином рыле в калашном ряду. Вера же стала проявлять знаки внимания к романтичному и безобидному Бонику, чтобы продемонстрировать свои жизненные приоритеты. Гриша глубоко оскорбился, вплоть до сатисфакции. Ситуация набирала драматизма. Врачи констатировали положительную динамику.

* * *

Объявили станцию Новожиловку, а это значит, что Але оставалось ехать два часа. Попутчица лежала, как прежде, отвернувшись. Принципиальная. Аля съела свой тощий бутерброд, прилегла и тоже повернулась к стене. И тут же уперлась глазами в наше главное слово, короткое и четкое, процарапанное скорее всего гвоздем, но креативно, потому что с восклицательным знаком, то бишь с восторгом или с призывом. Такой трактовки Але ещё не приходилось видеть, и она задумалась о силе языка и нюансах пунктуации. Соседка подала голос, значит простила. Это правильно.

Вера тоже простила Гришу, а Гриша помирился с Боником, и они как-то раз вместе с Алей пошли к нему в гости. Боник гостям обрадовался, побежал на кухню за арбузом, по дороге его уронил, заодно и пол помыли.

Из соседнего купе слышалась пьяная ругань, судя по истеричным интонациям — муж и жена. Куда девается любовь? По этому поводу Вера однажды выдвинула глубокомысленную версию: «Любовь уходит в бесконечность». Это она от Гриши набралась.

В санаторий Аля приехала к вечеру и успела на ужин. Ужин — вермишель молочная, фрикадельки с картошкой, какао с вафлями. Когда это Аля так ужинала? Разве что у бабушки, пока у неё не завелся новый дедушка. И Аля констатировала факт — любовь в том возрасте, когда уже пора думать о душе, дело стыдное, и задавалась вопросом, что в моменты интима делать со вставными челюстями, они, должно быть, ужасно мешают?

Аля открыла чемодан и примерила малиновый берет, что навело её на хрестоматийное воспоминание — «любви все возрасты покорны». Эти слова, вырванные из контекста, давно вышли в тираж, как те глаза, которые «зеркало души», но ничего более оригинального в голову не пришло.

Берет Аля спрятала и вытащила книгу для вечернего чтения. Спасительное чтение... Единственное, на чем она могла сосредоточиться. К примеру, в послеоперационном периоде, когда были сломаны обе ноги, очень помог Экзюпери. Можно сказать, он просто вернул ей интерес к жизни и ускорил заживление. А в послеродовом периоде, который совпал с бракоразводным процессом, под руку попался Довлатов. Чем не классика? И вот она уже брошенка с годовалым ребенком и большими комплексами по поводу испорченной талии и отсутствия перспектив. И что делать? Опять за чтение. Открыла для себя поэтов-метареалистов. Стиль мудреный и трудно удобоваримый, но затягивает. Правда, после таких стихов у Али было ощущение, будто она проглотила целый дирижабль, но судя по тому, что их переводят на множество иностранных языков, они повсюду имеют своих читателей. Непонятно только, как можно перевести хоть на какой-нибудь язык «Василиса сохнет по вокалисту Васе»? А в общем и целом, очень даже подходящее чтение для женщины с высокими интеллектуальными запросами.

Аля легла и уставилась в потолок. Комната ей не нравилась, благо что крошечная и потому одноместная, не предполагающая соседства. Засыпала трудно, снилась Муся, гуляющая возле разбитого арбуза, а потом арбуз превратился в знак бесконечности, а потом и Муся куда-то запропастилась.

Утром Аля поняла, что больше недели она в санатории не выдержит. На завтраке рядом с ней сидели три женщины с обреченными лицами и плохим аппетитом. Потом начались процедуры, эффект казался сомнительным, но из уважения к медперсоналу Аля прошла весь круг мучений и даже сказала спасибо. На обед не явилась, за что получила нагоняй от врача. К вечеру почувствовала, что соскучилась по Вере. Попробовала переключить внимание на

чение, но книга оказалась неподходящей — ни тебе Васи, ни тебе Василисы, а сплошные дамы и господа с вычурными именами и приторными историями.

На следующий день Аля засобиравалась домой. Врач равнодушно заметил: «Здесь не тюрьма, и вас никто не держит». Аля к этому привыкла, её никто никогда не держал, а вот выгоняли часто. Она пошла к себе в комнату забрать чемодан и уже через час была на вокзале. Решила ехать напрямиком в Лапырёвку, не заезжая домой, Вера её точно не выгонит.

* * *

Вере посоветовали трудотерапию, и она занялась вышиванием, сначала перевышивала все наволочки, а потом принялась за простыни и пододеяльники. За несколько лет этой добровольной каторги у неё не осталось ни одного невышитого лоскутка. Флоральные сюжеты рождались из головы, а поскольку фантазия у Веры диковинная, то цветы были похожи не то на людей, не то на птиц, не то на животных. С ними она тоже разговаривала. Мусе это не нравилось, и свой протест она демонстрировала весьма конкретно — разбегалась, взлетала на комод и гадила там на вышитую салфетку. В конце концов, это она обеспечивала Вере психологическую поддержку и поэтому привилегии собеседника принадлежали только ей.

Улучив момент, когда Муся дремала в сарае, Вера принялась вышивать для Али скатерть, и тут к ней во двор ввалились алкоголик Паздырин, твёрдый как стеклышко, потому как деньга кончились. И сразу начал клянчить. Злопамятная Муся отреагировала незамедлительно, выскочила из сарая и клюнула Паздырина в костыль, тот замахнулся, но Муся оказалась проворней. В создавшейся ситуации брать взаймы не представлялось возможным, и он похромал к калитке и столкнулся с приехавшей Алей. Для Веры и Муси счастье неопишное, тем более что Аля оставалась ночевать.

Вера объявила Але обалденную новость. Соседские сыновья-потрошители продали материнский дом, и теперь там живет мужчина средних лет и средней внешности, но очень вежливый — приходил к Вере знакомиться и принес корзину с яблоками. Вера растаяла, но виду не подала, пригласила гостя в дом, напоила чаем и завела светский разговор о пользе вышивания для мелкой моторики и укрепления нервной системы. Гость заинтересовался или сделал вид, а на следующий день принес Вере ещё одну корзину, но уже с предметами для рукоделия, чем вогнал её в краску и в полное недоумение. Вера не была избалована подарками, а точнее сказать, свой последний подарок, валенки и душегрейку, она получила от двоюродной тетки лет десять тому назад. И поэтому всё происходящее она интерпретировала как невероятное

чудо, которое, возможно, развернет её жизнь в обратном направлении, то есть прочь от злыдней с их валенками и душегрейками. Всё это она уже обсудила с Мусей, а Алю намеревалась познакомиться с новым соседом. Он ветеринар, и его зовут Спартак. Можно себе такое представить?

Рано утром Вера поспешила на работу. Она убирала дом размером с небольшой замок, а, может, и с большой. Дело в том, что Лапырёвка стала привлекательна для дачных застройщиков, и те, кому не удалось хапануть участок на озере Комо, развернули строительство здесь, причем с большим размахом. И за пару лет дачное место превратилось в дворцово-парковый комплекс, охраняемый видеокамерами и нервными барбосами.

О своих хозяевах Вера говорила редко. Але, впрочем, было известно, что они долго работали в Испании, а потом у них там что-то не сложилось, но зато после испанской жизни осталось много интересных вещиц, одна только коллекция вееров насчитывает 245 штук. Але это знает точно, так как ей когда-то дали задание их пересчитать, что с одной стороны было выражением доверия, а с другой — кому это надо?

Однажды Але подслушала разговор Веры с её вышиванием, из чего узнала, что Верина хозяйка часто плачет, а хозяин сильно пьёт, что в наших широтах можно назвать нормой семейной жизни, только есть какое-то странное обстоятельство — похоже, что хозяйка чем-то удручена или напугана, часто оглядывается и вздрагивает. Вера от природы наблюдательна, но не болтлива, может, поэтому она надолго задержалась в этом доме, где ей делают всяческие поблажки в форме щедрых угощений и дополнительных выходных. Своё карьерное падение, из журналистки в прислуги, Вера приняла безропотно. Кому нужна журналистка, которая разговаривает с курицей и цветами? В отличие от многих людей с большой психикой Вера про себя всё понимала. Врачи не часто сталкиваются с такими пациентами и поначалу даже думали, что Вера симулирует.

Алю разбудил стук двери — Вера ушла. К кровати подошла Муся и коротко кудахтнула, напомнила, что пора вставать. Але посмотрела на свой пододеяльник, расшитый не то павлинами, не то пальмами, отбросила одеяло и выглянула в окно. В соседнем дворе мужчина хлипкого телосложения копал яму. Не иначе как Спартак.

Але улыбнулась. Зачем давать людям редкие имена, да ещё вызывающие определенные ассоциации? Зачем их так обозначать? Ведь потом при несовпадении образов получается форменное пошмище. Предполагаемый Спартак заработал интенсивней, как будто почувствовал слезку. Але выпила чаю и решила себя побаловать — нанесла на лицо огуречную маску и улеглась с книгой. У ног по-кошачьи примостилась Муся.

* * *

Уборка у Веры не заладилась. Хозяйский шпиз бегал за пылесосом и визжал. Самих хозяев не было, но в их отсутствие Вере разрешалось заходить в дом. У неё даже имелся свой ключ причудливой конструкции и очень тяжелый.

Под комодом что-то сверкнуло, и пришлось залезть туда венником. Вера вымела скромное колечко. Вряд ли оно принадлежит хозяйке, та носит массивные перстни, которыми человека можно убить. Неужели хозяйка её снова проверяют? Вера раньше находила под мебелью деньги, которые, разумеется, отдавала. Но она прекрасно понимала, что это трюк, её таким образом проверяли на честность. Она тогда оскорбилась, но промолчала, боялась потерять работу.

Вообще-то Веру по причине благонадежной внешности сложно заподозрить в воровстве. Она получила хорошее воспитание, и если бы её родители не умерли так рано, то никакой Лапырёвки в её жизни не было бы. История её семьи, в которую, как и положено, зверски вмешались гегемоны, была запутанной и трагичной. Вера рассказывала её по частям, то Мусе, то цветам, то Але. Эти части порой не стыковались, так как Вера сбивалась с хронологии, но в общем и целом, там всего хватало: и репрессий, и лагерей, и хрущевской передышки, и брежневской тошнिलовки, не говоря уже о перестройке с её «начать» и «углубить». Самый любопытным персонажем в Вериной семье был дедушка, умудрившийся родиться в день октябрьского переворота. Вот он хронологию соблюдал и даже написал книгу о всех вышеперечисленных этапах. Способности к эпистолярному жанру Вера унаследовала от него и на факультет журналистики поступила без труда. Давно это было...

Послышался шум подъезжающей машины. Это хозяйка приехала, шпиз на радостях описался и рванул к двери, и Вера за ним. Она протянула хозяйке колечко, а та шарахнулась, как от черной метки, и перекрестилась. И как это понять? Почему кругом одни идиоты?

Вере было предложено закончить работу и убираться восвояси. Вот и хорошо, тем более что Аля там одна. По дороге Вера купила в местном сельмаге свежие булочки, молоко и маленький торт. Она решила пригласить нового соседа и была в предвкушении хорошего вечера. Впервые за много лет у неё появились женские мысли, и она их немного боялась, боялась спугнуть то, что себе наметала. Она знала, что мечтать опасно, но хуже того, что уже есть, быть не может, поэтому можно рискнуть.

Вера с детства страдала комплексом коммунальной квартиры, которая образовалась путем отняли-подселили, ну а подселили, ясное дело, гегемонов. Ей всегда было стыдно пригласить к себе гостей. А сейчас у неё свой дом, бывшая семейная дача, но появился

комплекс туалета во дворе. Впрочем, в той части Лапырёвки, где проживает Вера, «удобства» у всех одинаковые, но это не утешает, особенно после уборки в хозяйском замке, где мраморно-зеркальные отхожие места с хрустальными светильниками напоминают оперный театр. Буржуи. Нет на них Мальчиша-Кибальчиша.

Подходя к дому, Вера увидела соседа, копающего яму. Она негромко запела, чтобы Спартак услышал и оглянулся. И он оглянулся, о чем Вера тут же пожалела. Было заметно, что он не обрадовался, стесняясь, по-видимому, своего полуголого вида и ввалившейся груди. Вера подойти не решилась и быстро направилась к своей калитке. Алю она застала в состоянии блаженства с уже высохшей маской на лице. Муся жалась к её ноге и никакого внимания на Веру не обратила. Предательница.

Стали обсуждать планы на вечер, только Вере было неудобно идти к соседу, кабы не подумал, что она навязывается. Решили, что пойдет Аля, но надо было найти предлог. Хорошо, что Спартак ветеринар, оставалось придумать Мусе какую-нибудь болезнь поинтеллигентнее, чем понос, но достаточно серьезную, чтобы оправдать причинное беспокойство, а там и на чай пригласить.

Чем вообще болеют куры? Аля решила жаловаться на выпадение перьев, то есть косить под авитаминоз, что-то она по этому поводу читала. Она взяла Мусю на руки и пошла на абордаж. Наглость, конечно, но она поддерживала Верин интерес к этому человеку. Одиночество в Лапырёвке мало чем отличается от одиночества в большом городе, но сколько можно вышивать каждую попавшуюся под руку тряпку?

Аля без стука ломанулась в калитку и, даже не поздоровавшись, с воплем «помогите!» впала в перечисление Мусиных недугов. Спартак бросил лопату, помыл руки и пригласил в дом. Он поднимал Мусины крылья, чесал пальцем головку, заглянул в гузку и даже подул в неё. И только когда он не обнаружил ничего серьезного, его осенило, что приход соседки, и даже не самой соседки, а парламентёрши — ход стратегический. Спартак про себя хохотнул и резину тянуть не стал, сам напросился в гости. Аля и не ожидала такого взаимопонимания. А вот Муся была недовольна, мало того, что её использовали в своднических целях, так ещё полезли в интимное место.

Спартак приоделся, срезал в саду поздние георгины, захватил бутылку вина и пошел к Вере. Ему в ней всё нравилось: и короткая челка, и медовые глаза, и темные веснушки, и кривоватые ноги. И подруга вроде бы ничего, такая изящная и кудрявая, но на лице будто странная мимика застыла, есть в этом что-то не от мира сего. Её можно было бы пристроить к кому-нибудь из неженатых друзей. А, может, к женатому? Нет, Спартак придерживался консервативных взглядов, нечего блядство разводить.

При покупке дома он никак не рассчитывал на приятное соседство, так как народ сейчас замкнулся в своей частной собственности,

даже самой убогой. Вот и он обособился, не делить же квартиру с женой и сыном. Самым благородным поступком было устраниваться в деревню. На работу теперь ездить далеко, пришлось купить поддержанную машину сомнительного происхождения. А дом он сразу сыну отписал, пусть у ребенка будет тыл в случае непредвиденных обстоятельств. В общем, здесь мы имеем дело с порядочным человеком.

Вера с Алей обрадовались георгинам, им так давно никто не дарил цветы, что хотелось прослезиться, но они сдержались. В самый разгар чаепития пришел Верин хозяин, как она его за глаза называла, — Собакевич. Чтобы он так снизошел?! Вера чуть не подавилась. На Собакевиче лица не было. Он не ожидал, что Вера не одна, и отозвал её на веранду. Там он положил на стол брикет долларов и попросил выполнить просьбу: «Найденное колечко возьми у хозяйки обратно, дескать, обозналась, твое это колечко». Вера обалдела: «Вы в своем уме? Как она поверит в эту блажь?». Собакевич отреагировал по-хамски: «Поверит, мы про тебя всё знаем, навели справки. У психов галлюцинации подменяют реальность, и проявляется это весьма разнообразно. Возьмешь деньги? Сделаешь?».

Вера смекнула, что за этим кроется, — у Собакевича завелась молодуха, которая потеряла у него в доме колечко, и хозяйка теперь вне себя. А при разводе она его разденет и пустит по миру, и на фиг он тогда будет нужен молодухе? Вера покосилась на деньги. Может, поторговаться? Собакевич опередил её: «Денег не добавлю, но и не уволю». Жмот. Но Вера согласилась, деньги замаскировала под березовыми венниками и с искусственной улыбкой вернулась к чаепитию.

Вечер всё же был испорчен ещё и потому, что Аля загрузила, с ней мигом случилась какая-то перемена. Спартак пытался шутить, затагнули вместе срамные частушки, но градус был уже не тот, ещё и Муся путалась под ногами и сбивала с ритма. Спартак решил, что пора и честь знать, тем более что завтра рано на работу. Распрощавшись, поцеловал дамам руки. Стыдно признаться, но у Веры и Али это случилось впервые, обе зарделись и чувствовали себя, как потерявшие девственность.

* * *

Вера Але всё выложила и для убедительности предъявила пачку долларов. Надо бы пересчитать, но и так понятно, что такой суммы никто из них в глаза не видел. Не любила Аля таких денег, не бывает от них счастья, тем более из таких рук. Аля сразу узнала Собакевича, его звали Алик Кондратюк, и им было хорошо вместе, сначала на первом курсе, а потом и на втором. Аля и Алик — это сочетание казалось таким гармоничным, почти нереальным, и им завидовал весь первый курс, а потом и второй. И учились они лучше всех, причем совершенно не напрягаясь, и были они такими

привлекательными и милыми, всегда давали списывать конспекты, и всегда у них можно было перехватить трешку до стипендии. Алик понимал, что у настоящего мужчины должны водиться деньги, он был не ленив, работал в конторе по установке сигнализаций, а когда денег не хватало, ремонтировал по ночам трамвайные пути. Зато обедал он с Алей в шашлычной с красным вином, а потом они ели мороженое, запивая шампанским. Но золотое студенческое время было подпорчено определенными неудобствами: комсомольскими собраниями, политзанятиями и соцсоревнованиями. Их любовь пришлось на конец брежневского застоя. Некоторые условия игры для блезира приходилось принимать, чтобы не быть заподозренными в посещениях диссидентских тусовок. В их группе был стукач, но он глубоко не копал, так что и с этим повезло. А потом они перешли на третий курс, и в институте появился новый доцент. Он преподавал никому не нужный предмет «охрана труда», который студенты игнорировали, особенно Аля. Не сказать, чтобы политэкономия была так необходима для подготовки советских инженеров, но её читал интеллигент и умница, не сумевший в свое время сделать карьеру дипломата, и потому на его лекциях всегда был аншлаг. Охранник труда изводил себя завистью и начал действовать. Он написал в весомую инстанцию донос — надо бы проверить, что творится на лекциях по политэкономии, а то заинтересованность студентов этим сухим предметом вызывает подозрение, не образовался ли там рассадник инакомыслия? Но это почему-то не сработало. Тогда он решил отыгаться на Але как на самой злостной непосещальнице его лекций. Он поставил ей неуд на сдаче экзамена, а потом и на двух переекзаменах. Это означало отчисление. И никто на курсе Але уже не завидовал, а некоторые, может, и злорадствовали, особенно Витка Набокина, безнадежно влюбленная в Алика. И тогда Аля подумала — а зачем ей, собственно, нужно это машиностроение с его охраной труда? Как не охраняй, а лучших машин, чем в Германии всё равно не получится. Она ушла из института без всякого сожаления и устроилась работать в библиотеку. Встречи с Аликом стали реже, стало меньше нежных слов, меньше общих интересов, пропало ожидание главного разговора, а потом и сам Алик пропал. Ушел в бесконечность. В некоторых случаях, судя по заматеревшему с годами Алику, это вполне доходное место.

Конечно, он её не узнал, после всего случившегося это невозможно. Алино лицо уже давно не её лицо. Почему это случилось именно с ней? Чтобы понять, надо начать с самого детства, но и это не объяснит, почему мама однажды ушла и не вернулась. А потом её маленькую водили на могилу и говорили, что мама улетела на небо и ей там очень хорошо. Аля не могла поверить, что на небе может быть лучше, чем с ней, такой маленькой и тепленькой. А потом появилась мачеха, опереточная певица с чужеродным именем

Гизела, женщина эпатажная и резко пахнущая каменным цветком. Аля её не полюбила, но той и не надо было, в детстве Аля подолгу жила у бабушки и виделась с мачехой нечасто. Годы шли, и всё было тихо-спокойно, пока Аля однажды не вернулась из библиотеки и не застала мерзкую картину. Гизела стояла голая у зеркала и репетировала роль, сверлящим голосом подавала реплики и имитировала ответы партнера. У Али в голове пронеслись почти стертые воспоминания о маме, и она скорчила Гизеле рожу, похожую на её кривляния, и в это время ей голову будто бы молнией пробило. Аля почувствовала, что гримаса так и застыла у неё на лице, мышцы повело в сторону, и никакими силами невозможно было их расслабить. Мачеха истошно закричала, накинула свой пошлый пеньюар и побежала к папе на кухню. Вызвали скорую, Алю отвезли в неврологию. А там... Что только не делали: и уколы, и массажи, и лицевую гимнастику. Нельзя сказать, что совсем без толку, некоторые улучшения появились, но Аля стала инвалидом лица. Вот тогда впервые помогло чтение. Тогда помог Гюго с его человеком, который смеется. И как ни грустна эта история, она дала Але надежду. Через некоторое время перекося стал не таким выраженным, но всё равно это была уже не та Аля, хотя встречались эстеты, которые находили в ней определенный шарм. С тех пор она борется с депрессией, но силы несопоставимы, и она всегда оказывается в проигрыше.

* * *

Аля приехала домой поздно вечером. Назвать её квартиру домом можно было с большой натяжкой. Когда-то был совершен семейный обмен. В квартиру, где с рождения жила Аля, прописали Гизелу, а Але досталась её квартира в дальних новостройках. Аля переселилась туда сразу после выписки из больницы. Начала с того, что вывела запах каменного цветка. Поменять мебель помог отец. Но дух мачехи до конца не выветрился, и не только дух, но и звуки. Паркет отбивал чечетку, а двери своими открываниями-закрываниями напоминали опереточные увертюры.

Для Али было важно обустроить квартиру, потому что она училась на графического дизайнера и работала дома, выполняла заказы дизайнерских фирм, и кроме хорошего компьютера и быстрого интернета ей ничего не требовалось. Это большая удача, что в наше продвинутое время появилась работа без личного общения, Аля все-таки немного стеснялась своего асимметричного лица. Тем не менее, она умудрилась выйти замуж, причем трижды. И каждый раз своим новым мужем она была вполне довольна, и они были ею довольны, несмотря на внешние и внутренние перекося. В конце концов, фигура у неё всегда была идеальная, как высказался один близкий знакомый, то есть Алик Кондратюк, — японская статуэтка.

Аля очень скучала по сыну Венечке, но не могла его не отпустить, и теперь он учит информатику в Оксфорде под контролем своего папы, второго Алиного мужа, ставшего большим ученым. У Вени там тоже есть мачеха — типичная английская кляча с сухопарым задом и длинными зубами, родом из Лоустофта, графство Суффолк. Выговорить невозможно. Но именно там Веня в последнее время отмечает рождество, то есть кристмас, и зовут его теперь Бенджамин. Але грустно без него, но ведь самой когда-то хотелось бежать, куда глаза глядят, а тут Оксфорд... Какая мать лишит сына хороших перспектив? Или оставаться в стране, где любимая поза народа — мордой в землю, задницей кверху? Бить челом перед хозяином у нас дело привычное ещё со времен крепостного права, а сейчас самые главные холопы — это те, которые наворованное охраняют. Какой мрак!

Об этом Аля под плохое настроение поведала Мусе, а та начала скандалить, наверное, из патриотических соображений. Умная дура. Не понимает, что наше народонаселение в большинстве своем от алкоголя Паздырина не далеко ушло.

Однако надо распаковать чемодан. Малиновый берет Аля нахлобучила на куклу-неваляшку и залюбовалась. И тут зазвонил телефон. Надо же! Гриша!

Гриша похвастался: «Мне инвалидность дали. Это значит, что я уже персональный пенсионер. Надо бы отпраздновать». Аля предложила самый простой вариант: «Давай поедем к Вере. Боника возьмем. Оттянемся по полной программе». Грише эта идея не понравилась: «Я что, большой? Скоро дожди польют. В Лапырёвке с ума сойдешь». Аля не сдержалась: «Гриша! Ты здоровый. В нашем дурдоме никого здоровее тебя не было». Гриша понял, что над ним издеваются и сухо распрощался, обиделся. Хорошо поговорили.

Следующий день прошел в домашних делах и составлении плана на две ближайшие недели, те самые недели, которые Аля должна была провести в санатории. Какие могут быть планы у одинокого человека? Аля вообще не планировала дальше, чем на послезавтра. Однако поездку к сыну в прошлом году запланировала и осуществила. Аля пришла в неописуемый восторг от высокоразвитой заграницы, но Веня её немного разочаровал. Стал чужим и стеснялся Алиной восторженности и бурных проявлений чувств. Хотя, конечно, свозил её в Лондон, прогулял по самым туристическим тропам и по малопосещаемым закоулкам. Познакомил с мачехой! Поговорили о погоде и современном воспитании детей. Всё! Потому как Венечка-Бенджамин в первый же день спросил: «Мама, ты надолго?». И Аля, собиравшаяся провести с сыном две недели, ответила: «На пять дней». Бенджамин выдохнул. Так и уехала через пять дней, неимоверно уставшая и замученная лишними мыслями.

Из чего состоит её жизнь? И в чем искать смысл? Сейчас он появился — поджечь Спартака на Вере. Задача и легкая и слож-

ная одновременно. У Али есть некоторые соображения на этот счет. Но в данный момент надо собрать кое-какую еду и поехать к Грише, есть подозрение, что он голодает — и не только из-за отсутствия аппетита, а потому что ему всё лень.

* * *

Дверь открыла Гришина соседка, ещё одна инвалидка, и с места в карьер: «Вчера с дебоширил. И спер на кухне спички». От неё крепко пахло котами, маленькая головка тряслась, круглые очки держались на какой-то веревке. Аля отсыпала ей немного сухек, а она возьми и расплачься, но ябедничать не перестала: «Твой Гришка соседям в ботинки яблочные огрызки подкладывает». Чистый поклеп, потому что Гриша яблоки не ест. Но Аля возражать не стала.

Соседка причитала до самой Гришиной двери. А у Гриши... Стены разрисованы новыми формулами, а на столе фамильный сервиз стоит — остатки прошлой жизни.

Гриша принял Алю холодно, памятуя о телефонном разговоре.

Аля не смогла найти свободной поверхности, чтобы выложить гостинцы, и растыкала их по авоськам, висящим на гвоздях. Гриша немного смягчился. Аля деликатно заметила: «Если тебе нужны спички, скажи. Математикам воровать не пристало. А тем более персональным пенсионерам». Гриша запустил отвлекающий маневр: «Я вот думаю, почему Вера меня отшила? Чем я хуже Боника? Может, не такой сексуальный?». Тьфу, гадость какая! Гриша бывает невыносим. Аля заметила у него негативные изменения: руки ходуном ходят, взгляд в бесконечность. Наверное, опять в стационар угодит. Аля спросила про сервиз, не убрать ли его в шкаф? Гриша мигом оживился: «Нет! Сегодня покупатель придет». Господи! Однажды Гриша уже выменял коллекционные монеты на мотоциклетную коляску. На вопрос, зачем ему нужна коляска без мотоцикла, он ответил, что собирается стать отцом.

Аля немного прибралась, смела пыль даже в труднодоступных местах, выбросила окурки, полила единственный Гришин цветок, которого звали мокрый Ванька. Гриша утверждал, что после Перельмана это самый уважаемый им человек.

К одушевленным предметам Гриша причислял также древний самовар, который был подарен его прабабушке самим Троцким. Факт сомнительный, но Гриша на нем настаивал. И когда у него спрашивали, какое отношение его малограмотная прабабушка, за всю жизнь не переступившая черты оседлости, имела к Троцкому, он напускал на себя загадочность, под которой подразумевалась семейная тайна, разглашению не подлежащая.

Аля хотела приготовить чай, но Гриша запротестовал: «Стол занят, а где его пить? На кухне? Там одни враги». Гриша сегодня не был расположен ни к чаепитию, ни к общению. На прощание Аля ему пригрозила: «Не будешь жрать — сдохнешь! И никогда не станешь отцом». А в коридоре её уже подкарауливала соседка и семе-

нила за ней до самой парадной двери, и всё рассказывала про внучку, которая после школы подалась в бордель, и теперь стыдно «людям» в глаза смотреть.

На улице Але казалось, что она пропахла котами и керосином. Хотя причём здесь керосин?

* * *

Муся стала часто пропадать в сарае. Вере это показалось подозрительным, и она решила выяснить, в чём дело. И выяснила — в укромном уголке она обнаружила кладку яиц. Муся, почувствовав, что её разоблачили, тут же прибежала в сарай и уселась на своё сокровище. Конечно, она доверяла Вере, но и материнские обязанности блюла. Но кто же папаша? Подозрение пало на никудышного петуха из двора напротив, сипло кукарекающего и напрочь лишённого петушиного куража. Если это так, то разборчивостью Муся не отличается. Зато появился предлог сходить к Спартаку. Это ведь по его части, не говоря уже о том, что, подув в Мусину гузку, он, возможно, спровоцировал её грехопадение. Но для начала Вера заявила к Гарпинчиче, хозяйке предполагаемого совратителя. Гарпинчича сходу разорвалась, как будто Вера у неё алименты требует. Не мог её раскрасавец пойти в чужой двор. Зачем? Ему хватает своего гарема, и все такие беленькие, чистенькие и гладенькие. Это она намекала на то, что Муся рядом с её курочками и близко не стояла. А если что и случилось, то только по Мусиной инициативе, сама, дескать, приперлась и напросилась. Какой петух откажется? Мало в жизни таких примеров? Вера пошла в контрастступление. Станет Муся навязываться этому вялогормональному петьке. Да он даже кукарекает невпопад. И гребешок у него пожеванный, как при авитаминозе. И теперь ещё неизвестно, как такая наследственность повлияет на цыплят. Вера вовремя вспомнила про авитаминоз, и своими аргументами осталась довольна. Но Гарпинчича не унималась. Это сейчас она пенсионерка, а раньше работала специалистом по крупному рогатому скоту, и не надо ей рассказывать, что такое авитаминоз, и нечего шлаться к ней во двор со всякими провокациями.

Вере стало за себя стыдно. Зачем она вообще затеяла эти разборки? Какие черти понесли её к этой крупнорогатой Гарпинчиче? Наверное, в Лапыревке она окончательно одичала. Она поговорит об этом с Мусей, и с Алей тоже.

Вера еле дождалась вечера и пошла к Спартаку со списком вопросов по поводу Мусиново материнства. Спартак пациентку осматривать не стал, но на вопросы, которые его рассмешили, ответил со всей серьёзностью. Вера, потупив глаза, пригласила его на голубцы, и была она в этот момент такой трогательной и неуверенной, и такой замечательной, что Спартак не пошел, а побегал.

К голубцам была добавлена холодная водочка, селедка и салат из помидоров. Спартак просто обязан был сделать ответный шаг, тем более что он захмелел — и это добавило ему смелости. Кроме того, после развода прошло уже достаточно времени, и он посчитал возможным наконец разговеться. Вера не возражала.

В самый неподходящий момент возникла Муся, но это придало ситуации остроты и доброй иронии. Оказывается, дверь была настежь открыта, они легкомысленно выпустили это из виду. А если бы зашла не Муся, а, скажем, Гарпинчиха? Тогда пришлось бы узаконить отношения, дабы уважить общественное мнение. Вера и Спартак запили это дело оставшейся водкой и решили пойти в сарай проведать Мусиных будущих цыплят. Кладка, присыпанная мелкими перышками, лежала на мешковине и насчитывала одиннадцать яиц. Вот это да! Мать-героиня. Муся хлопотала вокруг своего семейства, надувала грудь, тревожно кудахтала, озиралась по сторонам, бдела.

У Спартака зазвонил телефон — вызывали на дом к бультерьеру, подозрение на стригущий лишай. Спартак сорвался и поехал, а Вера села вышивать скатерть для Али к её дню рождения. Скатерть не будет перегружена мотивами. По центру Вера вышьет аленький цветочек. И всё. Изящно и со смыслом.

Назавтра Спартак укрепил свои позиции. Принес Вере продукты, сам всё приготовил и остался ночевать. Вера проснулась посреди ночи и не поверила своему счастью. В её жизни всё происходило долго и с трудом, или не происходило вообще. А тут реальный Спартак храпит как у себя дома. Мечты сбываются.

* * *

Гриша выменял сервиз на цинковое корыто. На вопрос «зачем?» ответил как раньше — собирается стать отцом. Его самого когда-то купали в таком корыте. Верный способ вырастить здорового ребенка. Аля позвонила Гришиному врачу, а тот уже в курсе, ему донесли соседи — колобродит, надолго запирается в туалете, устроил на кухне пожар, и подозрительные субъекты к нему ходят, один на днях корыто притащил. Психиатр настаивает на госпитализации. Из родственников у Гриши одна тетка, и та давно выжила из ума. В общем, это социальный случай, и его судьбу будет решать попечительский совет. Аля расплакалась, ей всегда было жалко людей, которые никому не нужны. Понятно, чем дело кончится, пожизненным стационаром. Такой талант пропал, а мог бы быть известным математиком не хуже Перельмана.

Все уже давно забыли или не знали, почему Гриша стал таким. А Аля знает и помнит. Она знает, что происходит с человеком, которого отовсюду гонят. Гегемоны и тут вмешались, а если не они, то их внуки и правнуки. Кухаркино отродье. Гриша им рожей не вы-

шел, не так рожей, как пятой графой в паспорте. Пропади они пропадом, эти серпастые-молоткастые! Ненавижу! Странно, что сам Перельман выжил. Хотя, что это за жизнь...

Поговорить было не с кем, поэтому Аля выложила всё кукле-неваляшке. Она уже, как Вера, разговаривает с предметами. А неваляшку любит за то, что это не кукла, а образец стойкости, сколько её не бей, всё равно поднимется, причем с довольной физиономией.

А тут ещё и Боник пропал. Нет его, и всё! Случайно выяснилось, что у него появилась зазноба, и теперь он живет у неё. Он с ней познакомился на групповой терапии. Слава богу, хоть этот пристроен. Но странно, ведь Боник признает только платонические отношения, может, и зазноба такая же попалась. Если так, то это большая удача.

Звонила Вера. Рассказала про Мусю и туманно намекала на то, что процесс пошел. Неужели? Приглашала в гости. Аля поедет к ней через неделю. Может, к этому времени уже вылупятся цыплята.

Аля подумала, что хватит беспокоиться о друзьях и надо бы навестить отца. Он не знает, что она сбежала из санатория и, конечно, расстроится. Аля купила хорошего вина и поехала в свое родовое гнездо. Дверь открыла Гизела и неподдельно обрадовалась. Она давно сменила духи, и квартира теперь пахла не то диором, не то шанелью. Домашним супом здесь пахло тогда, когда была жива мама. Но Гизела неожиданно повела Алю на кухню, где на большом блюде возвышалась гора пирожков. По какому случаю? А не по какому. Гизела горестно вздохнула и поведала, что карьера закончилась, из театра выперли. Элизу Дулитл и Сильвиу Вареску играют теперь молодые пронирливые щучки, а пенсионерок отправили на свалку. И что теперь делать? Пирог печь. Отец доволен, а значит и Аля довольна. А где он, кстати? Гизела поникла: «Стал часто уходить. Говорит, что в спортзал. Не завелась ли у него там пассия?».

Але не хватило душевной щедрости, чтобы утешить Гизелу. Эта женщина вторглась в её семью, пусть даже не по своей вине. И в том, что Аля стала такой, она вроде бы тоже не виновата, но виновата всё равно.

Отца Аля не дождалась, Гизела собрала ей на дорогу пирожков, прямо как родная. А у неё, между прочим, собственный сын имеется, оболтус и преферансист, разводит на деньги богатых дамочек, заждавшихся любви, тем и живет. Бедная Гизела, но только не может Аля её полюбить. Никак не может.

* * *

Собакевич сказал Вере, что ждет важных гостей из Испании. Стол надо накрыть по всем правилам, и чтобы обязательно оливье и селедка под шубой. И как бы невзначай бросил: «Прихвати с собой подругу, она тебе поможет, а я хорошо заплачу». На вопрос,

сколько заплатит, промолчал. Ну что с Собакевича возьмешь? Но он наверняка имел в виду Алю, и его наигранное безразличие Вере показалось подозрительным. Интуиция у Веры всегда была хорошая, но только тогда, когда дело не касалось её самой. Увы... Вот и сейчас она опасалась, как бы Спартак не сорвался с крючка. Собственно, Вера его на крючок и не насаживала, она так не умеет, она совершенно неспособна к женским уловкам. Спартаку это нравилось. Ему нравилось, что Вера не заводит разговоры издалека, не прощупывает почву, не задает наводящие вопросы. Конечно, он замечал, что у Веры большая психика. Но что такое болезнь, когда речь идет о человеке, с которым тебе легко и уютно? Спартак задался целью — строить отношения и длить ремиссию. Он свяжется с врачами и узнает, как это сделать, но он не отступится. Вера и не подозревала, что у неё теперь есть такой серьезный покровитель.

Вышивание гладью давалось Вере нелегко, но аленький цветочек для Али был почти готов, Вера и с ним разговаривала, но только на определенные темы — самые интимные. Однажды при таком разговоре она не заметила, как вошел Спартак, а когда заметила, то было уже настолько поздно придумывать хоть какую-то нейтральную версию, что Вера расплакалась и стала просить прощения. Только непонятно, за что. Она выдала себя с головой, Спартаку сразу стало известно о её чувствах и о том, что она разговаривает с вышиванием. Всё рухнуло, он её бросит. Вера не могла произнести ни слова, за неё говорил Спартак: «Мне всё давно известно, ведь ветеринар это тоже врач. Мне важно только одно — ты просто будь! Говори с кем хочешь: с Мусей, с фикусом, с нитками-иголками, но будь! Я и жениться могу, если ты этого хочешь. А не хочешь, то я всё равно не уйду. И не плачь». Чем не объяснение в любви? У Веры высохли слезы, и она пошла греть обед.

* * *

Аля согласилась помочь Вере. Званный ужин обещал быть интересным, но ещё интересней было попасть в логово Алика.

Дом-замок впечатления на Алю не произвел, ей больше понравились растения в саду и сам садовник, усатый дядька в клетчатом фартуке. В гостиной спиной к двери сидела хозяйка. На шум вошедших она оглянулась. Это была Витка Набокина. Старая прошмандовка. Веру она, конечно, не узнала, принужденно улыбнулась и снова уткнулась в глянцевого журнала.

Вера с Алей пошли на кухню. Кухня, больше похожая на операционную, к приготовлению пищи не располагала. Начали с чистки картошки — и понеслось. Работу очень облегчало несметное количество электрических резалок, дробилок, мешалок и взбивалок. Пару раз заглядывала Витка, но не с целью контроля, а от нечего делать. Провозились пять часов. Приехал Собакевич, он же Алик, с гостями.

Никакие не испанцы, а русские, работники посольства с женами, раздутыми от ботокса. Вера с Алей засобирались уходить, но хозяйка, она же Витка, закомандовала остаться: «Убирать кто потом будет?».

Решили погулять в саду, пока гости не разойдутся. К вечеру сильно похолодало, и хорошо, что Аля захватила свой малиновый берет. Он ей успел разонравиться, но нашлась сумочка точно такого же цвета — и получился ансамбль. Аля выглядела не хуже посольских жен. А вот и они! Тоже высыпали погулять, а Собакевич руками размахался, территорию показывает, хвастается. К Але с Верой подкатили захмелевшие гости, то есть их мужская половина: «Что за эксплуатация? Почему таких женщин к столу не пригласили? Это дело надо исправить». Великодушные какие. Самый старый и, судя по всему, самый главный, спьяну не разглядевший Алю, заговорил с ней о красоте русских женщин и некрасоте всех остальных женщин. Собакевичу ничего не оставалось, как присоединиться к разговору, и он впервые внимательно посмотрел на Алю и не выдержал её ответного взгляда. Узнал и ужаснулся. И сразу протрезвел, и попытался увести её в сторону, но Аля крепко держала за руку Веру и задала прямой вопрос: «Когда нам заплатят за работу?». Собакевич растерялся, вывернул карманы, из которых посыпались крупные и мелкие купюры, кое-кто из гостей это заметил. Неловкую ситуацию сгладила Витка, она позвала Алю и Веру в дом, выдала по конверту и разрешила забрать всю еду, оставшуюся на столе. Самое время высказаться Але, и она высказалась: «Слушай, Витка! И запоминай! Это ты всю жизнь подбирала объедки. Могу себе представить, как ты обрадовалась, когда меня выперли из института. Не узнала меня? Сейчас берет сниму, может, прическу вспомнишь, которой ты всегда пыталась подражать. Так вот, об объедках — подавись ими! А Алик, я уверена, ты уже давно подавилась. Он всегда был тебе не по зубам. Скажи спасибо своему номенклатурному папаше, который всю жизнь просидел в красном уголке и спускал оттуда директивы. Наверняка это он Алика связал, кляп в рот ему засунул и заставил на тебе жениться. Да ты и сама такая, мозгов учиться не было, так пошла по комсомольской линии. Убожество. Над тобой все смеялись, особенно когда ты вопила, что мировому капитализму наступил конец. Ну и как тебе в роли олигарщицы? Где твои идеалы? Засунула себе в задницу? И объедки свои туда же засунь!».

Аля развернулась и пошла, и потащила за собой совершенно сбитую с толку Веру.

Витка сползла по стенке. С ней началась истерика. На шум прибежали гости, влили ей полстакана водки, раздели и уложили в постель. Распрощались тихо и быстро.

* * *

Пить Алик больше не мог. В дом идти не хотелось, он улегся в гамак и вспомнил, как они когда-то с Алей валялись в гамаке вме-

сте и он порвался. Зачем он это помнит? А ведь он всё помнит. Когда Алю отчислили, то никому из них это не представлялось большой трагедией. Но почему же всё закончилось, и как Витка смогла так ловко воспользоваться ситуацией? Для начала она побежала делать шестимесячную завивку, но такие естественные кудряшки, как у Али, не получились, и Витка стала похожа на буфетчицу. Но она не успокаивалась, села на диету, нахваталась умных слов, работала над осанкой, накупила шмоток у спекулянтки, свела знакомство с диссидентами. При этом она сильно рисковала своей комсомольской репутацией, но на кон было поставлено женское счастье. Бывает так, что количество переходит в качество, об этом очень доходчиво и логично размышлял когда-то преподаватель политэкономии, который был немного влюблен в Алю. Алик даже ревновал. Витка же своего добилась обманным и банальным способом. В общем, поженились по залету, а залет оказался липовым. Пожалуй, это был первый и последний случай, когда Алика развели как последнего лоха. Но этого хватило. Возненавидел. Но Витку не бросил, а потом привык — невкусно, приелось, но и менять что-либо хлопотно. А потом настало мутное и сумасшедшее время. Алик в челноки не подался, он выбрал опасный путь, где убивали. Ему повезло, его не убили, и бабло начало сыпаться проливным дождем. Витка послала нафиг своего папашу с его грёбаными идеалами, а тот бедняга вместе с такими же маразматиками выходил на краснознаменные демонстрации и требовал возврата к марксизму-ленинизму. Он тосковал по своему красному уголку, где было так сытно и надежно. А Витка пошла вразнос. Где она только не пользовала свою платиновую карту, на которой деньги не кончались никогда. Надоели шмотки от кутюр и косметические салоны, так она начала шляться по аукционам и скупать антиквариат. Алик ей как-то заметил, что если она не умерит аппетиты, то он скоро будет побираться по электричкам. И Витка притихла, ещё и потому, что Алик начал ей изменять. Однажды притащил в супружеское ложе венерическую грязь. Витка была вне себя, собиралась подать на развод и уйти к отцу в его хрущевку, но вспомнила про платиновую карту и решила повременить. А там и бизнес в Испании подоспел, где она покупала себе платья а ля фламенко и веера. И что теперь? Теперь одна перекошенная особа, которую она сначала даже не узнала, унизила её и, что самое страшное, была права. За одну минуту расставила всё по своим местам, а главное, определила её место в этой жизни.

Витка проснулась со страшной головной болью, но заставила себя встать. Нашла небольшой чемодан, положила туда две пары трусов и коллекцию вееров, все 245 штук, оставила на столе платиновую карту и ключ, оделась в первое попавшееся и ушла. Поехала к отцу, который с тяжелой деменцией доживал в своей хрущевке.

Алик проснулся в гамаке от холода со словами: «Чтоб я сдох!». И пошел опохмеляться.

Витка на глаза не попадалась, и слава богу. На всякий случай заглянул в её спальню, где давно не бывал, и всё увидел. Надо же... За столько лет он так и не понял, что Витка способна на поступок.

* * *

Аля проснулась рано, Вера ещё спала. Они проговорили до поздней ночи, Вера была потрясена и интересовалась подробностями. Аля же расспрашивала её о Спартаке. Всё это напоминало разговоры русских литературных героинь в ночи при открытом окне и светящейся луне. Аля, однако, давно не прибегала к помощи классической литературы. Сейчас самое время перечитать что-нибудь подходящее к актуальным событиям, и она даже знала что.

Она вышла во двор и обнаружила, что ей нестерпимо хочется домой, такого ещё не было, ведь Аля свой дом не любила. Теперь Алик-Собакевич стал неотъемлемой частью Лапырёвки, такой живописной деревни, где ей всегда было хорошо и спокойно. И всё изменилось. Бежать отсюда. Слава богу, что Вера уже не так одинока. Надолго ли? Как только Аля испугалась этой мысли, так заметила Мюсю с целым выводком. Ура! Они, наверное, вчера вечером вылупились, а Аля вместо того, чтобы наблюдать за таинством природы, батрачила на буржуев. Она побежала будить Веру. Теперь надо следить, а то опасность подстерегает на каждом шагу: то кошки, то вороны. У Гарпинчихи есть два кота, такие же непотребные, как её петух и она сама. Своих кур они не трогают, потому что они умные и боятся Гарпинчихи. Спартак подтвердил Алино предположение, что мы мало знаем о животных, то есть мы вообще о них ничего не знаем.

Аля уезжала с тяжелым сердцем. Пригласила Веру со Спартаком через неделю на свой день рождения. Обещали приехать.

По дороге на станцию Аля жадно вдыхала деревенский воздух, как в последний раз.

На станции тоже гуляли куры, только очень грязные. На скамейке сидели беременные цыганки и курили папиросы. В огромной луже валялась бутылка. Женщина в оранжевом жилете тащила два ведра битого кирпича. Из станционного буфета вышли два завшивленных алкаша в драных ватниках. Подобные картины Аля наблюдает здесь всегда, они ей кажутся нереальными, как будто время остановилось или обошло это место стороной.

Алю кто-то окликнул, она быстро повернулась, в ту же секунду понимая, что это Алик. Зачем? О чем говорить? Почти тридцать лет прошло.

Подошел. И тут его прорвало: «Я не буду оправдываться. Я виноват. Наверное, в том, что ты ушла, а я остался. Но уходить всегда легче, чем оставаться. Ты не знала об этом? Вместе с институ-

том ты бросила меня. Мне так казалось, а ещё мне казалось, что ты меня проверяешь — пойдет за мной или нет? Я не пошел, и это был неправильный выбор. А ещё хуже, что я женился на Витке, а тебе даже не предлагал, всё откладывал, а ведь понимал, что такой как ты не найти. Что у тебя с лицом? Хотя мне всё равно. Я называл тебя японской статуэткой, такой ты и осталась. Как тебе это удалось? Посмотри на меня — толстый бурдюк с гипертонией и артрозом. Но ещё на что-то надеюсь, хочу счастья, хочу любви, хочу стакан воды на старости лет. Видишь, я эгоист. Но я могу и давать. Как оказалось, я совсем не жадный, и Витка этим пользовалась, но это не принесло ей счастья. Хочешь, поедем на Сейшелы? Скажи, что у тебя с лицом? Мне главное знать, не я ли в этом виноват? Но даже если виноват, ты ведь меня простишь? А можем поехать в Карибский круиз? Хочешь? Ты не подумай, я тебя не покупаю, я знаю, что это невозможно».

Подошел поезд, но Алик всё говорил: «У тебя скоро день рождения, 31 сентября, я помню. Я тебя найду, я переверну весь город, но узнаю твой адрес».

Аля вбежала в уже тронувшийся поезд и с подножки крикнула: «В сентябре 30 дней!».

* * *

30 сентября пришлось на воскресенье. Аля ждала гостей: Вера со Спартаком и отец с Гизелой. Боник обещал явиться, но он так погряз в новых отношениях, что Аля на него не рассчитывала. Гришу положили в больницу, и Аля говорила с ним по телефону. Он сообщил, что его плохо кормят, а сосед по комнате изводит его разговорами о морали и высоких материях и при этом тырит у него сигареты. Одна медсестра имеет на него виды, слишком низко наклоняется, когда ставит капельницу. Так низко, что крестик, висящий у неё на шее, касается его носа. Сестра ничего себе, при всех делах, а вот кресты он терпеть не может, и теперь у него всё время чешется нос. Попросил лекарство от аллергии, так нарвался на хамство, попросил тетрадь в клеточку, чтобы формулы чертить, так вместо этого дали таблетку, от которой он целый день спал.

Аля найдет подходящие книги и отнесет их Грише, его надо чем-то занять, и тетрадь тоже принесет, и поговорит с врачом, который её знает и потому всерьез не воспримет. Плохо быть сумасшедшей, её не будут слушать точно так же, как и Гришу. Может, Спартака с собой взять?

А вот и он, то есть они. С цветами и подарками. Аля развернула скатерть. Аленький цветочек! Точно такой же, как из детства в иллюстрации к любимой сказке, той самой, что мама ей читала. Цветочек из того времени, когда у Али была семья и был настоящий дом. И только тогда у неё были настоящие дни рождения и настоя-

щие праздники. Все мы стремимся во взрослую жизнь. Зачем? Это Аля проговорила в уме, а вслух сказала: «Ждем папу с Гизелой и садимся за стол».

Они не заставили себя долго ждать. Шубу подарили! Белая норка. В детстве у Али тоже была белая шуба из кролика, покупали на вырост, смешно это выглядело. Однако сейчас раскошелились, откуда такие деньги? Честно сказать, аленькому цветочку Аля обрадовалась больше. Она чувствовала себя неловко. Заметив это, Гизела ускорила разгадку: «Посмотри, что в карманах». В одном кармане Аля обнаружила жемчужные бусы в бархатном футляре, в нем же записка «От папы и Гизелы», вот это уже больше похоже на правду. В другом кармане лежал плотный квадратный конверт. Аля раскрывать его не стала, что-то ей подсказывало, что сейчас этого делать не стоит, а то пропадет аппетит, а на столе холодец, заливная рыба, форшмак и паштет.

Она вспомнила, как её угощали в Оксфорде — ломтик сыра с виноградкой в качестве декорации, поджаренный хлеб с листиком салата и пирожное, настолько маленькое, что невозможно было разобрать вкуса. Крохоборство редкое, зато сервировка — закачаешься.

Пить без тостов мы не умеем, поэтому Аля услышала в свой адрес много хороших слов. Все быстро захмелели и наелись, и на торт уже ни у кого не оставалось сил. Мы так устроены, не можем распределять свои силы, но ещё хуже, что мы и чувства не умеем распределять. Отдаем всё сразу, а потом попадаем в дурдом.

Гости ушли поздно, но спать Але не хотелось. Она решила открыть конверт:

«Я же обещал тебя найти. Это оказалось несложно. Твой отец живет всё там же, где жила ты и где я бывал много раз. Прийти к тебе я не решился, а вот с ним встретился. Прошу об одном — не выбрасывай шубу на помойку и не вздумай отдать какой-нибудь бомжихе, а то я тебя знаю. Я продам дом в Лапырёвке и никогда там больше не появлюсь, чтобы не смущать тебя. С днем рождения!»

* * *

Наступила зима, такая вьюжная и снежная, что люди и дома виделись через молочно-серое марево или не виделись вообще. Электрички ходили плохо, и Аля уже почти два месяца не была у Веры. Несколько коротких телефонных звонков внесли некоторую ясность в её житьё-бытьё. Вышивать она перестала, занялась вязанием, связала Спартаку два свитера и два шарфа. Але связала теплые носки и шаль. Надо бы поехать забрать. Муся ведет себя тихо, в беседы не ввязывается, огрызаться перестала, видно, стареет. Гарпинчиха приходила мириться, засыпала Веру и Мусю комплиментами, слышала в какой-то песне, что это надо делать непременно

но, потому что жизнь короткая такая, что неровен час сыграешь в ящик и так ничего хорошего никому не скажешь. Кто бы мог подумать, что Гарпинчиха так сложно эмоционально устроена. Собакевич приходил прощаться, снова едет в Испанию, а дом продал какому-то бандюгану из шоу-бизнеса, так что Вера временно не работает. Зато Спартак день и ночь на работе, модно стало иметь кошек и собак, и клиенты, в основном, люди богатые. Есть у него далеко идущие планы — открыть в Лапырёвке приют для животных, а к спонсорству приобщить своих клиентов. Если дело пойдет, Вера будет ему помогать.

Аля выглянула в окно. Метет, но надо пойти к отцу, она обещала, а то он в последнее время хворает, а Гизела совсем растерялась.

Новая шуба в такую зиму оказалась очень кстати. Аля оделась и даже покрутилась перед зеркалом.

Алик стоял у Алиного дома и замерзал. Завтра он уезжает, и он должен её увидеть. Он ждал и надеялся, что, несмотря на погоду, она выйдет. И она вышла, и даже в шубе была похожа на японскую статуэтку. Она быстро удалялась, и снегопад, как густая ширма, все плотней заслонял её точеную фигуру, и силуэт становился почти невидимым и в конце концов совсем слился с белой завесой. И Аля в ней исчезла. Ушла в бесконечность.



Имильян ДОРОШЕНКО (Андрей БЛОКБАСТЕР)

/ Винница /

* * *

Солнце встало из-за горизонта.
Я пью кофе,
Добавляя туда небесных лучей...

* * *

Если открыть
Дверь на ночь,
Утром обязательно
Придёт ангел...

* * *

Куда едет поезд
Без пассажиров?
Возможно, он везёт
Души умерших на тот свет...

* * *

Как напиться в пустыне,
Если нет воды?
Просто плакать
И пить свои слезы...

* * *

Если бежать на закате к солнцу,
Обязательно прибежишь в рассвет,
Когда солнце будет подниматься из-за горизонта.

Елена МОРДОВИНА

/ Маастрихт /



НОВЫЕ СЛОВА

Пьеса

Действие происходит во время вынужденного поселения в Европе граждан Украины, убежавших от войны. Весна-лето 2022.

Действующие лица:

ДЕД, Жан Дюшан — голландский пенсионер, бывший рабочий завода металлоконструкций, активный, деятельный, взял переселенцев, чтобы подзаработать на коммунальных выплатах от правительства. Постоянно что-то делает, обустроивает, ремонтирует, встает в шесть утра и начинает суету.

МАТЬ, Катерина — 38 лет, мама 17-летнего студента, оба эвакуировались из Харькова после двух недель ракетных обстрелов, мать боится за сына и больше переживает за оставшихся на родине, чем за себя. Пытается примирить деда-реалиста и мечтателя-студента.

СЫН, Максим — 17 лет, студент первого курса факультета графики.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Явление первое

Дом деда, комната для гостей. Входят дед, мать и сын. Мать и сын кладут на пол рюкзаки и осматриваются в комнате.

ДЕД. До вас тут жили, свинарник развели, никакого порядка. Надо тут обои подклеить, отошли. Жалюзи починить. (Ходит по комнате и заглядывает во все углы.) Гладильная доска вам нуж-

на? Я принесу с чердака. Убрал туда весь хлам. Если что-то нужно — говорите. У меня на чердаке много всякого. Видели эту перерадачу? Там американцы покупают контейнеры с хламом и потом разбирают — кому что попадет. Можно найти античную статую, старинное что-то, антиквариат ценный. Ты можешь заглянуть в контейнер с фонариком — но не больше — и тогда торгуйся! А там уж как повезет: кому статуя, а кому хлам еще на свалку вывезить придется и платить за это.

Открывает дверцу шкафа (или кладовки). Оттуда вываливается хлам. Дед пытается запихнуть его обратно. Сын и мать помогают.

ДЕД. Я давно хотел пустить порядочных жильцов. Чтобы никакой больше шаурмы в доме.

МАТЬ. Я хорошо готовлю. Что вы любите из еды?

ДЕД. Все ем. С детства все ем. Никогда не жалуясь, какое бы говно вы ни приготовили. *(Обводит комнату взглядом.)* Места тут не так много, но вдвоем прекрасно можно разместиться.

МАТЬ. Да бросьте! Тут так просторно! Взвод солдат можно поселить.

ДЕД. А вот этого не надо! Знаю я вас. Что вы, что поляки. Живете в комнатах по тридцать человек. Работали у нас поляки, знаю, как вы живете. Давайте мне без этого. Без всех этих родственников и знакомых. Поселяю только вас. Никаких солдат!

Дед приносит инструменты и начинает что-то подпиливать в дверном засове. Фейерверк искр летит во все стороны — на деревянную дверь, на ковровое покрытие, на обои. Сын нервно ходит по комнате, всем видом выражая возмущение тем, что дед не оставляет их в покое и не дает спокойно разместиться.

МАТЬ. У вас огнетушитель в доме есть?

ДЕД. На чердаке посмотри.

МАТЬ. Мы купим, если вы не возражаете.

ДЕД *(догадывается, почему она волнуется)* Эти искры безопасные. От них ничего загореться не может. У меня теперь на каждом этаже, в каждой комнате пожарная сигнализация. *(Тычет пальцем в угол под потолком.)* Так положено. В *гементе*¹ даже объявление висит. Видели? Нет?

МАТЬ. Но пожарная сигнализация не тушит пожар. Надо иметь в доме, мне кажется. С вашей бурной деятельностью. *(Пытается заглядывать неловкость и переменить тему.)* Жан Дюшан — это французское имя. Вы француз по происхождению?

¹ Гементе — местный муниципалитет.

ДЕД. Я голландец.

МАТЬ. Возможно, у ваших предков были французские корни. Вы говорите по-французски?

ДЕД. Нет. Дед был из Франции, я этим никогда не интересовался. Я голландец.

Немая сцена. Дед занимается замком. Мать и сын сидят на кроватях и ждут, когда он уйдет, чтобы наконец переодеться и отдохнуть.

Явление второе

Раннее утро. Дом деда, приходяжая непосредственно возле комнаты для гостей. Дед электролобзиком пилит бамбук прямо перед дверью в их комнату. Сооружает декоративную бамбуковую стенку. Маленький верстак с зажимом, инструменты: пила, молотки, стамески, радио. Все покрыто опилками. Возводит балюстраду. Радио вещает на голландском. Мать выходит из комнаты. Ступает аккуратно.

ДЕД. К столбу не прислоняйся, он еще не закреплен. Так повезло с этой бамбуковой кроватью на *Марктплаце*¹, отдавали совершенно бесплатно! Кровать мне еще одна не нужна, я тут роту солдат размещать не намерен, а вот стенку красивую для вас сделаю — будет у вас тут как бы свой выделенный уголок.

МАТЬ. Спасибо огромное. Вам кофе сделать?

ДЕД. Сделай. С молоком. (*Кивает на радио.*) Снова говорят, что специалистов рабочих в стране не осталось, с уходом нашего поколения на вес золота. А меня на пенсию выперли. Что вы без меня делать будете? Подержи здесь. Я выпилю полукруг. Хэнк, бездельник этот. Я к нему подхожу и говорю: у тебя обе руки левые. Что вы делать будете без меня? Нет, он взял каких-то поляков. Видел я этих поляков. Он сел сваривать на табуретку. Представляешь? Ровней держи. На стул сел и сваривает! Сидя! Идиот. Как таких можно на работу брать?

МАТЬ. Я пойду сделаю кофе.

ДЕД. Сын твой спит еще?

МАТЬ. Спит.

ДЕД. Как можно столько спать? Я уже в саду успел поработать. Встал в шесть утра.

МАТЬ. Он поздно лег. Пишет курсовую работу.

ДЕД. Играют на своем компьютере целыми ночами. (*Кричит ей вслед*) С молоком!

¹ Марктплац — сайт частных объявлений

Явление третье

Просторная кухня. Мать готовит, невыспавшийся сын, в трусах и футболке, входит в кухню.

СЫН. Что дед сегодня так рано подорвался?

МАТЬ. Он встал в шесть утра. Еле дождался, когда наступит позднее утро, чтобы нас не будить.

СЫН. Восемь часов — это позднее? Я сдохну сейчас. Пытался накрыться подушкой — не помогает, включил компьютер — невозможно ничего делать из-за этого шума. Пришлось выползти в конце концов.

МАТЬ. Он для нас старается. Чтобы нам тут уютно было. Бамбуковую стенку вот сооружает.

СЫН. Я видел. Делать ему больше нечего.

МАТЬ. Иди пригласи его, пусть с нами позавтракает.

СЫН. *(Уходит и тут же возвращается.)* Он не хочет идти, пока не закончит.

МАТЬ. Мне так неудобно. Сидим тут, завтракаем, а он работает. Но с другой стороны, уже десять, я хочу поесть. Чашка кофе с утра — и все. Я так не могу.

СЫН. Да расслабься. Что тут такого? Люди едят. Если он не хочет, то это его дело. Это Европа, мам. Каждый занят своим делом, ни у кого никаких предубеждений.

МАТЬ. От помощи отказался. Должна я что-то делать? Пошла приготовила завтрак. Надо научиться вставать пораньше.

СЫН. Я могу работать только вечером, когда никто не мешает. Всю ночь курсовую писал. Нам кроме рисунков еще двадцать страниц пояснений надо сдать. И тут с добрым утром!

МАТЬ. Ну пойми его. Вспомни, твоя бабушка была точно такой же. Суетилась все время, что-то затевала, ремонты эти бесконечные, новая мебель, там покрасить, там кафель переложить. Потом еще дача эта. С его точки зрения, в доме живут два бездельника. Для него люди, которые работают за компьютером — это бездельники. Помнишь, что он о своих менеджерах говорил? Трутни. И потом, ты ночью работаешь, но он этого не видит. Он видит, как ты еле встаешь в десять часов утра, а то и в двенадцать, почти к обеду.

СЫН. Я не могу днем работать. Он заколебал жужжать!

МАТЬ. Но нельзя же не помогать. Иногда можно свою помощь предложить.

СЫН. Но не учиться же дырки сверлить? Зачем ты ему тогда так сказала? Я что, должен учиться еще и дырки сверлить? И так ездим с ним за этой мебелью, доски таскаем, херню всякую. Я сюда не грузчиком приехал работать. Я беженец. И ты не кухарка.

МАТЬ. И все-таки, человек старается, дом обустраивает. У нас с тобой есть свободное время. Почему не помочь старому человеку?

СЫН. Мать, ку-ку! Он свой дом обустраивает. Свой! И мы деньги ему платим. Он за нас получает. Всё. Мы сами по себе, он сам по себе. Это его хобби. Его хобби — всё перестраивать. Ломать, крушить, заново все делать, вместо гостиной у него сарай, мастерская, он живет в мастерской, по сути. Нравится ему такая жизнь. Я здесь при чем? Я же не заставляю его в «Дарк Соулз» играть.

Входит дед.

ДЕД (*радостно*). Гуд мониторинг, Вьетнам!

СЫН. Люблю запах напалма по утрам! (*Обращаясь к матери.*) Одно радует. Что дед не такой уж отсталый.

Явление четвертое

Разгар дня. Сын в футболке и джинсах, сосредоточенно сверлит в стене отверстия и вставляет дюбеля. Дед входит в гостиную с пачкой писем и телефоном, прижатым к уху. Критично осматривает работу сына и продолжает разговор по телефону.

ДЕД. А я вам говорю: мне нужно назначить встречу побыстрее! Как это нет свободных дат на следующую неделю? Что вы там все сидите делаете? У меня тут два голодных беженца с Украины, я их кормлю каждый день, комнату им выделил. Они электричеством пользуются? Пользуются. В душ каждый день, стирать каждый день, готовят не переставая. Мне компенсация положена, по-вашему, или не положена? Я устал уже за свой счет кормить здесь роту солдат. Им тоже надо на что-то жить! Это мать и сын, они, бедняжки, выбрались из-под ракетных ударов, а здесь им такой прием устраивают! В *гементе* нет свободных дат! Да! Попробуйте выяснить! Я вечером еще раз позвоню. Безобразия какое!

Дед выключает телефон, кладет его в нагрудный карман, надевает на нос очки и вскрывает письма, пристально вглядываясь в каждую бумажку.

ДЕД. Нет, эта страна хорошо не кончит. Нас всех ждет коллапс! Они перекалывают дорогу у меня под окнами уже третью неделю, я все жду, когда это закончится, а потом они снова начнут ее раскапывать! Такое может быть только в Голландии! Видите, письмо прислали: уважаемые жители... в связи с прокладкой оптоволокна... в вашем районе... извините за неудобство. Это они фиброглас прокладывать будут для телевидения и скоростного ин-

тернета. Спасибо! Почему вы его не положите сейчас, когда вскрыли дорогу? Нет, вы придете через месяц и снова будете ее вскрывать! А потом они удивляются, куда из бюджета пропало пятнадцать миллиардов. Идиоты! Страна идиотов! Мы, голландцы, самая отсталая нация. И эта бюрократия нас добьет.

Сын вбивает гвозди и берет с дивана огромный выцветший постер «Города женщин» Феллини на двух деревянных планках. Вешает верхнюю планку на гвозди. Дед контролирует работу. Мать накрывает на стол.

ДЕД. Правый угол чуть выше. Вот так. Инструменты на место отнеси — и можем садиться обедать.

Все усаживаются за обеденный стол.

ДЕД. «Город женщин»... Помню я этот плакат. Я тогда в Роттердаме работал, когда этот фильм вышел — висели по всему городу. Только этот выцвел. Он был такой красный. А вот это рот был. Губы. Ты ни за что бы теперь не догадался, что это рот, да? Но зато он мне сюда по цвету подходит, к этой мебели.

СЫН. Да ты дизайнер, дед. Тебе пора свое дизайнерское бюро открывать.

ДЕД. Я когда этот плакат на Маркете увидел — сразу понял — беру! И еще я эти стыки бамбуковых перил веревкой бы обмотал. Поедешь со мной за веревкой в «Экшен». Я тебе покажу как — будешь обматывать. Все равно ничего не делаешь целыми днями. *(Обращаясь к матери.)* Как вы будете свою страну восстанавливать с такой молодежью? Не представляю.

МАТЬ. *(Пытается переключить его внимание и предотвратить конфликт.)* Вот этот красный суп называется «борщ». Самое знаменитое украинское блюдо. Символ Украины, можно сказать. Давно хотела приготовить, но не видела свеклы в нашем магазине. Сегодня на рынке купила.

ДЕД. Как, ты говоришь, это называется?

МАТЬ и СЫН (одновременно). Борщ.

ДЕД *(медленно и торжественно проговаривая)*. Борщ... Борщ... *(Берет ложку и начинает есть.)* Возьмем, например, твоего сына. Тебя, Макс. Вот я когда тебя мебель забирать позвал первый раз, ты же вообще не знал, как за нее браться. Подходит, берет еле-еле за краешек. И с таким видом, как будто его заставляют, как будто он в рабстве у кого-то. Ты же для себя это делаешь! Я тебя молоток научил в руках держать, сверлить, дюбель вставить элементарно.

СЫН. О, Боже, опять началось!

ДЕД. А что, я не прав? Вам Путин весь город расхерачил своими ракетами, кто его восстанавливать будет? Я не поеду. Я старый

уже. Ты будешь восстанавливать. Строить, стены возводить, штукатурить. А ты только за компьютером умеешь! (*Дед машет рукой в сторону сына. Обращается к матери.*) А почему ты спагетти всегда готовишь без подливки? Вы всегда едите спагетти без соуса? Посмотри у меня в шкафчиках на кухне, там такие соусы в пакетах. Добавляй в макароны, когда готовишь, а то я не могу так есть.

СЫН. То говорил, что он есть все, а теперь ему спагетти только с соусом подавай.

ДЕД. Сыром посыпать недостаточно. Чем вы там вообще питаетесь все? Борщ! Господи, ты неправильно меня понял! Я говорил, я хочу борщ! А ты прислал мне борщ. Ты что там, тоже глухой, что ли? Борщ!

Мать собирает посуду и выходит.

Сын сидит и читает что-то в телефоне. Тишина. Дед вдруг вскакивает и начинает хлопать у него над головой. Обходит его вокруг, подпрыгивает и не переставая хлопает. Сын молча смотрит в чрезвычайном удивлении.

ДЕД. Мошки. Лето началось, опять эти мошки появились. Откуда они только берутся? И главное, только летом.

Продолжает неистово хлопать.

ДЕД. Тебя что, эти мошки не раздражают?

СЫН (*взбешенно*). Меня раздражает, когда вы тут надо мной прыгаете и хлопаете! А мошки меня не раздражают, я их не вижу вообще.

ДЕД (*тоже почти кричит*). Так пойдй займись чем-то! Сидишь тут, мошек собираешь, как говно. Все украинцы давно уже себе работу нашли. Меня соседи давно спрашивали, почему этот здоровый парень бездельничает? Еще в сезон спаржи. Можно было пойти спаржу собирать. Все устраиваются, чтобы для семьи подзаработать! А ты даже холодильник толком закрыть не можешь. Все на 75 процентов. Все, что ты делаешь, на 75 процентов. Ты можешь нормально закрыть дверь холодильника, чтобы она не открывалась? Это все равно что выйти, завести машину и оставить ее так на всю ночь. Холод выходит, мотор работает, за электричество мне платить.

СЫН. У вас холодильник не такой как у нас, наш чуть-чуть достаточно подтолкнуть, и он захлопнулся. Я просто по привычке так закрываю.

ДЕД. У вас в Украине там холодильники, наверное, пятидесятих годов. Присосалось — и все, не откроешь. А может, у меня резинка уже старая, менять надо. Сейчас встану, посмотрю.

СЫН (*глубоко вздыхает*). Давай, дед, иди уже!

Дед встает и подходит к холодильнику, в задумчивости открывает и закрывает его несколько раз. Возвращается к столу.

ДЕД (*вынимает из заднего кармана джинсов и сует в лицо сыну свой телефон. Стоит, нависая над ним*). Сынок, посмотри. Ты думаешь, они тут на этом сайте людей обманывают? Ты в этом понимаешь? Вот сегодня кто-то бриллиант купил за семь евро. Скажи, ну может быть такая цена? Торговаться мне или нет? Это аукцион такой. Все мелкие. Но стартуют с одного евро. Вот этот уже шестьдесят евро. Но это кому как повезет. Кто-то почти до реальной цены доходит, а кому-то повезло за семь евро купить. Посмотри, ноль два карата сколько стоят?

СЫН (*заглядывает в свой телефон*). Сейчас гляну. Ноль два карата — примерно двести пятьдесят — триста евро.

ДЕД (*продолжает нависать над сыном*). В любом случае дешевле получается, даже если за шестьдесят и с доставкой. И сертификат прилагается. Но это же надо знать, кому продать. У меня знакомый так недвижимостью занимался. В банке работал. Знал, где людей будут выселять. Звонил кому надо — с каждой сделки десять тысяч имел. Тут сделка, там сделка — вот тебе и порш. С ювелиркой можно так же хорошо пристроиться, бизнес наладить.

СЫН. Да сколько ж можно! Могу я спокойно в тишине посидеть после обеда? Пиздуй уже, дед! Пиздуй!

Дед не понимает последнего слова, но интонация его обижает, он отходит и стоит с обиженным видом.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Явление первое

Вечер. Комната переселенцев. Сын играет на ноутбуке в сетевую игру. Мать лежит на кровати, прикрыв ухо второй подушкой, пытается уснуть.

СЫН (*тихо*). Опа! И я сразу превращаюсь в копыеносца... что-то наряд у нас сегодня какой-то стремный. (*Громко, почти кричит.*) Да что у нас с одеждой вообще?

МАТЬ (*в полусне, приподнимая подушку*). Вчера постирала все, до завтра до утра высохнет, не беспокойся...

СЫН. Мам, я не с тобой. *(Снова начинает тише.)* Либо через окно выбора эмоций, либо через строку в чате. Ты чат этой херней спамишь. А что у тебя с голосом? Голос совсем не похож на твой настоящий. Тебя обманули. Есть способность «спринт», у тебя на хотбаре должно быть. *(Снова громко.)* Ты на сервере Омега?

МАТЬ *(снова разбуженная, громко и зло)*. Да! Омега! Готова к выполнению боевого задания!

СЫН. Мааам! Да это мама моя. Я походу ее разбудил. Извини, мам. Тебе привет от Игоря. *(Снова тише.)* Сначала это кажется костылем, но потом, когда ты понимаешь систему игры... ну куда ты побежал? Слепая кляча! Мам, это я тоже не тебе, сразу говорю! Помнишь, такие кубики были у нас на детской площадке, крестикинолики. Не помнишь? Все мозги уже пропил.

МАТЬ. Зачем ты так с Игорем? Хороший мальчик.

СЫН. Мам, мы шутим. Додикейтсы... додики, я тебе говорю. У меня все с хотбаров пропало. Это отвратительно. Теперь мне нужно вспомнить, что у меня там было. Так, погоди. Серьезно? Наш Жора? Прямо по заправке? Мам, ты слышишь? Тот обстрел, что вчера был, когда заправку взорвали. Так Жора наш с родителями с этой заправки за пять минут до этого отъехал.

Все удрученно замолкают. Тишина. Немая сцена. Сын заканчивает игру. Мать садится на кровать, оставляя попытки уснуть.

МАТЬ. Лучше скажи мне, зачем ты на деда вчера накричал? Совесть у тебя есть?

СЫН. Да он заколебал меня уже! Все не может успокоиться. То идеи свои безумные часами рассказывает, висит над головой, то опять надо куда-то ехать. Я ему не грузчик, я устал изображать вежливость! Старик стаскивает в дом этот хлам, он загромоздил всю гостиную, даже в коридоре уже негде развернуться — там полки для инструментов, которые до сих пор все равно свалены в прачечной, и старинный гардероб, которым даже нельзя пользоваться, потому что дверцы заблокированы досками от того стола, из которого он хочет соорудить раздвижные двери. И одежду приходится складывать на диван. Он же тащит все. Эта голова Будды, которую мы привезли из Герцогенрата? Зачем ему в саду голова Будды? Он не буддист ни разу, он вряд ли даже знает, кто это такой. Голова Будды и бетонный столбик. Бетонный, блядь, столбик! За которым мы ездили в какие-то бельгийские ебенья за тридцать километров.

МАТЬ. Перестань ругаться. Что за манеру взял? Думаешь, если ты пострадал от войны, то теперь можно при матери выражаться? Взрослый такой стал?

СЫН. Извини. Зато теперь не нужно ухаживать за садом — с головой Будды наш сад напоминает джунгли. Обезьянки только не хватает. Столовый гарнитур, зеркало со стеганой кожаной обивкой, бю-

ро, горизонтальное зеркало, второй диван, из-за которого теперь не развернуться, витрины для его коллекции — все это я на своем горбу перетаскал. Когда мы перетаскивали эти мраморные столики, хозяин посмотрел на меня и на деда — и сам стал помогать нам спускать их по ступенькам со второго этажа, несмотря на свою большую спину. Объясни мне, зачем все это? И завтра мы опять куда-то едем. Он когда видит, что это отдают бесплатно, не может удержаться, чтобы не нажать на кнопку. Отнимите у него кто-нибудь телефон! (*Встает и подходит к двери.*) Я на кухню. Тебе чего-нибудь принести?

Явление второе

Сын выходит на кухню. На кухне темно, только лицо деда подсвечено мобильным телефоном. Дед сидит спиной к входящему и громко говорит в телефон с акцентом.

ДЕД. Пиздуй! (*Пауза.*) Пиздуй! (*Пауза.*) Нет, что-то не то.

Оборачивается, видит вошедшего, немного смущается. Сын включает свет. Дед подзывает знаком.

ДЕД. Это правильный перевод? Думаешь, ты мне тут на своем языке ругаешься, старый дед дурак? Старый дед ничего не понимает? У старого деда есть программа в телефоне! Вот, смотри. Это правильный перевод?

СЫН (*Заглядывает*). Нет... не совсем. Пиздуй — это... как бы так сказать, производное от этого слова. У нас очень сложный язык. Существительное обозначает одно, а глаголов от него может быть множество. И каждый может означать совершенно что-то разное. В данном случае это обозначает... как бы: отвяжись, дед, иди куда шел, занимайся своим делом. Отстань, короче.

ДЕД. Кажется, что-то ты мне привираешь.

СЫН (*шепотом*). Пиздишь.

ДЕД. У матери твоей спрошу.

СЫН. О, боже! Этого еще не хватает. Хорошо, спросите.

Явление третье

ДЕД. В Херлене сегодня. Заезжаем в район многоэтажек, во дворе эта шаурма на велосипеде — одна рулит, другая на раме селфи снимает — чуть не сбил идиоток. Эй, кричу, шаурма! Вы не на верблуде у себя в пустыне. На дорогу смотрите!

СЫН. Господи, он чуть их не задавил. Но район действительно жутковатый. Сплошные многоэтажки, как у нас на Салтовке, но магазинов нет совсем, машины какие-то старые разбитые. Объявление: «Еду не разбрасывать, чтобы не заводились крысы». Крысу мы, и правда, видели. Большая. Показалось — белка от дерева шмыгнула. Огромная такая. Думаю: почему серая? Не полиняла еще с зими? Облезлая какая-то. И все это в одну секунду пронеслось.

ДЕД. А это крыса. (*Смеется. Водит вилкой по тарелке.*) А сколько пакетов подливки ты добавила в этот рис?

МАТЬ. Три пакетика, по одному на каждую порцию, как в инструкции написано.

ДЕД. Это много, такое количество подливки убивает вкус риса.

МАТЬ (*бросает вилку в сторону*). А как вы вообще можете людей шаурмой называть? Они что, не люди? Они хуже вас? Они от войны сюда уехали, как и мы, между прочим.

ДЕД. Я ничего плохого не имею в виду. У меня до вас тоже сирийцы жили. Что запомнил, то и говорю. «Мербан! Шкран лика! Шаурма...» Постоянно эту шаурму ели. Дружили мы с ними очень. Потом они свою квартиру получили, звонят иногда. Я вообще на всех ругаюсь. Не обращайтесь внимания. (*Пауза.*) Но если совсем честно сказать, они меня иногда бесят. Знаете, какие у нас тут налоги? Мы половину заработанного отдаем государству. Половину! А кто-то живет за мой счет, не работает, плодит детей, гуляет по аутлетам в Рурмонде. Толпами! Толпами гуляют с полными сумками этого всего гуччи-версачи. Вам бы не было обидно? Я всю жизнь работал, спины не разгибал.

МАТЬ (*после паузы*). Вы знаете, мы, люди европейской культуры, слишком рациональны, мы надеемся на себя, на свои рабочие руки, а они надеются только на то, что Аллах их не оставит. В любой ситуации. На войне, в мирной жизни. Надеются на своего бога. И кто в результате прав? Аллах их не оставляет. Посмотрите на их женщин! Идут красивые и стройные по жизни в своих развевающихся одеждах. А я тоже всю жизнь, как лошадь, с работы на работу.

ДЕД (*задумчиво*). Может быть, ты в чем-то и права.

МАТЬ. Я это поняла, когда убежала из Харькова — ощутила в этот момент, что все, на что ты надеялся — все тлен, только Бог реально может помочь, держит тебя за ниточку. Я всю дорогу молилась Богородице. Она понимает, что такое потерять сына. А я, надо сказать, не очень религиозный человек.

ДЕД. Хотите, вечером повезу вас в Гальпен? Там на холме — очень красивая статуя девы Марии. На самом высоком холме — с него видно весь Лимбург! И там как раз пивная есть, от гальпенской пивоварни. Посидим, пивка выпьем.

МАТЬ. Спасибо! Я тогда не буду пить, кто-то же должен назад вести машину. У Максима пока прав нет.

ДЕД. Не волнуйся. Я поведу. Немного пива мне не повредит. Я хорошо вожу машину.

Мать пожимает плечами в нерешительности. Дед включает телевизор. По телевизору транслируют выступление голландского комика Ганса Теувена (Hans Teeuwen), знаменитого своими неполикорректными шутками. Дед смотрит его выступление на голландском и громко смеется.

ДЕД. Красавец, ну красавец же! Говорит то, что думает. Хоть кто-то в этой стране может сказать напрямую, что он думает, без всей этой блядской политкорректности. Назвать белое белым, а черное, так сказать, черным. (Обращается к сыну.) Знаешь, кто это такой?

СЫН. Нет, впервые слышу.

ДЕД. Не знаешь? Ты не знаешь Ганса Теувена? Не может быть? Ты такой молодой и такой отсталый. Сейчас я тебе покажу. *(Подсаживается к Максусу со своим телефоном. Макс прекращает есть и отставляет тарелку с недоеденным ужином в сторону.)* Ну, по-голландски ты не поймешь, сейчас включу тебе по-английски.

Ищет ролик в телефоне. Включает Теувена на ю-тубе по-английски. Какое-то время слышен один из ярких монологов Теувена на английском языке.

По телевизору в это время начинается выпуск новостей. Показывают последствия очередной бомбежки Харькова. Дед выключает Теувена, снова подсаживается к телевизору и делает звук погромче. Все смотрят на экран. Дед безотрывно смотрит репортаж, кулаки сжимаются. Тут же новости переключаются на репортаж с пресс-конференции (либо интервью) Путина. На весь экран — голова российского президента, который что-то вещает о спецоперации.

ДЕД *(громко кричит)*. Пиздуй!

Дед вскакивает, подходит и нагибается к экрану, глядя Путину в глаза.

ДЕД. Путин, пиздуй!

Дед отходит от экрана к столику, в совершенном бешенстве.

ДЕД. Как бы я ему сейчас с ноги въебал.

Ударяет ногой по мраморному столику.

ДЕД. Jezus mij nooit!

Хватается за стопу, скачет, падает на диван.

МАТЬ. Надо лед приложить. Есть в холодильнике лед?

СЫН. Сейчас посмотрю. *(Встает и направляется к холодильнику.)*

МАТЬ. Очень больно?

ДЕД. А ты как думаешь? О мраморный столик со всего размаху?

МАТЬ. Пошевелите пальцами. Пальцами пошевелить можете?

Сын приносит лед.

МАТЬ. Прикладывайте. Но лед уже не поможет. Он пальцами не шевелит вообще. Надо скорую вызывать.

ДЕД. Не надо скорую, я сам поеду.

МАТЬ. Давайте я вас отвезу. Только скажите, в какую больницу. Макс настроит мне навигатор.

ДЕД. Я сам поеду. Помощь мне не нужна. Я всегда нажимаю на педали одной ногой, всегда! Педалью тормоза я вообще пользуюсь в исключительных случаях. Зачем тебе педаль тормоза, если регулировать скорость вполне можно педалью газа. Не понимаю я тех, которые на каждом шагу тормозят. Идиоты какие-то. Я вас уверяю, 80% людей на этой планете — с ними не все в порядке, это не люди, а так, попрыгунчики, танцоры. *(Напеваает припев песни «The Killers»: «Are we human, or are we dancer?»)*. Чертовы танцоры. Я один поеду.

СЫН. Похоже, у него реально шок.

МАТЬ. Одного я вас не отпущу. Я вызываю скорую.

Она хватает ключи со стола и прячет в карман. Дед пытается отобрать, но спохватывается.

МАТЬ. А вдруг вы сознание потеряете по дороге? Даже если одной ногой на педали? Как это можно одному ехать?

ДЕД. Ладно. Поедем со мной. Но машину я поведу сам.

Сын берет его под руку и выводит из комнаты. Мать следует за ними.

Явление четвертое

Все трое в машине. Дед за рулем. Мать рядом. Сын на заднем сиденье.

ДЕД *(на перекрестке. Смотрит влево, на соседнюю полосу)*. Эй! Кофе-машина! Привет! Мне два капучино, пожалуйста! Нет, он стоит и тарыхтит, стоит и тарыхтит. Он настолько идиот, что не понимает, что у него масло в машине закончилось, ему в СТО надо. *(По переходу медленно идет человек.)* А этот идет, задумался. О вечном, блядь! Человек без жопы. Ну, вы посмотрите на него. Где его жопа? Тело накачал в тренажерке, плечи во! Бицепсы во! А жопы нет. Ты, когда качаешься, хоть в зеркало на себя смотри. Жопу тоже нужно подкачивать. Ох, нога прям как будто в кипяток опустила! А ты что встал? Остановился на барбекю? Камон, давай! У меня нога сломана, мне в больницу надо. Зеленый уже! Езжай быстрее! Поехали, слава тебе господи. *(Качает головой вправо.)* А вот там вот живут плантаторы марихуаны, все об этом знают. Однажды, когда зимой выпал снег, на этих крышах снега не было. Везде горой снег, а у них — как ни бывало. Все знают, где эти плантаторы про-

мышляют, но пока не поймали — скакнет там электричество или что — им никто ничего предъявить не может. И вот этого я не понимаю в наших идиотских голландских законах. Продавать марихуану, значит, можно, а выращивать нельзя. Стоп! Где логика? Где-то что-то у меня не сходится в этой логической цепочке. Куда ты едешь? (Сигналит.) Как ты едешь? Поворотник дома забыл? Курва! (Обращается к остальным.) Поляки научили. Машина на польских номерах. Ездить вообще не умеют. Курва! Курва мать!

МАТЬ. Как вы себя чувствуете? Может, вас сменить за рулем?

ДЕД. Да мы уже приехали почти. Как я себя чувствую? Наверное, я прекрасно себя чувствую! Сейчас только талоны возьмем. Там какой-то кретин в очереди к автомату. Ты что там застрял? Писькой своей сидишь играешь? Камон, это просто билет! Покупаешь — уезжаешь — даешь другим людям проехать.

Дед покупает талончик, высунувшись из окна.

ДЕД. Снова порш! Они что их, врачам бесплатно раздают? Ты посмотри, как у нас хорошо врачам живется! У них всегда порши, а мы только налоги платим. Когда-нибудь это государство докатится, я вам говорю!

Явление пятое

Вечер. Гостиная. Дед и мать сидят за столом с бутылкой вина и бокалами. Дед в гипсе. Играет музыка. На заднем плане сын в джинсах, футболке и рабочем фартуке клеит обои (или штукатурит). Доклеивает одну полосу, складывает инструмент. Переходит к сваленным панелям от разобранного шкафа. Берет шуруповерт, начинает собирать шкаф. Видно, что он уже многому научился за время пребывания в Голландии.

ДЕД. Может быть, ты вторглась в его личное пространство?

МАТЬ. Личное пространство! Личное пространство! Никто в него не вторгался. Только когда его личное пространство вышло из берегов и затопило нашу тихую семейную гавань, я немножечко вмешалась.

ДЕД. Заглянула в его телефон?

Мать делает большой глоток и кивает. Дед хитро улыбается и кивает в ответ.

ДЕД. И что там? Блядина?

МАТЬ. Если бы одна... (Загибает пальцы.) Одна блядина, еще одна с работы, а еще с одной он встречался, когда врал мне, что летит в командировку.

ДЕД. Отец хотя бы сыном интересуется? Где вы сейчас? Что с вами?

Подходит сын.

МАТЬ. Тс-с-с! Не при ребенке.

ДЕД. Зря все-таки, что вы так скоро уезжаете. Может, все-таки останетесь? Я уже к вам привык. И сын твой у меня кое-чему научился. Посмотри, какой молодец!

МАТЬ. Да, война почти окончена, теперь надо ехать восстанавливать мирную жизнь. Поживем пока на даче. Теперь вдвоем справимся. Спасибо вам!

ДЕД. Все равно там пока опасно. Мины везде. Пока все разминируют... Может, тут перезимуете? У нас тут такие счета придут в конце года из-за этой войны! На сорок процентов газ подымут, а то и больше. Вместе как-то легче. Сам я не потяну. Придется новых жильцов брать. Опять привыкать!

МАТЬ. А кто меня ругал за электричество! «Готовит и готовит, готовит и готовит. Я никогда не готовлю! Пойду фрикадель куплю, если проголодаюсь». Кто так говорил?

СЫН. Или шаурму.

ДЕД. Или шаурму. И не моюсь я столько. *(Притворно сердится.)* Тонну воды извели.

МАТЬ. Но мы все-таки поедем.

ДЕД. Зачем уезжать? Я же вас не выгоняю, не говорю вам «Пиздуй». Я это вот вам старался жилье обустроить, рассчитывал, что вы здесь надолго. Балюстраду сделал, мебель новую завез. А к концу года у меня опять пшик. За газ придет счет — и мне нечем платить. Вы меня на мель сажаете с этим вашим отъездом.

МАТЬ. Скажите уже просто, что будете по нам скучать.

Дед замолкает и опускает руки, поднятые в полемическом задоре. Звучит музыка. («Are we human, are we dancer?») Немая сцена.

Эпилог

Пустая сцена. Дорога. По сцене идут двое с рюкзаками — мать и сын.

МАТЬ. Интересно, как он будет нас называть после нашего отъезда?

СЫН. У тебя насчет этого еще есть какие-то сомнения?

МАТЬ. Борщ?

СЫН *(одновременно с матерью)*. Борщ.



Илья ИОСЛОВИЧ

/ Нешер /

* * *

В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений ...

Н. Заболоцкий

В другой стране из старых клеток
Мы попевали там и тут,
И обходились без жилеток,
Если всплакнуть.

Мы не ходили в рестораны,
В стаканы наливали дрянь,
И слушали чужие страны
В такую рань...

Трудящихся гнилые массы,
В полуботинках новый класс
Глядит, как лихо мимо кассы
Проносит нас.

* * *

Нас просят прочитать стихи
На вечер глядя,
где у дороги лопухи
и ходит дядя...
Залиты сахарной водой
твои гляделки
и собрались на водопой
лихие девки ...
Тут нужен благородный лорд
С прекрасным сердцем,
Который ест свой бутерброд
С кайенским перцем.

Богатство, широта души,
Монокль, манеры,
Он будет жить у нас в глуши,
Но с чувством меры.

* * *

Там обрусевший немец Фет
Среди жнивья и жита
Съедал зараз по пять котлет
Свирепо и сердито...

* * *

Читатель, тот, что говорил:
«Твои волшебные стихи»,
Уже отплыл себе, отплыл
К другому берегу реки...

Шумели внятно тополя,
Следя, как этот утлый челн,
Среди течения руля,
Опять безумно увлечен...

На том кончается пейзаж,
Или сказать по-русски фрейм,
Что подразумевался наш,
А стал ничей...

ГЕРОИ И ТОЛПА, 1881

Они достали императора,
Его тащили через двери,
И возле не было оратора,
Чтобы сказать, что люди — звери...

Его ухлопали жестянкой,
Два фунта нитроглицерина,
На снежной небольшой полянке,
Где трудно промахнуться мимо.

Всем будет счастья немеренно,
Всем будет благо и свобода,
Народ воспрянет и немедленно
Их примет радостно у входа.

А то что кровь, начав, не кончится,
А что без виселиц — ну прямо,
А то, что им, героям, хочется,
Народу получилась яма.

КОРНЕТ¹

Оборотистые дамы
проводжали на вокзал,
Там поэта ожидали,
Чтобы что-нибудь сказал...
Было дело, было тело,
что-то было и ушло,
Это время улетело
И на улице бело.
Ждет на улице фиакр,
ждет на улице мотор,
Это вам, корнет, не театр,
Вы, к тому же, не актер.
Это глупо револьвером
Поправлять свои дела,
Обведут фигуру мелом,
Возле двери, где легла...
А поэт глядит надменно,
У нее с горбинкой нос,
Это временно и тленно,
Вся в дыму от папирос...

¹ Гусарский корнет Всеволод Князев в 1913 году застрелился у двери квартиры, где Ахматова жила вместе с Глебовой-Судейкиной. Доподлинно не известно из-за кого из них. Поэта женского пола, я полагаю, надо называть поэтом, а не поэтессой или поэткой.

Элина СВЕНЦИЦКАЯ

/ Киев — Рим /



ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ

Маленькая повесть

* * *

Я не помню, что мне снилось той ночью. Ночью перед началом войны. Только помню: косматая громада подступает, нависает над головой, давит. Накануне все говорили:

— Будет война.

Но никто не верил. Войну ждали 16-го февраля. Тоже ждали, но не верили.

И теперь не верили, но это случилось.

Я проснулась в пять утра — просто стало плохо, сердце. Заглянула в вайбер. Подруга из Донецка писала мне: «Я только что поняла, что пора полностью менять планы на лето. Собиралась второй раз в Пицунду, но теперь вот понимаю, что больше всего я хочу поехать в свое любимое Святогорье, переплыть Северский Донец недалеко от Лавры, посидеть с той стороны на меловом берегу под нависающими соснами... Эля, теперь у вас будет то же, что и у нас... Ну скажи, за что нам такое?»

Я не знаю за что.

* * *

Сумятица и хаос. Вот что такое война на самом деле. Для людей, про остальных просто не знаю. Душа вверх тормашками. Сочувствие... ненависть... страх неизвестности... просто страх... ужас... Все это — клубок шевелящихся змей, лохматый крутящийся смерч, а в нем камни, ветки, осколки с треском наскокивают друг на друга, разбиваются на мелкие кусочки.

Вот это — наша жизнь. И все равно, уехать или остаться. Война находит везде, от нее не убежать и не спрятаться. Потому что на

самом деле она внутри — лежит как горячий камень. Восемь лет у нас эта каменная болезнь — камни всюду, а больше всего — на сердце. Вот как жить с этими камнями на сердце?

* * *

Мне все-таки хорошо: я не слышу то, что слышит моя кошка. Вот что с ней делается? Носится по квартире, скачет по дивану — и вдруг забивается в угол, смотрит оттуда испуганными глазами. Сидит, сидит, сидит там до бесконечности... Потом вдруг как выскочит! И опять носится, носится... и вдруг посмотрит на меня и заплачет.

Я могу только представить. Трясется земля... Черная дыра, из нее ползут на колесах и гусеницах массы железа, меченные латинскими буквами. Зачем вам латиница? Теперь будет письменность врага... Груды железа скрежещут, скрипят, царапают воздух. Уныло и тупо волочатся по земле, все ближе и ближе. Железо пронзает небо.

Кошка плачет... Зачем? Почему? Кто разрешил? Разве так можно?

Кошка плачет... Если вдуматься — это ерунда... А если еще вдуматься — так уж сильно мы, мирные люди, отличаемся от кошки?

* * *

А про это я сама рассказывать не могу — пусть рассказывает кошка. Я никак не могу. Нет слов. У кошки, может быть, есть.

Страшно. Страшно. Страшно. Они говорят — успокойся, все хорошо. Но на самом деле ничего не хорошо. Все очень, очень, очень нехорошо!

Рушится все. Там, далеко, падают огромные глыбы, кто-то пронзительно, отчаянно орет... Говорят — сирена... Что это за зверь такой? Наверное, огромный, весь в чешуе, зубастый, клыкастый, хвостатый. У него лапы, но его выбросили на сушу, и вот он воет — а что еще делать?

Но самое страшное — собираются сумки. Моя берегуша мечется по комнате, останавливается около какого-нибудь шкафа и стоит... и плачет... Что-то хватает, кидает в сумку, потом выкидывает и снова стоит посреди комнаты. А ее муж... не буду даже смотреть на него.

Но что же это они делают? Берут сумки, несут куда-то... А я? А как же я? Бросаете меня?

Улиток вытащили из аквариума, посадили в коробку, закутали... А я? Что же это такое...

Этот ужасный ящик. Он пахнет моим страхом. Страхом прошлого переезда. Не надо меня туда!

Они меня не найдут! Никогда не найдут. А если найдут — я буду защищаться.

Вот тут я и спрячусь. Но они схватили меня и тянут. Я кричу на них, но они не слышат. Они не понимают... Я хочу быть здесь, здесь, хочу, чтоб не было этих сумок, чтоб не грохотало там, далеко, чтоб не было больно, больно...

Этот ужасный ящик... Холодно... Пахнет бензином и морозом.

Мы куда-то едем, едем, едем... Пахнет чужими людьми, потом, слезами. Качаются и плачут.

Берегуша... Слышу ее голос... Говорит, что все хорошо, что все будет хорошо... Говорит, что нам повезло... Да почему ж это?

* * *

Я в трубе. Ржавое железо со всех сторон, за шиворот валяются колючие проволоочки, осколки, опилки. Жарко, душно, тоскливо. Нужно ползти. Но тело стиснуто в этой жаровне, и с каждой минутой становится все теснее, все жарче и чернее. Труба бесконечно длинная, и света в конце не видно. Мрак густой и глубокий, а воздуха все меньше.

Но как-то надо двигаться. Надо по чуточке, по капельке просачиваться в отверстие, которое все уже и уже, как-то надо понемножку перемещаться, вписываться в эти извилины, изгибаться и извиваться. Но очень мало сил. И воздуха все меньше и меньше. Надо преодолеть оцепенение и надо лягушкой, ящерицей, червяком, но как-то выползти из этой трубы наружу, даже если там ил и огромное болото расстилается под выцветшим солнцем, под низким небом, где нет ничего, кроме маленьких кривых деревьев с серозелеными листьями.

Мне трудно. Мне не выбраться из этой трубы. Мне не выбраться из этой норы. Перед глазами черно. Нет воздуха. Легкие выворачиваются наизнанку и скручиваются в трубочку, а перед глазами красный туман и огромное, близкое, страшное солнце.

Я просыпаюсь. Раннее утро. Мы просто едем по какому-то маленькому городу, автобус качается, тени качаются, головы спящих качаются. Густой утренний воздух вливается в приоткрытую дверь. Пустой маленький город, по улицам которого расползлись противотанковые ежи.

Зеваю и заглядываю в вайбер. Незнакомая мне Вера Погиба в пять часов утра пожелала мне безопасности, здоровья, удачи и мира. Пишу большое спасибо Вере Погибе за добрые пожелания. Но откуда она меня знает? У меня есть разные знакомые Веры. Вера Николаенко, она работала в лингвистическом институте и очень любила огромные тяжелые украшения, носила на шее цепи и камни. Вот где она сейчас? Вера Клейменова, очень популярная психологиня, у которой было всегда и для всех две новости — хорошая и плохая. Куда

она уехала? Где теперь находит свои хорошие новости? Вера Анненкова, просто странная женщина. Что с ней? Куда она подалась со своими странностями? Где они все? Куда их забросил вихрь войны? В какие неизвестные страны занесет он наши брошенные дома? Вот несется этот вопящий вихрь, а в нем люди плачут... а издалека похоже, будто бы они поют...

Вера Погиба, где ты?

* * *

Больше не могу. Теперь пускай рассказывают улитки. Их очередь. Улиток у меня много — целых двадцать девять штук. Вначале было две, но мы не уследили — и вот... Естественно, маленьких улитят выбросить рука не поднялась. А теперь они большие, привыкли к аквариуму и грунту... Мы бы их раздали, но кому сейчас они нужны? Вот пускай рассказывают — хоть какая-то от них польза.

Мы родились с домом на спине. Мы растем — и дом растет, становится крепким, наращивает извилины и укромные места, в нем можно прятаться долго — и никто не найдет. Мы все свое носим с собой.

Но нас подняли и понесли. Аквариум качается. И наш дом качается. Наш дом с нами, но он качается. Такого холода никогда не было. Лучше не высовываться. Забраться поглубже в грунт и сидеть там, в темноте, залечь поглубже, сжаться, сузиться, скорчиться.

Но холод проникает и сюда. Холод и качка, аж тошнит.

И голоса, голоса, голоса.

— Человеку плохо! Позовите кого-нибудь, плохо человеку!

— С границы сразу же разбирают волонтеры и везут...

— Куда везут?

— Каждый сам знает куда ехать.

— А я не знаю, зачем поехала, куда еду... я же котлеты бросила, в холодильник не поставила...

— Мама, у меня ноги холодные!

— А у меня попа холодная!

— У вас есть план?

— Какой план... я просто еду.

Что-то стучит и грохочет в огромном поле. Холод внутри, холод вокруг, он проникает в раковину, наполняет ее... Просто надо спать. Просто ослабеть и тихонько засыпать, опускаться на дно, как печальный обломок чужого дома, погружаться в море теплого молока в мир и покой.

Но мира нет. Покоя нет. И спать нельзя. Качается наш домик.

Кто-то толкает чей-то чемодан, громко плачет кошка, толпа двинулась — и остановилась, как вкопанная. Ветер огромный, носятся тени, лают собаки. Качается фонарь. Как хорошо все же, что

у нас дом на спине, что мы все равно дома. Но дом... теперь он дергается, мы цепляется за стены, мы сжимаемся до последней возможности, и страшно.

Наш домик на спине — он сейчас расколется. Он расколется в любой момент. И что будет с нами? Мы остаемся голые и беспомощные, ползем по этой серой земле, оставляя следы крови и слизи. Головы наши с рожками-глазами валяются у людей под ногами.

А люди... Ну какие же они все умные, только без головы.

* * *

Нет, мы не перешли через границу. Нас не пустили. Ночь, как яма. Надо найти машину и ехать в соседний городок за справкой. Граница — это страшно. Нас морозят в огромных очередях, на нас орут матом, глядят с подозрением. Как будто мы преступники. Как будто мы враги. А дело просто в том, что нас слишком много. На всех не хватает сил. Надо как-то уменьшиться — но как?

Холодно. Кошка замолчала. Сидит в переноске, растопырив все шерстинки, спрятав нос в лапках. На улиток даже смотреть боюсь. Сколько их останется? Видимо, тоже будут уменьшаться.

Вот какая-то машина. Бегу к ней, спотыкаюсь, чемодан цепляется за бордюр, чуть не роняю переноску... Но вот — едем.

Рассвет. Но теплее не стало. Мы стоим, ждем начала рабочего дня. Предлагают выпить кофе. Кому-то стало жалко дрожащую женщину — надо же!

Иду в указанном направлении. Надпись «Идальня» над обитой дерматином дверью. На двери — большой ржавый замок. Бездомная собака подходит ко мне, нюхает — и лает. Ей не нравится мой запах. Да, пахну я плохо.

Возвращаюсь обратно — ожидание длится и длится. Очередь и здесь большая — и здесь нас слишком много. Как бы все-таки уменьшиться...

Не дали нам справку. У мужа близорукость минус 10, а нужно минус 12. А так — может пригодиться рыть окопы.

Скоро вечер. Надо где-то переночевать. Спасибо, показали спортшколу, там место для таких, как мы.

Угостили пирожком, дали кофе... Спасибо, спасибо, всем спасибо.

Мучили только зря — и кошку, и улиток, и меня.

* * *

Пусть теперь рассказывает кошка. Или улитки. Им удобнее. Потому что мы все на полу. В спортзале на матрасе. Здесь добрые люди селят нас, беженцев, спасибо за это добрым людям.

Но она не хочет рассказывать. Она хрипло воеет. Конечно — уже два дня она сидит в переноске. Улитки лежат без движения. Удалось отрезать несколько кусочков огурца — но они не реагируют.

Я открываю переноску.

Кошка высовывается, осторожно нюхает воздух.

Я беру ее на руки, прижимаю к груди, слезы каплют на шерстку.

Кошка мелко дрожит и мяукает.

Надо спать. Но сна нет. Что это было? Что с нами будет?

Прошлого больше нет.

И будущего нет. Только настоящее угрожающе глядит из темного угла.

А в соседнем ряду на матрасе — маленькая девочка. Она играет с куклой и поет ей тоненьким голосом колыбельную песню:

Ламанда, горная ламанда...

В нашей синагоге отходняк.

* * *

И еще одна ночь в спортзале. Все-таки пусть рассказывает кошка. Улитки по-прежнему лежат, как мертвые.

Прошу мужа поесть, но он не хочет... Уже три дня ничего не ел... вроде и ничего, и все понятно, но он же после операции.

Четыре часа утра. Мысли толпятся в голове, одна за другой бегают по кругу. Надо бы заснуть. Надо просто держать глаза закрытыми, как можно дольше держать глаза закрытыми, тогда сон придет...

Я поплюю, а кошка пусть говорит, что хочет.

Разве бывают такие большие комнаты? Лежбище — вот что это такое. Потому что все лежат. На полу. Сидят иногда.

Спасибо, что из переноски выпустили. Пахнет страхом многих людей, неизвестностью и холодом. Берегуша лежит рядышком, тоже чего-то боится. Теплая рука почесывает за ушком... приятно, только все равно немного страшно. Берегуша не спит, смотрит, чтоб я не убежала... Я и сама не хочу потеряться, но надо же все разведать.

Матрасы, матрасы, матрасы... Люди вповалку, тусклый свет, мятые, теплые чужие тряпки... Ничего интересного, но в переноску не хочется.

Вот, напротив на матрасе тетка помятая, но густо накрашенная, проснулась и говорит кому-то в телефон:

— А у меня сейчас два мужа: один инвалид, другой в Америке. И три любовника: один импотент, другой — гомик, а третий — в телефоне. Классно мне?

Я не знаю... Собачья жизнь, самая настоящая собачья жизнь!

* * *

Спасибо людям, которые стараются нам помочь.

Правда, спасибо. Они делают, что могут. Вот идет между рядами мужчина с грустными висячими усами, топает огромными сапогами, едва не наступая на головы, убеждает кого-то:

— Пригодяйтесь, будь ласка, пиріжки гарячі, з картоплею, з горохом... та беріть, не стісняйтеся...

Протягиваются грязные руки, полусонные голоса шепчут спасибо.

Хорошие люди... сочувствуют нам. У всех у них грустные лица — они понимают, их помощь — капля в море.

Вот у человека разбомбили дом — зато напоили чаем. Сына убили — но дали пирожок. Разграбили только что купленную квартиру — зато довели бесплатно до безопасного места.

Вот — море утрат.

Вот — капли помощи. Капельки. Кажется, это бессмысленно. Хотя, может быть, не бессмысленно чувствовать, что есть все-таки в мире добрые люди. Они бессильны — но они есть. Они есть — но они бессильны.

Не могу я, запуталась. Кошка, кошка, ты же не убежишь от меня? Кошка, не убегай от меня... Господи, Господи, сделай что-нибудь, сохрани нас всех — и людей, и кошек, и улиток! И откуда-то из сна выходит длинная беременная бабка.

— Пойду скажу о твоих просьбах Богу, — говорит она.

Я знаю, она скажет. Вот она сидит на лужайке и ест мертвенно-серый хлеб. Кажется, я уже когда-то видела этот сон... За окном — собачья ночь.

* * *

Опять, опять тащат на мороз... Домик на спине уже не спасает. Ни от холода, вцепляющегося клещами, ни от свирепых толчков и дрожи, ни от остервеневшего ветра этот домик уже не спасает. Может, я тут одна среди них живая, — никого не видно и не слышно. Может, все мои братья и сестры уже за гранью, там, куда не долетают ни холод, ни страх, ни голоса. Там хорошо, там влажно и тепло, там растут раскидистые водоросли, а под ними бархатистая и ласковая грязь, и текут молочные реки, и ангелы поют...

Мы приехали. Автобус плюется бензином, трясется, страшно кашляет. Болеет... все заболели, люди заболели, деревья заболели, дома заболели... Домик моя, домик, ты, пожалуйста, не болей! Опять кто-то нас взял и тащит... Почему нас все время куда-то тащат и не спрашивают, хотим мы этого или нет? Ведь мы же никого не трогали, сидели себе в своих домиках, мирно жили, зачем же нас дергают и таскают? Кому это надо?

Орет сирена. Все выскочили и побежали. Все ходит ходуном, негромкий скрежет железа о железо разносится в воздухе. Или зубы у людей скрипят...

Тьма. Воздуха мало, но дышать можно. И холодно. Опять холодно. В крошечной тьме полудетский ломающийся голос:

— А я когда это все закончится, куплю себе киевский торт. И съем его целиком. Вилкой!

— А я напьюсь! И петь буду! Громко! Гимн!

— Ждали-ждали конца света. А он давно настал... Очень давно, и никто не заметил.

— Да, конец света — он у каждого свой...

— Как вы уже надоели вместе с вашими концами!

А у меня домик на спине. Может, я одна в этом мире осталась. Делать мне нечего, приткнуться мне некуда... я теперь маленькая-маленькая, несчастная-несчастливая, и сознание навек покидает меня. И текут молочные реки, и ангелы поют, и можно выйти из домика на спине и пройтись по теплой тропинке, по зеленой травке, по ласковой грязи, под тихим дождиком.

И откуда-то из рая слышится голос:

— А я назло этой клятой войне не буду смотреть никакие новости и постить буду всякие женские заморочки!

* * *

Здесь мы остановимся и отдохнем. Переночуем — и поедем дальше. Огромный город. Огромный чужой город, и не город — какая-то декорация фильма про вторую мировую. Огромная очередь у военкомата, ветер продувает насквозь, а люди стоят...

На дороге военные с оружием, громяют бронетранспортеры и танки... На каждом углу — блокпост, и каждый блокпост облепила колючая проволока, мрачно ощетились противотанковые ежи, а вокруг навалены мешки с песком.

Вот это вот будет нам домом. На этот день. Или на два дня. Все непредсказуемо, как движение с закрытыми глазами. Нужно постоянно что-то решать — но исходные данные меняются каждую минуту. Время тыканья пальцем в небо.

Так вот — это вроде как наш дом. Однокомнатная квартира. Кроме нас — еще трое. Большая кухня с окном на полстены и без батарей, а комната крошечная — ничего, кроме узкого дивана.

Выпускаем кошку из переноски, даем ей поесть. Она недовольно оглядывается, но ест. Улитки по-прежнему лежат, зарывшись в грунт. Что делать дальше? Сидим на диване, уткнувшись в телефоны, молчим, дремлем. Сквозь дрему слушаем разговоры соседей:

— А что Путин? Путину теперь надо как-нибудь сохранить лицо...

— Так если он голову потерял, смысл какой заботиться о лице?

— Маме звонила утром, она такие ужасы рассказывает, такие страшные, я ей даже не поверила... Но ей дали точный адрес и номер газеты, где все это подробно описано.

Страшные сказки, кучерявые сказки... какая же жизнь без них! Вода капает из крана, капает и капает... Каждая капля отдается в голове — гулко, тоскливо. Оконные рамы качаются, ветер ходит по комнате, как у себя дома. Лед уже на душе — те льдинки, из которых Кай складывал слово «вечность». А у нас из этих льдинок ничего не складывается...

— Я на многое способен в экстремных обстоятельствах, — говорит сосед, входя в кухню. — Сейчас возьму — и сварю себе большую сосиску.

— В экстремальных обстоятельствах, — на автомате исправляю я.

Вот чего, спрашивается, исправляю? Вроде что-то можно исправить...

Теперь вот сию здесь на табуретке, подперев голову, закрыв глаза, и слушаю, как гудит холодильник.

* * *

И опять настало утро. Всю ночь кошка возилась и громко вздыхала, мяукала и копошилась... Я проснулась в пять утра — она сидит на стуле и сверлит меня глазами.

— Кошка, чего ты хочешь? — спросила я.

Она молчит. Только смотрит — жалобно и испуганно. Смешная наша пушистая кошка... С ней можно поговорить, потому что она молчит. Она все понимает, потому что она молчит. Она любит меня, потому что она молчит. И я люблю ее, потому что она молчит... Лучше бы мы все молчали.

Через час надо ехать. Мне ехать. Одной. Муж сидит у окна, что-то ищет в телефоне. Он все время что-то ищет в телефоне. Он молчит. Уже все обговорили. Я уезжаю. Он остается. Слава Богу, я еду не одна. Дочка мне поможет. Что мне делать, если никто не хочет, чтоб я осталась? В этой стране я только путаюсь под ногами.

Уже надо как-то попытаться принять всю эту жуть. Это правда — жуть, и каждую минуту я натыкаюсь на эти куски железа, ржавого железа с острыми краями. Они ворочаются под ногами, как крокодилы посредине мертвого моря. В любой момент стены моего дома осыплются, будет песок, — и останется только металлический остов, в котором свистит ветер. Ну ничего, ни к чему эти страшилки с утра пораньше... Мы все-таки живы, все живы, а пока есть жизнь — есть надежда.

Скоро придет машина, отвезет на вокзал. Все собрано, только вот кошка... Ее опять надо в переноску. Пусть теперь она рассказывает, я не могу, жалко мне, жалко — а что делать?

Хотят запихать в эту жуткую корзину. Вот она стоит посреди комнаты, от нее несет мочой и дорожной пылью... Куда деваться? Берегуша ходит по комнате, заглядывает во все углы, переворачивает какие-то тряпки...

Не найдет она меня. Не хочу. Не буду жить в этой страшной корзине. Огромный шкаф вдоль стены, там темнота и пыль, а если забиться подальше в угол... И можно даже не дышать.

Но они меня нашли... шкаф отодвигается от стены, еще немного — и меня схватят. Нет, вот еще есть угол, под столом! Скорее туда!

Но они схватили меня и несут! Нет, я не дамся им живой! У меня есть когти! У меня есть зубы!

Кровь капает... Кровь берегуши и ее дочки... А я — в этой ужасной корзине. Все равно запихали, все равно несут куда-то...

— Вот так — побила нас, покусала — и успокоилась, — говорит берегуша. — И с чувством выполненного долга едет в Польшу.

Все смеются. Ничего смешного.

Машина... Ставят переноску на заднее сиденье... Что же это — я еду, они остаются?

Берегуша виснет на шее своего мужа, плачет и вскрикивает — страшно, как ворона. Машина ухаает, как сова, дергается, качается, дребезжит и несется — и ничего, кроме холода, серого асфальта и голоса берегуши:

— Успокойся, кошенька, я же с тобой... давай я тебе песенку спою... Утро туманное, утро седое... кошка печальная, снегом покрытая...

* * *

Опять автобус. На много-много часов. Никто не знает, на сколько. Какое-то странное состояние — спать и плакать, плакать и спать. Но слезы щекочутся и спать не дают. И мысли толпятся, только ни одна до конца не додумывается. Нет сил. Мозг теперь — огромное пористое тело, полное слез, обрывков слов, густого запаха скитаний и воспоминаний, скользящих, как тени по оконному стеклу.

За окном снег. Дети плачут. В душе от этого плача — будто осколки разбитых тарелок ворочаются и впиваются в мякоть. Какая там мякоть — у души? Но вот сейчас чувствую — вот она, моя душа, чуть теплая, порезанная осколками.

Мы едем спиной к движению... Но если вдуматься — я еду назад. Да, еду назад — в детство, в беспомощность, к тому дому, в котором давно живут другие люди. Я превращаюсь в растрепанную, шарахающуюся от каждого непривычного звука, вечно опаздывающую всюду испуганную девочку, кусающую ногти где-то в темном углу. Вот она, эта девочка, в своем маленьком мире, который висит на волоске, которого почти уже нет. Она знает, кто в этом виноват. Но разве от этого легче?

Лучше с кошкой поговорить.

Но она заснула.

— Ты тоже поспи, — говорит дочка.

— Я бы поспала с удовольствием. Пускай бы все это был сон.

Одна моя знакомая, пожилая дама, часто видела во сне Пушкина. Вот если бы я сейчас увидела его во сне — что бы он мне сказал? А что бы я ему сказала? Попрошу его рассказать какую-нибудь сказку. У него их вроде много...

— Ну вот, Пушкин, все-таки упал ты с корабля современности... с корабля дураков. Может, оно и к лучшему... Я бы и сама прыгнула, да как? Семья, кошка, улитки — двадцать девять штук.

* * *

В общем-то, все это очень смешно. Вот это все, о чем я пишу. Мои переживания по поводу кошки, улиток — какие, по сути, мелочи. Люди гибнут. Дома рушатся. Изнасилованные женщины. Искалеченные и убитые дети.

Если вдуматься, это все нытье... ничего ведь серьезного, когда такое происходит, на мелочи не обращают внимания. «Лес рубят — щепки летят». Вот и летят щепки — собаки, брошенные на перроне, кошки, запертые в квартирах, люди, навсегда оскорбленные... Никто не жалеет маленьких, когда трещит и шатается жизнь.

А я вот — жалею. Я тоже — щепка. Может быть, побитая собачонка, может быть раздавленная и бесхвостая ящерка, может быть мурашка с оторванными лапками. Вот я ползу по страшной земле, ищу себе какую-нибудь норку, дырочку, щелочку, чтобы спрятаться, завернуться в какую-нибудь тряпку, посидеть, подождать, когда заживут раны. Ну, раны... Так, ранки... Говорить особо не о чем, только ведь есть такие люди, которым бы все бы пожалеть себя, поныть, поплакать, пожаловаться, когда люди делают большую работу — войну.

Вот я — такой человек. Инфантильная дурочка, разлила воду, сидит в луже, плачет и ждет, когда кто-нибудь пожалеет. И тут приходит баба с ведром и половой тряпкой в руках, распатланная, в порванном халате, и весело улыбаясь, спрашивает:

— А кто это тут у нас обоссался?

* * *

И вот — опять граница. Стала теперь не жизнь, а сплошная пограничная ситуация. И опять — ночь. Так устроено, что на границу мы приезжаем всегда ночью. За окнами автобуса — дремучая темнота, она клубится и колышется, в ней шевелятся большие черные птицы и, как клочья, разлетаются вдоль дороги.

Автобус встал, как вкопанный. Судя по всему — надолго.

Кошка просится наружу, ей все это надоело. Открываю крышку переноски, говорю ей:

— Кошка, милая, потерпи еще немного... Вот граница... мы приедем в Перемышль... оттуда поедем в Краков... Из Кракова поедем... Куда-нибудь поедем... Мы будем ехать и ехать... ехать и ехать... и в конце концов приедем... Кошка, кошка, чем же мне тебя утешить?

— Приготовиться к таможенному досмотру, — отвечает кошка басом.

И я просыпаюсь. Правда — надо одеваться, выходить в морозную ночь, на таможенный досмотр.

И мы выходим — досрочно освобожденные от дома, любимых, работы, привычек.

И мы выходим — условно приговоренные к жизни.

Приговоренные к условной жизни.

* * *

Польша — холодная страна. И граница — тоже холодная. Очень холодная. Ветер в лицо. Почему, если война, ветер всегда в лицо? Опять я нагнетаю драматизм... Ерунда же какая — постоять двенадцать часов на границе, взбесившиеся лягушки-путешественницы — вот мы кто.

У нас-то вообще все нормально — в руке переноска, у дочки аквариум с улитками, чемодан на колесиках. Только снег, снег, снег. Но ведь пропустят, когда-нибудь пропустят.

И не убивают же, вот же счастье!

Перед нами в очереди женщина из Харькова с шестью детьми и четырьмя кошками — ее не пропустили, потому что нет у нее свидетельства о рождении одного из детей, самого маленького. Забыла дома, когда выбегала. Дом разбомбили. Ночь глухая. Куда она пойдет? С детьми, и котами, с сумками... Но не убили же, значит — хорошо! И потом — вдруг она этого ребенка себе присвоила? Мало ли...

Еще одного старичка не пустили — тоже какой-то бумажки не хватает... А если нет бумажек обо всем — это очень подозрительно. Не убили? Радоваться надо!

Сидим в автобусе и ждем — одного из водителей прессуют из-за донецкой прописки. Но вот — возвращается, говорит, ехать можно.

Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо.

Только почему такое ощущение, что мы — враги? Что воюют — с нами?

Наши доблестные пограничники, наши замечательные чиновники, наши мужественные воины миграционного фронта — что плохого мы вам сделали?

Кажется, мы всегда вам были врагами.

* * *

Польша — очень холодная страна. Ветер из всех углов, ветер из каждой щели, ветер сбивает с ног, ветер свистит в ушах. Польша — страна туманов. Туман висит над дорогой, туманом закрыто солнце, вся жизнь в тумане.

Опять у нас как бы дом. Автобус, в котором долго-долго ехать. Кошка, кошка, может быть, ты расскажешь? Улитки лежат закопанные, не видно их совсем. Кошка, кошка, я посплю, а ты Расскажи...

Расскажи вот улиткам, что надо обжиться. Все равно, что далеко от дома — но обжиться все-таки надо. Можно пока аккуратно оглядеться. И увидеть сгущающиеся сумерки, и дорога в свете автобусных фар, выхватывающих из темноты какие-то странные пятна — то вроде бы ворон, распростерший крылья, то черная злая собака, то крот, вставший на дыбы... И ощущение неудержимого падения — ни полета, ни легкости...

Кошка, Расскажи улиткам, что мы снова едем и будем ехать долго. Что надо как-то привыкать. Ничего другого пока нет — только дорога. А потом отдых — и опять дорога. Ну а потом мы приедем... Ты скажи улиткам, кошка, что самое страшное уже позади.

Ты Расскажи улиткам сказку, кошка. Какую-нибудь хорошую сказку, добрую, светлую. Закончились светлые сказки, ничего не поделаешь.

— Мама, мама, мы же забыли уют! Мы же уют не выключили! — слышится детский голос. Вот, кошка, представь, что там сейчас... дым, огонь...

— Выключили, выключили... успокойся... Какая теперь разница?..

В самом деле — какая разница?

А уют стоит там, на столе, огромный и страшный, в темноте и холоде оставленного дома.

* * *

Понемногу теплеет. За окнами плывут неизвестные страны. Улитки, улитки, вы там живые? Улитки не отвечают. Кошка плачет в переноске. Такой автобус — дети и коты, они часто плачут. Кошка, хватит плакать, поговори со мной!

Вот такая она, берегуша. Все время дергается и других дергает. Поговорить с ней? Но как разговаривать, сидя в этой жуткой клетке? Сколько дней уже... Я тебе говорю, говорю, плачу, плачу... Полежу лучше спокойно в уголку, всем только лучше будет. Нет у меня сил больше.

Все теперь вверх тормашками. Целый день землетрясение. День-два отдыха — и опять землетрясение. Они называют это «эвакуация». Думают, назвали — и все понятно. Слово-то какое — длинное, липкое, скользкое.

Спать хочется. Все трясется, но хочется спать... Вроде солнышко пригрело... Кот сидит на облаке... Мир сотворен котом, и это очевидно.

* * *

Все-таки расстояние — странная вещь.

Мы с мужем — в Киеве, на Дарнице, на Левом берегу. Тихо.

Муж читает новости:

— «Сегодня было попадание на Оболони».

Я (совершенно спокойно):

— Ну и что? Это же другой край географии.

По дороге в Рим, возле Борго Верде, мы с дочкой слушаем новости:

— Русские войска обстреляли градами село Петривцы под Киевом...

И мы срываемся в рыдания.

* * *

Кажется, подъезжаем. Опять — глухая ночь. Все сместилось сейчас — днем мы спим, а ночью надо выдергиваться из сна, искать под сиденьем затерявшиеся сапоги, озираться в тревоге — не забыли ли чего? — и вылезать из теплого автобуса на улицу. Там безлюдно и ветер. Вот она — переноска. Вот он — аквариум. Все, кажется, живы.

Сейчас придет такси. Тени, вспышки света, влажный теплый воздух. Какие-то люди пробегают мимо.

Мир звучит на чужом языке. Как-то вдруг дошло: я в чужой стране. Совсем чужой. Вот теперь действительно.

Пустые улицы. Перед глазами все плывет, качается, шевелится и смешивается. Скоро доедем. Уже совсем скоро.

Маленькая комната. Очень холодно, опять холодно. Кошка недоверчиво выходит из переноски, нюхает воздух, делает несколько шагов, поджимая лапки, забирается на кровать.

— Ничего, сейчас согреемся, — говорит дочка, включая обогреватель.

Обогреватель шумит, как моторная лодка, но все равно холодно.

— Ничего, — говорит дочка, — не все сразу.

Конечно. Не все сразу. Особенно — тепло.

— А помнишь, как ты говорила, когда я была маленькой: «Спи, а то убую»?

Да, надо спать. Сирена «скорой помощи» — как будто древний хищный зверь бегает по огромному городу в бесконечной тоске и тревоге: что это за камни тут, что это за мелкие существа рвут друг друга на куски? И мне снится сон. Я заблудилась. Я не знаю, куда мне идти, спрашиваю у прохожих — изо рта только хрип. Да и прохожие какие-то странные: один несет на вытянутых руках огромный черный портфель, женщина с серым лицом прижимает к себе сверток с пятнами крови... Я сажусь на землю и плачу. И снова — сирена «скорой помощи».

* * *

Мы понемногу приходим в себя. Кошка всю ночь спала у меня на животе, теперь ходит по комнате, осваивается. Самая большая радость — все улитки живы. Все 29 штук! Довезли, не уморили голодом и холодом! После ванночки с теплой водой вылезли из раковин, показали рожки. Ползают по аквариуму, вгрызаются в огурцы.

Моя дочка снимает комнату в трехкомнатной квартире. Дочка мне подарила большой плюшевый халат, мне теперь тепло. Да и днем потеплело. Это наша пристань. Надолго ли? Никто не знает.

И нет смысла гадать. Когда я в 2014-м году первый раз уезжала от войны — думала, вернусь через две недели. Ну, максимум через месяц. Потом оказалось, что зря думала. Стало понятно, что раньше Нового года война не кончится. И она не кончилась — ни после Нового года, ни весной, ни осенью... никогда. А сколько всего строилось... и пропало. Так что чего ж теперь? Пусть уже пропадает.

Комната — как трамвайчик. Вот мы — едем, едем, едем... Вроде бы уже и приехали, а такое ощущение, что все равно куда-то едем. Можно, конечно, выйти — но разве это спасет...

Дома стоят так близко друг к другу, что можно увидеть, что делается в окнах дома напротив. Только не увидишь — все закрывают ставни. Окна стоят слепые. Однако ровно в семь часов вечера где-то на пятом этаже кто-то начинает петь. Без слов, но очень громко. Очень громко и фальшиво, как будто бы зовет на помощь. Может быть, и правда — зовет на помощь?

— Вот — что это такое? — спрашиваю дочку.

— У человека душа поет... — отвечает она задумчиво.

Надо как-то спать. Но опять пронзительная сирена «скорой»... Каждые двадцать минут кому-то плохо...

* * *

Легче всего освоились улитки. Теперь у них снова дом — на спине. Им тепло. Сытно. Вкусно. И, в общем-то, остальное им — все равно. Вот почему я не улитка?

Кошке тоже неплохо. Ей не нравится холодный мраморный пол — но жить можно и на кровати. Свернулась в клубочек, мурлыкает. Иногда вопросительно поглядывает на меня. И почему я не кошка?

А я сижу на кровати с приклеенной к лицу улыбкой. Сколько же можно повторять, что уже все хорошо! Каждое утро двести раз говорю себе, что все прекрасно! А на двести первый — плачу. И завидую улиткам, кошке, зеленым попугаям среди пальмовых листьев, крысам, змеям, червякам. Они сами себе — дом.

А мне еще надо освоиться. Вот сегодня я иду первый раз в супермаркет. Самостоятельно. И вроде как это достижение — только странное какое-то достижение. Мне же не пять лет! Но чувствую себя гораздо хуже. Только теперь понимаю, что на самом деле детство не может быть счастливым. Это время беспомощности и страха что-нибудь сделать не так. Вот у меня детство так и не кончилось. Захожу в лифт — но на какую же кнопку надо нажимать? Ах да... Выхожу из лифта — как бы не забыть плотно закрыть дверь.

И вот теперь самое страшное — улица. Даже если выбрать правильное направление, даже если свернуть там, где надо... но вот он — ужасный переход. На светофоре красный — но люди идут... Но я не местная — я жду зеленого. Долго жду. Наконец перехожу. Наконец-то!

И снова — шаг за шагом. Шаг за шагом. Теперь главное — все сделать правильно в магазине. Я мокрая, бледная, волосы растрепались, буханье моего сердца слышно на улице. И вот — я уже там.

Надо бы посидеть, отдохнуть немного... Может быть, все не так плохо? В общем-то, совсем не плохо! Когда-то давно, классе в шестом, классная по фамилии Василюк-Гурова, в желтом шиньоне и с красными губами, говорила мне:

— Ты, ненормальная, будешь трагической актрисой. Хватит уже ломать комедию! Будь, в конце концов, оптимисткой!

Я пыталась, честно. Я люблю их, оптимистов, но странную любовь. Они такие позитивные — удавиться хочется!

* * *

Сегодня ночью услышала сирену, подумала, что все равно буду спать дальше, я же не в Киеве. Но сирена выла, как в Киеве. Блин. Долго лежала, уговаривала себя заснуть. Дремала, но не очень получалось. И вот опять сирена. На этот раз — скорая помощь. Пора вставать.

Мое утро начинается пением... Не я пою, а кто-то в доме напротив. Говорят, он парикмахер. Поет перед работой, для настроения. Но ведь семь часов утра.

Кошка спит у меня на животе. Ей хорошо. Она не слышит это душераздирающее пение. И никто не слышит.

Надо бы поспать. День будет тяжелый. Теперь каждый день — как кирпич. Теперь каждый день — как мешок цемента.

Мы приехали погостить на неопределенный срок. И этот неопределенный срок надо как-то пережить

Этот человек в доме напротив, который поет два часа утром и два часа вечером, который поет фальшиво, которому это все равно, которому, может, и не нравится петь в принципе, — он просто живет. Просто переживает свою жизнь.

А мне что делать? Подремлю, пока у него пауза.

Проснусь — буду дальше жить.



Олександр СПРЕНЦІС

/ Київ /

ВІЗЕРУНКИ ДОЛІ

* * *

«Це неможливо! — подумав я, —
і цього не повинно бути!» —
зіскочив з ліжка і пішов фарбувати
сьогодення у інші кольори...

* * *

у миршовому подвір'ї
бігає песик...
безлюддя...

* * *

посеред життя
стирчу опудалом...
лахміття — мій святковий одяг!..

* * *

насправді ця жахлива квітка
під назвою «життя» — отруйна...
насправді Сонце — чорне...

* * *

я і не помітив,
як моє життя скінчилось,
хоча як би і помітив,
воно все рівно б скінчилось...
Et cetera...

* * *

сірий колір підняв прапор
холод,
холоднеча.
тільки дощ,
головний біль.
тільки дощ.
відсутність бажань
неначе кажуть:
«А Вас і немає!»

* * *

мудрість — це сором мріяти
тому, будь ласка,
не засмучуйте своїх Вчителів!

* * *

троянди теж нам кажуть,
що краса врятує світ...
проте їх ніхто не чує!..

* * *

на тіні дерев
лягла і моя тінь...
мереживо світла...

* * *

вечір мого життя:
мене вже немає...
є лише одяг...

* * *

а що потім?
потім чистий клаптик паперу,
на якому я ставлю три крапки...
...що потім?
клаптик
паперу
який залишиться чистим...

* * *

дощ.
Бодлер.
важкі крони дерев,
сум.
сірі сльози дахів,
хмари в небі,
в сердці,
в душі...

* * *

Всесвіт — за рогом:
лише кілька кроків і...

* * *

Сонечко світить,
мухи літають,
і світ ось-ось
зійде з розуму...

* * *

Вічність —
це коли ніхто нікому не потрібний!
кричи, не кричи — всеодно!

Мужі Вічних Справ
забрали ключі і зникли в безмежжі...
...а ми тиняємось, безпорадні!..

* * *

я зітхнув і поставив крапку
...це кінець
чи початок життя?

* * *

мені пощастило!
я спіймав сонячного зайчика
і сховав його у кишеню!
я став володарем безцінної речі!
але до тих пір,
поки не зайшло сонце...

В СТИЛІ ХАЙБУН

У понеділок 1 серпня о 10:43,
коли я смакував
останню цукерку «Рошен»,
я зрозумів, що моє життя — програне.
Ось так: не більш і не менш.

*цукерка — солодка
чай — гіркий
на душі — кисло...
життя — хмаринкою зникає...*

* * *

я почав слухати музику,
але пішов дощ,
і я вимкнув приймач

яка музика ще потрібна?

* * *

зранку випрасував простирадло,
щоб діви-мироносиці
загорнули мене, як Христа,
і сховали де-небудь...
я ж невибагливий!..

СЕРПНЕВИЙ ВЕЧІР

хто п'є каву,
а хто п'є чай;
хто їсть тістечка,
а хто смочче цигарки...
собаки шмигають туди-сюди,
навколо квітне все
і здається, що ніхто не вмирає.

* * *

вечірня прохолода.
стілці у кафе вже вільні...
денні радощі померкли...

* * *

душу я віддав квітам,
а тіло — землі;
серце — твоїм очам!

* * *

тиняюсь... тиняюся...
шукаю п'ятий кут
я — Христофор Колумб своєї долі...
але даремно!
всі мапи — втрачені!..

* * *

я намагаюсь спростувати свою геніальність,
але даремно!
шанувальники оточили мене ворожим військом,
і мені не прорватись!
що робити?

змиритись?
зійти на вогнище, як Аввакум?
ні, це вже занадто!..

яка жалість, що люди не розуміють один одного!

* * *

acqua toffana!
милі серцю слова!

аква тофана!
еліксир безсмерття!

аква тофана!
де знайти твою цінну вологу,
яка звільнить мене від страждань?

аква тофана!

слова солодкі —
вони, як мрія нездійсненна
і недосяжна, зваблива!

acqua toffana!

* * *

моє життя нагадує долю наднової:
спочатку вибух, а потім рештки зірки
летять у Всесвіт в усі-усюди!
...і незабаром від мене
залишиться лише який-небудь уламок,
що з часом розсіється в пил,
в небуття...

* * *

піти з життя — це як вимкнути світло.
один оберт, і ти вільний!
все просто: нічого сумнівного.
лише одне прохання: сплатіть борги,
щоб не було соромно
перед жінками зі сфери комунальних послуг:
ми ж все-таки джентельмени!

* * *

на шпальтах газет —
новини столітньої давнини

на шпальтах газет —
бляшанки, цяцянки, лахміття...

на шпальтах газет —
темне листя хворої осені...

на шпальтах газет —
попіл від згарищ...

* * *

я волів би бути іншим,
але це неможливо!
батьків не вибирають!

* * *

моя недосконалість!
бажання гілкою лягти на землю...
а вітер — висушить...

* * *

із темряви
почалося моє життя
і темрявою закінчиться...

чорний птах — кам'яніє на гілці...

* * *

останній птах відлетів,
і впав останній лист...

мене не дочекались!

* * *

влітку
босоніж,
навпростець,
в капелюсі від Діора
іду шукати Атлантиду...

* * *

її очі —
це в'язниці
я одвічно ув'язнений!

* * *

по вулиці люди ідуть...
люди?
ні, їхні тіні...
тіні самих себе...
і я — серед них...

АРАБЕСКИ

1

По дорозі до крамнички я зустрів Богоматір. Якщо я не помилився.
Така чорнява, симпатична! Швидко кудись ішла...
А може це не вона, може мені примарилося!.. Всяке буває!
На вулиці ж спека!

2

«Мені, будь ласка, без фільтру» — чую. Овва! Так це ж Христос!
Якийсь такий невеселий, в таємному настрої! Я хотів про щось його
спитати, але він вже швиденько кудись зник... А мені ліньки було
його наздоганяти... якимось іншим разом поспілкуємося!
Що казати! Візерунки долі!

3

А днів зо два тому зустрів я архангела Михаїла.
Він ішов якимось так дивно, сховавши праве крило...
Михайле, це що з твоїм крилом?
Та то... непередбачене!
Що саме?
Так зіткнувся з приватним літаком! В ньому якийсь дурник сидів!
Ой! І що крило сильно зачепило?
50х50... Ось від лікаря іду. Зараз на лікарняному...

Що казати? Візерунки долі!

* * *

На всіх стовпах клею оголошення:
«Прошу за великі кошти ліквідувати особу
з моїм іменем та прізвищем.
Термін виконання — якнайшвидше!»

РОЗДУМИ ПЕРЕД ЧЕРВОНИМ ЗОШИТОМ,
ЯКИЙ ЛЕЖАВ НА МОЄМУ СТОЛІ

Я так і не наважився нанести
в зошиті хоча б ризику або слово!..
Нехай — в майбутньому — хто-небудь інший
увійде в простір найчистішого!..



Борис МАРКОВСКИЙ

/ Бремен /

СКИТАЛЕЦ С НАБЕРЕЖНОЙ АНЖУ

Книга должна быть топором,
способным разрубить замерзшее
озеро внутри нас.

Франц Кафка

В последние годы у него участились головокружения. Он почти ничего не ел и совсем перестал писать. Ночи напролет кружил в одиночестве по безлюдному Парижу среди промозглых улиц и бесприютных ночных фонарей.

Однажды на набережной спросил у юной цветочницы, знакома ли она с творчеством некоего Шарля Бодлера. Та ответила, что знает только Альфреда Мюссе. Он пришел в ярость и едва не набросился на нее с проклятиями.

Затем спустился к Сене, где у самой воды бегали крысы, и вспомнил тучного развязного Бальзака, с которым когда-то часами бродил вдоль набережной, и они болтали обо всем, что приходило в голову.

При этом он постоянно думал о Жанне.

— Чертова мулатка! — пробормотал он.

Затем долго глядел на плывущие по небу облака... Дались ему эти облака... Как там, в «Страннике»? « — Я люблю облака... летучие облака... вон они... Чудесные облака!»

9 апреля 1821 года в Париже на улице Отфёй в доме 13 родился Шарль Пьер Бодлер.

Отец, Жозеф-Франсуа Бодлер был намного старше матери, Каролины Аршембо-Дюфаи. Ей было двадцать шесть лет, когда

в сентябре 1819 года шестидесятилетний Жозеф-Франсуа сочетался с ней вторым браком. Позже Бодлер назовет этот брак «несуразным, старческим и патологическим».

10 февраля 1827 года отец Шарля умирает. Через несколько дней его хоронят на Монпарнасском кладбище. За матерью начинает ухаживать некий офицер Жак Опик, и Каролина, едва заканчивается траур, выходит за него замуж.

Поначалу Шарль смиряется с замужеством матери. Однако постепенно его отношения с Опиком накаляются. В конце концов он настолько возненавидел отчима, что даже спустя много лет, во время февральской революции 1848 года, убеждал повстанцев «найти и расстрелять генерала Опика»!

В 1830 году Опик по делам службы отбывает в Алжир. Он отсутствует почти полтора года, и Шарль ежедневно благодарит Бога за возможность оставаться наедине с матерью. Через много лет в одном из писем Каролине он вспоминает:

«Было время, когда ребенком я тебя страстно любил; не бойся, слушай и читай дальше. Мне вспоминается одна наша прогулка в фиакре. Ты тогда только что вышла из санатория и, в доказательство того, что ты не забывала о своем сыне, показала мне рисунки пером, сделанные для меня. А ты говоришь, что у меня отвратительная память. Потом — площадь Сент-Андре-дез-Ар и Нейи. Долгие прогулки, бесконечно нежные ласки. Я вспоминаю набережные, такие печальные в тот вечер. О, то было восхитительное время; я ощущал на себе материнскую нежность... Я все время был жив в тебе, а ты принадлежала мне одному. Ты была для меня и божеством, и товарищем».

1 марта 1837 года Шарль поступает в лицей Людовика Великого. Ему запомнились сырые классы, запах плесени и гнили, бесконечная скука. Он запоем читает Виктора Гюго и Теофила Готье, чьи стихотворения оказывают на него большое влияние.

Окончив лицей, Шарль заводит дружбу с молодыми литераторами, в том числе с Нервалем. Ведет богемный образ жизни. Попадает в Латинский квартал, о котором до той поры не имел ни малейшего представления. Влезает в долги, водится с проститутками, в итоге заболевает сифилисом. В качестве лекарства на-

чинает принимать наркотики. «У меня прекратилась ломота, почти прошла головная боль, сплю гораздо лучше...» — пишет он своему единокровному брату Клоду Альфонсу.

В июне 1841 года из-за постоянных ссор с отчимом (дело доходит до рукоприкладства) Шарль на борту тихоходного судна «Пакетбот Южных морей» отправляется в путь к Мысу Доброй Надежды за Мадагаскар на Маврикий и дальше в Индию, до которой он так и не добрался. И не потому что у него закончились деньги, как он писал об этом матери, а потому что в Индии ему «делать было решительно нечего».

Он возвращается в Париж, в Латинский квартал, к молодым поэтам, журналистам и художникам, к милой богеме, воспетой Анри Мюрже¹, одним из его близких друзей. В Париж с его нездоровыми запахами, с его кофейнями и ресторанами, с его ветхими мансардами, расположенными выше крыш, с его сутолокой и гономом, с нервной, болезненной, тревожной, расточительной и нелепой жизнью.

И все же время не было потрачено даром. По словам Теофиля Готье, «...в его самых мрачных произведениях вдруг точно откроется окно, через которое, вместо черных труб и дымных крыш, глянет на вас синее море Индии или какой-нибудь золотой берег, где легкой поступью проходит стройная фигура полунагой жительницы Малабара, несущей на голове глиняный кувшин».

В конце октября 1843 года Шарль переезжает в Отель-де-Пимодан, на набережную Анжу. Здесь на последнем этаже в течение нескольких лет он арендует небольшую квартиру с окнами во двор, где меж громоздких плит виднеется чахлая ржавая трава. За жилье платит мать. Вход в квартиру с черной лестницы. На стенах обои с черно-красными узорами. Сразу в нескольких местах, если верить воспоминаниям Асселино, из часов выскакивают кукушки. На подоконниках бутылки вина. Именно здесь он пишет «Приглашение к путешествию», в котором «...лучи золотят гиацинтовым блеском каналы».

На первом этаже живет красильщик. Из комнат доносится отвратительная вонь, вызывающая тошноту и кашель. Но с лестницы, в правом крыле, обитая бархатом дверь ведет в настоящий рай: роскошную гостиную, будуар, спальню...

¹ А. Мюрже, «Сцены из жизни богемы».

Бодлер оставил описание этого рая: «Будуар мал и очень узок. Потолок, начиная от карнизов, закругляется в виде свода; стены увешаны длинными зеркалами, а между ними — панно с пейзажами, написанными в небрежно-декоративном стиле».

Шарлю достаточно спуститься в бельэтаж, чтобы попасть в Клуб гашишистов, где нередко бывал Дюма-отец и где был задуман и вскоре написан его великий роман «Граф Монте-Кристо». По словам Теофиля Готье, «быстротекущее время словно бы не коснулось этого дома, он походит на часы, которые забыли завести, поэтому стрелки всегда показывают одно и то же время». Далее Готье подробно описывает застолье гашишистов:

«Наша трапеза была сервирована причудливо и живописно. Вместо рюмок, бутылок и графинов стол был уставлен большими стаканами венецианского стекла с матовым спиралевидным узором, немецкими бокалами с гербами и надписями, фламандскими керамическими кружками, оплетенными тростником, и бутылками с хрупкими горлышками».

Когда однажды владелец дома Пишон упрекнул Бодлера в излишнем шуме, тот ответил ему: «Не знаю, что вы имеете в виду. В гостиной я колю дрова, в спальне таскаю за волосы любовницу, но это же происходит во всех квартирах!»

Много лет спустя барон Пишон, дипломат, чиновник и библиофил, в письме другу напишет: «Если б Вы только знали, каково было мне иметь в постояльцах Бодлера и что за жизнь он вел!»

К середине 1844 года Шарль умудрился промотать почти половину отцовского наследства. Генерал Опик вместе с Каролиной и братом Шарля Клодом Альфонсом решают ходатайствовать перед властями об учреждении над ним официальной опеки. Для Шарля это было как удар дубиной по голове: он не верил, что мать решится на подобное предательство. В течение нескольких дней он не может прийти в себя, после чего пишет ей письмо:

«Чтобы я проглотил пилюлю, вы постоянно повторяете, что происшедшее — совершенно естественный шаг и не несет в себе ничего позорного. Это возможно, и я в это верю. Но, по правде говоря, какое мне дело, что это действительно так для большинства людей, если для меня это нечто совершенно иное <...> к моему несчастью, я действительно устроен не так, как все. То, что ты рассматриваешь как необходимость и временную боль, я не могу, не могу вынести <...> я решительно отвергаю всякое покушение на мою свободу. Разве не жестоко

подвергать меня судилищу нескольких человек, которые меня не знают и для которых это — скучная обязанность? <...> Я искренне верю, что ты делаешь большую ошибку. Говорю я это тебе с холодом в душе, потому что вижу, что ты осуждаешь меня, и уверен, что слушать меня ты не будешь, но ты должна знать — ты сознательно и по собственной воле причиняешь мне огромное горе, не представляя всей его тяжести».

10 сентября 1844 года в Отель-де-Пимодан прибывает судебный исполнитель с предписанием господину Бодлеру явиться в судебную палату департамента Сены, а 21 сентября старинный друг семьи мэтр Нарсис Дезире Ансель назначается главой опекунского совета. Бодлер пишет матери разгневанное письмо, в котором обращается к ней на «вы»:

«...Кстати, о векселях — Вам ведь известно, что все деловые люди знают друг друга и что одного пущенного по кругу письма достаточно, чтобы все парижские поверенные в делах и нотариусы были осведомлены о моем положении; к тому же как по ним платить? Все это я напишу и г-ну Анселю, которому Вы наверняка уже дали полицейско-материнские инструкции, продиктованные любовью в высшей стадии ее проявления».

Эта трагическая финансовая канитель будет разматываться на протяжении всей его жизни. За три года до смерти, уже будучи тяжело и безнадежно больным, Бодлер все еще продолжает переписку с нотариусом Анселем:

«Мой дорогой Ансель, возвратившись из Намюра, куда я ездил погостить у г-на Ропса, я обнаружил Ваше последнее письмо и отвечаю, прежде всего, на постскрипtum, который я нашел несколько странным, позвольте признаться Вам в этом. Как могли Вы подумать, что я способен дважды воспользоваться одним и тем же начислением — сначала самими деньгами, а затем письменным поручительством на ту же сумму. Подобное поведение определяется весьма сильным словом “бесчестье”. Ежели я Вам не отослал само поручительство, так это потому, что оно уже давным-давно уничтожено.

Вы желаете объяснения загадки, а именно, почему я манкировал нашей встречей. Я назначал встречи многим другим помимо Вас — Мишелю Леви, например. В последний момент, прямо перед отъездом, — невзирая на страстное желание увидеться с матерью, невзирая на глубокую тоску, в которой я живу, тоску еще более тяжкую, нежели та, что причиняла мне французская глупость и от которой я так *страдал* на протяжении многих лет, — *меня охватил ужас* — ка-

кой-то *собачий страх*, ужас при мысли снова оказаться лицом к лицу с моим адом — пройтись по Парижу, не имея возможности расплатиться по долгам, что обеспечивало бы мне истинный отдых в Онфлёре...»

Ив Бонфуаверно (Ив Бонфуа), один из наиболее известных современных французских поэтов, в своем эссе «Цветы зла» так высказался о трагической судьбе Бодлера:

«Что сказать о нем, кроме пустяков, неточностей, а то и лжи? Самая пронизательная критика отступает и признает абсолютность им созданного. <...> Бодлер избрал смерть — чтобы она росла в нем, как сила мысли, чтобы познавать через нее мир. Суровый, жертвенный выбор. К тому же опасный для самой поэзии. Мало того, что Бодлер не нашел признания, оказавшись ни на кого не похожим, и жил в вечном страхе немоты, без друзей, на которых мог бы положиться, — ему еще пришлось увидеть, как отказывает разум, ради которого он стольким рискнул. О том, что беда не прошла стороной, говорят мучительные трудности в работе и предсмертная афазия. А о том, что он все знал заранее, сказано в «Фейерверках»¹: «...сегодня... мне было дано странное предупреждение: я почувствовал, как на меня повеял ветер, поднятый крылом безумия».

30 июня 1845 года в возрасте 24-х лет Бодлер предпринимает попытку самоубийства. Он отправляет нотариусу Анселю странное письмо-завещание, в котором пишет:

«Я убиваю себя потому, что не могу больше жить, потому как тяжесть, с которой я засыпаю, и тяжесть, с которой я просыпаюсь, стали для меня невыносимыми. Я убиваю себя потому, что я — бесполезен для других и *опасен для себя самого*. — Я убиваю себя потому, что считаю себя бессмертным, и потому, что я *надеюсь*. <...> Я завещаю и отдаю госпоже Лёмер (Жанне Дюваль — *Б.М.*) все, что имею, в том числе мебель и мой портрет, ибо она — единственный человек, от общения с которым душа моя отдыхала». И т. д.

В тот же вечер в кабаре на улице Ришелье, в присутствии Жанны Дюваль, Бодлер пытается заколоть себя ножом, в результате чего падает в обморок. Рана неглубокая, почти царапина. Его переносят в дом к Жанне, которая живет неподалеку, на улице Фамм-сен-Тет. Подоспевший врач, осмотрев больного, рекомендует Бодлеру полный покой.

¹ «Фейерверки» — одна из частей бодлеровских записных книжек.

После неудавшегося самоубийства Бодлер переезжает с набережной Анжу на Вандомскую площадь, к матери, однако, через некоторое время съезжает и от нее. На вопросы друзей: «Почему он ушел из семьи?» отвечает: «У них в доме пьют только бордо, а я не могу обойтись без бургундского...»

Ему нравилось ночевать у друзей, поскольку он ненавидел собственное жилище, чаще всего тесное и неудобное. Однажды он несколько недель кряду провел в заброшенной мастерской некоего художника, где спал, не раздеваясь, на старом обтрепанном диване. Бывало, и не раз, что он ночевал в борделях и испытывал на себе тошнотворное впечатление, производимое пробивающимся в комнату дневным светом, падающим на полинявшие занавески.

Больше всего он боялся скуки. Совершенно не переносил одиночества. Рассказывал, что состоит в любовных связях с мужчинами, с серьезным выражением лица утверждал, что он тайный агент... В своих рассказах был настолько убедителен, что ему охотно верили.

3 января 1865 года Бодлер пишет из Брюсселя письмо г-же Поль Мёрис:

«Я прослыл здесь за *агента полиции (очаровательно!)* (из-за этой расчудесной статьи, что я написал о шекспировском празднестве), за *педераста* (я сам распространил этот слух; и *мне поверили!*), потом прослыл за *корректора*, присланного из Парижа, чтобы править гранки *непристойных сочинений*. Придя в отчаяние оттого, что мне во всем верят, я пустил слух, будто убил своего отца и потом съел его; что если мне и позволили бежать из Франции, так это в благодарность за услуги, которые я оказывал французской полиции, и мне поверили! *Я плаваю в бесчестье, как рыба в воде*».

Как пронизательно заметил Сартр, «...он не брезгует ничем, чтобы в собственных глазах превратить свою жизнь в судьбу».

Бодлеру не раз вменяли в вину чрезмерное обилие в его поэзии аллитераций и ассонансов. Элиот вообще считал, что «разно-

образе и изобретательность» Бодлера «порой приближаются к трюкачеству». Жюль Ренар, поместивший на первой странице своего «Дневника» восторженную запись: «Тяжелая, будто заряженная электричеством фраза Бодлера», позже все в том же «Дневнике» камня на камне не оставил от одной из его метафор:

«"...Душа вина заводит песнь в бутылке". Вот она, лжепоэзия, которая старается подменить то, что существует, тем, что не существует. Для художника вино в бутылке — это нечто более подлинное и более интересное, чем душа вина и душа бутылки, ибо нет никакого резона наделять душой предметы, которые прекрасно обходятся без всякой души».

Справедливости ради нужно отметить, что Верлен в своей знаменитой статье «Шарль Бодлер», заявил буквально следующее: «...ни один из великих поэтов, ни один из них больше, чем Бодлер, не разбирается в бесконечных хитросплетениях стихосложения». При этом Верлен дважды процитировал именно эту строку: «...Душа вина заводит песнь в бутылке».

По мнению Г. Адамовича, «...Бодлер слишком красив и наряден, слишком эффектен и красноречив. Часто кажется, что если бы Бодлера кое-где подсушить, кое-где ретушировать, он решительно был бы "поэт в поэтах первый" за последние сто лет».

Друг и соратник Бодлера, Теофиль Готье, напротив, считал, что «...Бодлер, если ему не надо выразить какого-нибудь удивительного отклонения, какой-нибудь неизвестной стороны души или вещи, выражается языком чистым, ясным, правильным и настолько точным, что самые строгие судьи ни в чем его не упрекают. Это особенно заметно в его прозе, когда он говорит о предметах более обычных и менее отвлеченных, чем в своих стихах, почти всегда полных крайней концентрации».

Кстати, тот же Адамович в статье, посвященной И. Анненскому, начинающейся пассажем: «Пятнадцать лет тому назад, хмурым, пронзительно-холодным осенним утром в Царском Селе хоронили Иннокентия Анненского...», находит удивительно точные слова:

«Наследство Бодлера он (И. Анненский — Б. М.) принял с покорностью, почти благоговением. И над всей его поэзией можно было бы поставить эпиграфом строчку из "Сплина" о человеке, у которого в жилах течет "зеленая вода Леты"».

Предчувствуя близкую смерть, он все же пытается работать. Безрезультатно. Слишком большие крылья дала ему природа. Слишком большие! Как тому альбатросу, которого капитан Сализ подстрелил у экватора. Матросы втащили раненую птицу на борт и привязали ее за ногу, а она тщетно пыталась уйти от своих мучителей, с трудом волоча за собой два огромных тяжелых крыла.

...Третью ночь подряд ему снится Каролина. Она говорит, что 300 франков — большие деньги и что в понедельник она должна уехать... Дальнейших слов он не слышит. Сон обрывается всегда на одном и том же месте: едва он подходит к матери, на ее месте возникает Жанна Дюваль...

Впервые Бодлер встретил Жанну Дюваль в театре Порт-Сент-Антуан вскоре после возвращения из морского путешествия. Кареглазая гаитянка с роскошными чуть выщипанными волосами привлекла его внимание кошачьей грацией, толстыми чувственными губами, небольшой острой грудью и широкими бедрами. Он влюбился в нее с первого взгляда. Посвятил ей множество стихов:

«Хотя злые брови странного твоего лица
Не напоминают небесную красоту,
Ты ведьма с огненными глазами,
Ты моя страсть, страшная, дикая,
И как священник своего идола,
Так я тебя запираю в своем верующем сердце».

Жанна, несмотря на то, что Бодлер исполняет любые ее прихоти, ведет себя вызывающе: совершенно открыто, никого не стесняясь, изменяет ему с каждым, кто попадает на ее пути, и даже принимает случайных клиентов на улице Фамм-сен-Тет.

Тем не менее, в письме к матери от 26 марта 1853 года Бодлер делает неожиданное признание:

«Она меня заставляла страдать... Но перед подобным разрушением и такой глубокой печалью я чувствую, как мои гла-

за наполняются слезами и — чтобы быть до конца откровенным — сердце угрызениями. Дважды я закладывал ее драгоценности и мебель, заставляя влезать для меня в долги, подписывать векселя, избил ее и, наконец, вместо того чтобы показать ей, как должен вести себя такой человек, как я, всегда подавал пример распутства и беспорядочной жизни. Она страдает — и она молчит. — Разве нет причины для угрызений? Разве не я виноват в этом, как и во всем остальном?»

Однажды, вернувшись ранее обычного, Шарль застал ее с парикмахером. И не сделал ровным счетом ничего! Она была слишком дорогá ему, он не мог с ней расстаться. Впрочем, Бодлеру было не привыкать к унижениям. Вечные долги, постоянная зависимость от Нарсиса Дезире Анселя, «нотариуса из предместья», с ужимками и причмокиваниями выдававшего ему грош из отцовского наследства, показное добродушие генерала Опики. Похоже, унижения вдохновляли его.

Недаром Жюль Лафорг назвал «Цветы зла» «чувственной ипохондрией, переходящей в мученичество».

Именно Жюль Лафорг в отрывочных заметках, посвященных «Цветам зла», попытался зафиксировать тот самый «новый трепет», о котором в известном письме Бодлеру говорил Гюго. По словам Лафорга, Бодлер был первым, кто сказал: «Поэзия — удел посвященных. Публикой я проклят — и прекрасно — сюда ей хода нет».

Лафорг прожил всего 27 лет, оказав огромное влияние на многих поэтов, в том числе на Элиота. В 1885 году у него выходит первая книга стихов «Жалобы», вскоре после нее — «Подражание богоматери луне». Некоторые из его стихотворений обладают загадочной, завораживающей красотой:

РОЖДЕСТВО СКЕПТИКА

Рождественский трезвон, и я один в ночи,
Перо отложено, безбожный стих не кончен...
Воспоминанье, пой! Опять в душе горчит,
И гордость ни к чему... О, громче, память, громче!

А где-то там, вдали, собор огни зажег —
И как противиться рождественскому хору?
В нем материнский зов, и просьба, и упрек,
И сердце так щемит, что в голос плакать влору...

И долго слушаю колокола в ночи,
Не нужный никому и сам себе помеха.
Мне холодно, темно, а ветер мимо мчит
Земного праздника торжественное эхо.

(Перевод Э. Линецкой)

13 июля 1857 года Флобер пишет Бодлеру: «Сперва я проглотил вашу книгу от начала до конца, точно кухарка фельетон, а теперь, с неделю как перечитываю стих за стихом, слово за словом, и скажу откровенно, мне она нравится и восхищает меня <...> Вы тверды, как мрамор, и пронизываете, как туман в Англии».

Флоберу, по-видимому, полюбилось слово «туман». 27 июля 1852 года в письме Луизе Коле он пишет: «В сущности, я — человек туманов».

В 1866 году в письме г-же Роже де Женетт он все еще говорит о туманах: «Сейчас я в полном одиночестве. Туман еще более усугубляет тишину, вас словно покрывает большой белесый могильный холм».

Остается повторить вслед за Сартром: «За мной и поныне водится этот грешок — панибратство. Со знаменитыми покойниками я на “ты”, о Бодлере, Флобере высказываюсь без обиняков, и, когда мне это ставят в вину, меня так и подмывает ответить: “Не суйте нос не в свое дело”...»

Из письма Виктора Гюго Бодлеру: «Что Вы делаете, когда пишете такие поразительные стихи, как “Семь стариков” и “Старушки”, которые Вы посвятили мне, за что я Вас благодарю? Что Вы делаете? Вы шагаете. Вы двигаетесь вперед. Вы зажигаете на небосводе Искусства какой-то новый, мрачный луч. Вы вызываете новый трепет...»

Шарль БОДЛЕР

СТАРУШКИ

Виктору Гюго

I

В дебрях старых столиц, на панелях, бульварах,
Где во всем, даже в мерзком, есть некий магнит,
Мир прелестных существ, одиноких и старых,
Любопытство мое роковое манит.

Это женщины в прошлом, уродины эти —
Эпонины, Лаисы! Возлюбим же их!
Под холодным пальтишком, в дырявом жакете
Есть живая душа у хромым, у кривых.

Ковыляет, исхлестана ветром, такая,
На грохочущий óмнибус в страхе косясь,
Как реликвию, сумочку в пальцах сжимая,
На которой узорная вышита вязь.

То бочком, то вприпрыжку — не хочет, а пляшет,
Будто дергает бес колокольчик смешной,
Будто кукла, сломавшись, ручонкою машет
Невпопад! Но у этой разбитой, больной,

У подстреленной лани глаза точно сверла —
И мерцают, как ночью в канавах вода.
Взгляд божественный, странно сжимающий горло,
Взгляд ребенка — и в нем удивленье всегда.

Гроб старушки, — наверное, вы замечали —
Чуть побольше, чем детский, и вот отчего
Схожий символ, пронзительный символ печали,
Все познавшая смерть опускает в него.

И невольно я думаю, видя спешащий
Сквозь толкучку парижскую призрак такой,
Что к своей колыбели, к другой, настоящей,
Он уж близок, он скоро узнает покой.

Впрочем, каюсь: при виде фигур безобразных,
В геометры не метая, я как-то хотел
Подсчитать: сколько ж надобно ящиков разных
Для испорченных очень по-разному тел.

Их глаза — это слез неизбывных озера,
Это горны, где блестками стынет металл,
И пленится навек обаяньем их взора
Тот, кто злобу Судьбы на себе испытал.

.....
.....

(Перевод В. Левика)

Душераздирающий вопль перед лицом старости и неизбежной смерти. От этих стихов на губах навсегда остается привкус пепла.

Нечто подобное можно найти у Чорана:

«Как же она мне близка, та безумная старуха, которая бежала за временем, которая пыталась поймать клочок времени».

Интересны воспоминания Асселино, одного из самых верных друзей Бодлера:

«Бодлер забавлялся в это время сочинением безумных стихов. В них видна его любовь к маскам и к перевоплощению, заставлявшая сочинять стихи религиозные, военные и проч. Одно из них он мне прочел в тот вечер. В нем выражалась горечь любовника, чью любовницу на его глазах насилует целая армия. Участие принимали драгуны, артиллеристы, тамбурмажоры и даже инвалиды».

Т. С. Элиот: «Его проститутки, мулатов, иудеек, змей, котов, трупов — вкупе нелегко вынести».

Эмиль Чоран: «Если Ницше, Прусту, Бодлеру или Рембо удалось пережить все колебания моды, то обязаны они этим своей бескорыстной жестокости, своей дьявольской хирургии, обилию своей желчи».

За год до смерти Бодлер пишет из Брюсселя письмо Жюлю Труба:

«...Я получил от г-на Лемера два из трех номеров "Л'Ар", где напечатана касающаяся меня статья¹... Этим молодым людям, бесспорно, не занимать таланта, но сколько безумств! сколько неточностей! сколько преувеличений! какая нехватка точности! Говоря по правде, они внушают мне отчаянный страх! Больше всего я люблю быть один».

Он испытывает отвращение к каждодневному труду. «Мне было невероятно трудно усадить себя за работу», — пишет Бодлер матери в августе 1851 года. Работе он предпочитает беседы с приятелями, посещения публичных домов или бесконечные походы в театр.

¹ Речь идет о статье Верлена о «Цветах Зла»; ее невероятный успех способствовал тому, что Бодлера стали называть главой нового поэтического направления, «школы Бодлера».

В своей книге о Бодлере Анри Труайя приводит забавные подробности его жизни:

«Иногда по вечерам он ходил также в казино “Каде”, известное малопристойными танцами, канканом и назойливыми проститутками. Чаще всего его спутниками были Шанфлёр и Константен Гис. Он бродил там с мрачным видом, среди разгоряченных девиц и игривых участников ужина. Играла оглушительная музыка, юбки взлетали выше колен, у всех был жизнерадостный вид, все спешили насладиться жизнью, — все, кроме этого никогда не улыбавшегося гостя в черном, с глазами убийцы. Случайно встретив его в толпе веселящихся, Шарль Монселе спросил: “Что вы тут делаете, Бодлер?” Тот невозмутимо ответил: “Дорогой друг, я рассматриваю окружающие меня черепа”».

13 марта 1856 года в письме Шарлю Асселино Бодлер рассказывает о необычном сне, приснившемся ему накануне:

«...Было 2 или 3 часа ночи (во сне), и я прогуливался в одиночестве по улицам. Я встречаю *Кастиля*, которому, как мне думается, нужно сделать множество дел, и говорю ему, что составляю ему компанию и что воспользуюсь коляской, чтобы съездить по одному личному делу. Итак, мы берем коляску. Я считал своим *долгом* подарить хозяйке одного публичного дома собственную книгу, которая только что вышла. Взглянув на книгу, которую я держал в руке, я *обнаружил*, что она — *непристойная*, это мне объяснило *необходимость* подарить сей труд этой даме. Кроме того, в моем мозгу эта *необходимость*, в общем-то, была предлогом отыметь мимоходом одну из девиц заведения, так что получается, что без *необходимости* подарить книгу я не осмелился бы зайти в подобный дом. Я ничего не сказал об этом *Кастилю*, приказал остановить коляску у дверей этого дома, оставил *Кастиля* в коляске, пообещав, что не заставлю его долго ждать. Сразу же, как только я позвонил и вошел, я заметил, что елда вываливается у меня из расстегнутого брюка, и я решаю, что в таком виде неприлично заходить даже в подобное место. Ко всему прочему, почувствовав, что у меня насквозь мокрые ноги, я обнаружил, что стою *босиком* в луже у самой лестницы. Ба! — говорю я себе, — я их вымою, перед тем как лягу с ней и до того как уйти отсюда. Поднимаюсь. Начиная с этого момента о книге нет и речи.

Я оказываюсь в просторных галереях, сообщающихся между собой, плохо освещенных, имеющих печальный и по-

блекший вид, — будто старые кафе, прежние кабинеты для чтения или мерзкие игорные заведения. Девицы, рассеянные по просторным галереям, беседуют с мужчинами, среди которых я вижу лицеистов. — Мне очень грустно и очень неловко; я боюсь, как бы все они не увидели мои ноги. Смотрю на них и замечаю, что на *одной* из них надета туфля. — Через некоторое время обнаруживаю, что обуты обе.

Меня поражает, что стены этих просторных галерей украшены всевозможными рисунками — в рамках. Не все из них неприличные. Есть даже архитектурные чертежи и египетские статуэтки. Поскольку я чувствую себя все более и более смущенным и не осмеливаюсь подойти к какой-нибудь девице, развлекаюсь тем, что старательно разглядываю рисунки.

В отдаленной части одной из этих галерей я обнаруживаю очень странную экспозицию. Среди целой кучи маленьких рамок я вижу рисунки, миниатюры, фотографии. На них изображены разноцветные птицы с очень ярким оперением, глаза этих птиц — *живые*. Иногда *нарисована только половина птицы*. Иногда попадаются изображения существ странных, чудовищных, почти *аморфных*, будто небесных тел, *аэролитов*. В углу каждого рисунка стоит подпись. *Девушка такая-то в возрасте... произвела на свет это существо в таком-то году; и другие надписи в том же роде.*

Меня посещает мысль, что подобные рисунки не очень-то пригодны, чтобы дать представление о любви.

Другая мысль: в целом мире существует на самом деле только одна газета, "Съекль", чья глупость дошла до того, что они открыли публичный дом и к тому же разместили в нем нечто вроде медицинского музея. Вдруг я говорю себе: да, это же газета "Съекль" наживалась на этих бордельных спекуляциях, а медицинский музей объясняется тем, что они там помешались на *прогрессе, науке, распространении просвещения*. Тогда я подумал, что современные дурость и глупость приносят таинственную пользу и что часто созданное ради зла по законам странной спиритуалистической механики оборачивается во благо.

В глубине души я восхитился верности своего философского склада ума.

Но среди всех этих существ было одно действительно живое. Это чудовище появилось на свет в борделе и теперь вечно стоит на пьедестале. Хотя оно и живое, оно является частью музея. Оно не безобразно. У него даже хорошенькое лицо, очень смуглое, восточного типа. В нем много розового и зеленого. Существо стоит на корточках, но в очень странном и вывернутом положении. Кроме того, что-то черноватое обвивает тело и конечности, словно огромная змея. Я спрашиваю у него, что это, и оно мне отвечает,

что это чудовищный аппендикс, который выходит из головы, он эластичный, будто каучуковый, и такой длинный, такой длинный, что, если бы он закрутил его только вокруг головы, как лошадиный хвост, было бы слишком тяжело и совершенно невозможно его носить, — поэтому ему приходится обвивать его вокруг себя, что, впрочем, производит очень красивый эффект. Я долго беседую с чудищем. Оно делится со мной своими печальями и тревогами. Вот уже много лет ему приходится стоять на пьедестале, оставаться в этом зале на потеху публике. Но его главная проблема — время ужина. Поскольку оно живое, ему приходится ужинать вместе с девицами из заведения — шагать, покачиваясь, вместе со своим каучуковым аппендиксом до столовой, где ему приходится следить, чтобы тот был обернут вокруг него или лежал на стуле, словно моток веревки, ибо, если оно позволит аппендиксу волочиться по земле, тот может вывернуть назад его голову. Кроме того, ему, маленькому и плотному, приходится ужинать рядом с крупной, хорошо сложенной девицей. Впрочем, все эти объяснения оно давало без всякой горечи. Я не осмеливаюсь прикоснуться к нему, но оно меня волнует».

Роберто Калассо в книге «Сон Бодлера» так комментирует этот сон:

«Этот сон надо рассматривать, прежде всего, как рассказ — и рассказ ошеломляющий. Возможно, самый смелый за весь девятнадцатый век. В сравнении с ним «Фантастические рассказы» Эдгара По звучат как робкие и устаревшие повествования в них подчинено определенным канонам, а также требованиям возвышенности стиля. Сон Бодлера, напротив, лаконичен и сух, речь нервно спотыкается, встает на дыбы».

В связи с этим сном нельзя не вспомнить Лотреамона, создателя чудовищных «Песен Мальдорора», безусловно читавшего, а возможно и знавшего наизусть книги По и Бодлера. В частности, такой, например, пассаж:

«Мой член всегда чудовищно раздут, и даже когда пребывает в невозбужденном состоянии, никто из приближавшихся к нему (а мало ли их было!) не мог выдержать его вида, даже тот грубый чистильщик сапог, который в припадке безумия всадил в него нож».

Дадаист и сюрреалист Рене Кревель, ознакомившись с безумными и кощунственными «Песнями» Лотреамона, писал:

«Фразы скользили, как клинки, в моем мозгу. И кровь лилась из моих висков, как колокольный звон».

Через восемь лет после того, как он рассказал о своем сне Асселино, Бодлер в письме Теофилю Торе делает важное признание:

«Знаете ли, отчего я с таким терпением переводил По? Оттого что он на меня походил. В первый же раз, открыв одну из его книг, я с ужасом и восторгом обнаружил не только сюжеты, о которых сам помышлял, но и фразы, продуманные мною, а написанные им двадцатью годами ранее».

В книге «Мое обнаженное сердце» Бодлер, рассуждая о трагической судьбе Эдгара По, находит замечательные слова, которые с полным правом можно отнести к нему самому:

«Какая горестная трагедия — жизнь Эдгара По! Его смерть, его ужасная нужда, ужас которой лишь усугубляется ее пошлостью! Из всех свидетельств, которые мне довелось прочесть, я вынес убеждение, что Соединенные Штаты были для По лишь пространной тюрьмой, по которой он метался с лихорадочным возбуждением существа, созданного, чтобы дышать в более благоуханном мире, нежели это освещенное газом варварство, и его внутренняя, духовная жизнь поэта, пусть даже пьяницы, была лишь беспрестанным усилием, чтобы избежать влияния губительной среды».

По словам Ива Бонфуа, Бодлер изменил поэтическую оптику. Он отыскивает прекрасное в безобразном, а в прекрасном ищет следы омерзительного.

Об этом же писала Лидия Гинзбург: «Красивая вещь встречается со страшной вещью — вот поэтический мир Бодлера».

А вот высказывание самого Бодлера: «Удивительная прерогатива: ужас, выраженный посредством искусства, превращается в красоту, и разъединенная, ритмизованная боль духа наполняется спокойной радостью».

С начала января 1855 года он не находит себе места, мечется из угла в угол, беспрестанно меняет гостиницы, переезжая из одного района Парижа в другой в поисках недорогого, уютного жилища. Как всегда, Бодлер рассказывает об этом Каролине в длинных письмах, где каждая буква кричит о том, как он несчастен и как ему опять (в который раз!) нужны деньги.

«За месяц мне пришлось шесть раз переезжать, жить в непросохших после ремонта комнатах, спать в кроватях, полных блох, письма ко мне (самые важные) теряются, потому что я

переезжал из отеля в отель, и поэтому я решил жить и работать в типографии, поскольку дома не было условий <...> Работа для «Пэи» кончается через три дня, и нужно будет начинать что-то другое, а при этом у меня нет жилья, потому что нельзя же назвать жильем мою дыру, где совершенно нет мебели, где мои книги валяются на полу <...> И самое смешное, что именно в таких невыносимых условиях, которые меня изнашивают, я должен писать стихи, а это же ведь для меня самое что ни на есть утомительное занятие».

При малейшей потребности в деньгах он вынужден обращаться к Анселю. Тот, как заклинание, повторяет одну и ту же фразу: «Необходимо разрешение матери». Однажды, чтобы купить обычный умывальник, ему пришлось тащиться из пригорода Парижа Нёйи, где жил нотариус, на Вандомскую площадь, расположенную в центре города. У дома он остановил экипаж и отправил Каролине записку:

«Только в случае крайней необходимости, например, *когда я очень голоден*, я обращаюсь к Вам, настолько мне все это отвратительно, настолько надоело. В довершение всего г-н Ансель требует Вашего разрешения. Вот почему, несмотря на дурную погоду и усталость, я приехал ходатайствовать о том, чтобы Вы позволили мне получить в Нёйи деньги, чтобы купить <...> *умывальник* и иметь возможность питаться в течение нескольких дней».

В октябре 1857 года братья Гонкур описали в своем «Дневнике» посещение кафе «Риш», в котором бывали многие писатели, в том числе Бодлер:

«Рядом ужинает Бодлер. Без галстука, с расстегнутым воротом и со своей бритой головой он похож на человека, идущего на гильотину. Единственный признак изысканности — лайковые перчатки, маленькие, до белизны вымытые руки, ухоженные ногти. Голова безумца, голос резкий, как лезвие ножа. Менторская манера говорить; метит в сходство с Сен-Жюстом, и это ему удается...»

Все, кто знал Бодлера в молодости, в один голос утверждали, что он был очень красив. Теофиль Готье, Теодор де Банвиль и многие другие. Жюль Валлес, познакомившийся с ним гораздо позже, придерживался иного мнения. Он так описал Бодлера: «У него бы-

ла голова актера; выбритые щеки, розовые и надутые, лоснящийся нос с приплюснутым кончиком, губы кривились в нервной жеманной ухмылке, выражение лица было напряженным... в нем было по-немногу от попа, старухи и от лицедея. Но больше — от лицедея».

Впрочем, в те благословенные времена писатели любили поливать друг друга грязью. О самом Валлесе в «Дневнике» братьев Гонкур можно прочесть следующее: «Валлес нянчится со своей озлобленностью, лелеет и холит ее, разжигает ее, никогда не расстается с ней, поддерживает ее кипение, понимая, что без нее он уподобится тенору, утратившему свое *нижнее до*». И еще: «Кстати, о ночевке Валлеса у Золя: он отказался надеть ночную сорочку и спал голым. В этой комической подробности он сказался целиком: таков он и в литературе, — любитель оголяться».

Тем временем Жанна стала изменять ему с еще большим рвением. Для полного комплекта ей оставалось переспать разве что с конной статуей короля Генриха IV.

Бодлер, в свою очередь, страстно влюбляется в Аполлонию Сабатье, хозяйку салона, в котором частыми гостями были Теофиль Готье, Гюстав Флобер, Жюль Барбе д'Оревильи и многие другие. С легкой руки Готье ее окрестили «Президентшей». В шестнадцать лет она поступила на содержание к состоятельному бельгийскому банкиру Альфреду Моссельману. Он поселил ее в доме номер 4 по улице Фрошо, неподалеку от площади Барьер-Монмартр. Аполлония была хороша собой, при этом она всегда твердо знала, что ей нужно и чего она хочет.

«Довольно высокая, пропорционально сложенная женщина с тонкими лодыжками и очень изящными руками», — так писала о ней Джудит, дочь Теофиля Готье.

Роберто Калассо в книге «Сон Бодлера» охарактеризовал Аполлонию следующими словами: «Мадам Сабатье стала содержанкой, как иные становятся хирургами, ботаниками или саперами».

В декабре 1852 года Бодлер написал мадам Сабатье письмо, снабдив его посвященным ей любовным стихотворением под названием «Слишком веселой». Почерк был изменен.

«Твои черты, твой смех, твой взор
Прекрасны, как пейзаж прекрасен.
Когда невозможно ясен
Весенний голубой простор...»

Стихотворение заканчивалось строфой:

«Как боль блаженная остра!
Твоими новыми устами
Завороженный, как мечтами,
В них яд извергну мой, сестра!»

(Перевод В. Микушевича)

Позднее эти четыре строчки привели в ужас судей и побудили их включить стихотворение в список «осужденных». В примечании ко второму изданию «Цветов зла» Бодлер сделал уточнение: «Очевидно, что слово "яд" в значении "сплин или меланхолия" было для судей слишком простой идеей. Пусть же эта сифилитическая трактовка остается на их совести».

3 мая 1853 года он посылает ей второе стихотворение, написанное, по всей видимости, в версальском борделе. Позднее оно было опубликовано в «Цветах зла» под названием «Духовный рассвет».

«Вы, ангел радости, когда-нибудь страдали?
Тоска, унынье, стыд терзали вашу грудь?
И ночью бледный страх... хоть раз когда-нибудь
Сжимал ли сердце вам в тисках холодной стали?»

.....
(Перевод И. Анненского)

По прошествии нескольких лет Аполлония все-таки отдалась ему в крошечном отеле на улице Жан-Жака Руссо. Встреча произошла в обстановке величайшей секретности. В течение нескольких минут Бодлер с недоумением рассматривал ее увядшие прелести: располневший бюст и оплывшие бедра, затем, несмотря на внезапно появившуюся слабость в ногах, выполнил то, что от него требовалось, правда, без особого энтузиазма! Тем не менее, Аполлония осталась довольна.

На следующий день она написала ему письмо: «Мне кажется, что я твоя с первого же дня, как тебя увидела. Делай что хочешь, но я твоя и душой, и сердцем, и телом». Прочитав эти слова, Бод-

лер с ужасом подумал о том, что Аполлония после случившегося, возможно, захочет оставить богача Моссельмана и переехать к нему, в то время как сам он мечтал совсем о другом.

Всепоглощающая любовь к мадам Сабатье не мешала Бодлеру встречаться с другими женщинами, имена и адреса которых он записывал в специальный блокнот с особой тщательностью. Одной из них была актриса Мари Добрен. Когда-то у них был роман, но он продлился недолго, и расстались они не очень хорошо. Теперь, через семь лет, Бодлер встретился с ней в театре «Гэте», и между ними снова вспыхнула страсть. Он посвятил ей свою «Осеннюю песню»:

«...Люблю зеленый блеск в глазах с разрезом длинным,
В твоих глазах — но всё сегодня горько мне.
И что твоя любовь, твой будуар с камином
В сравнении с лучом, скользнувшим по волне.

И всё ж люби меня! Пускай, сердечной смутой
Истерзанный, я зол, я груб — люби меня!
Будь матерью, сестрой, будь ласковой минутой
Роскошной осени иль гаснущего дня.

Игра идет к концу! Добычи жаждет Лета.
Дай у колен твоих склониться головой,
Чтоб я, грустя во тьме о белом зное лета,
Хоть луч почувствовал — последний, но живой».

(Перевод В. Левика)

Когда его связь с Аполлонией Сабатье наконец-то прервалась, а Мари Добрен вернулась к своему прежнему любовнику, Теодору де Банвилю, он, недолго раздумывая, возобновил отношения с Жанной Дюваль. Какое-то время они живут в доме на улице Ангулем-дю-Тампль, затем переезжают в гостиницу «Вольтер».

Проходит совсем немного времени, и все становится на свои места: после очередного, уже привычного для них обоих, скандала Бодлер расстается с Жанной, на этот раз, по-видимому, навсегда. В сентябре 1856 года в письме к матери он пишет:

«Я сейчас одинок, совсем одинок, и, скорее всего, навеки. Ибо я больше не могу, просто хотя бы с точки зрения морали, доверять не только людям, но и себе самому, поско-

льку отныне мне остается заниматься лишь денежными делами и вопросами, связанными с удовлетворением тщеславия, и получать радость только от литературы».

В этот тяжелый период своей жизни он опять задумывается о смерти. Перед глазами нет-нет, да и возникнет образ Нерваля, год назад повесившегося на улице Вьей-Лантерн. Этот случай не выходит у него из головы. Ну что ж, пора выбирать: либо покончить с собой, как об этом мечтал Флобер («Все мне опротивело. Мне кажется, я бы с наслаждением сейчас повесился, — только гордость мешает...») либо, как позже написал Блэз Сандрар, «...сочинить молитву в духе Бодлера».

Он выбирает второе.

Бодлер предполагал напечатать «Лимбы» у Мишеля Леви, выпустившего в свет «Салон 1846 года» и еще несколько книг, имевших успех, в том числе «Сцены из жизни богемы» Анри Мюрже. Именно Мишелю Леви Нерваль доверил свои последние произведения перед тем, как покончить с собой.

Практически всю свою жизнь Мюрже провел в нищете. В 1844 году в письме старому школьному товарищу он писал:

«За три месяца не было ни одного дня, когда бы я не страдал от голода... Я не мог ни проверить, есть ли письма, ни встретиться с кем-либо в городе, одежда моя была в таком состоянии, что я не решался выйти на улицу среди бела дня».

Вот как он описывал своих персонажей, представителей тогдашней богемы: композиторов, художников и философов, живущих наотмашь, без оглядки, знающих не понаслышке, что такое нищета, в своей остроумной и трогательной повести «Сцены из жизни богемы»:

«Для облегчения и упорядочения сбора подати, которую он в силу необходимости взимал с состоятельных людей, Шонар составил таблицу, где в алфавитном порядке значились все его друзья и знакомые, проживающие в том или ином районе города. Против каждого имени значилась сумма, какую можно занять у этого человека в зависимости от его состояния, дни, когда он должен быть при деньгах, а также часы обеда и ужина, и меню, обычное для данного дома. Кроме

того, Шонар вел книгу, куда тщательно заносились все занятые им суммы, вплоть до самых ничтожных, ибо он не хотел, чтобы общая сумма его долгов превысила наследство, которое он надеялся со временем получить от дяди-нормандца».

Братья Гонкур посвятили Мюрже несколько горьких строк:

«...Мюрже при смерти; он умирает от ужасающей болезни, при которой человек гниет заживо, от старческой гангрены, еще усугубленной карбункулами, — тело распадается на отдельные куски. На днях кто-то стал подстригать ему усы — и усы остались в руке вместе с губой. Рикор говорит, что, если ампутировать ему обе ноги, это продлит ему жизнь, но на неделю, не больше».

«Цветы Зла» поступили в продажу 25 июня 1857 года. Сразу после выхода сборника в начале июля некто Гюстав Бурден опубликовал в *Le Figaго* рецензию, в которой заявил, что стихи Бодлера заставили его усомниться в психическом здоровье автора. «Гнусность соседствует здесь с низостью, а мерзость источает смрад... Я никогда не слышал, — писал он, — чтобы так много грудей кусали — скорее, жевали! — на протяжении всего нескольких страниц; никогда не видел такой череды бесов, зародышей, демонов, кошек и прочей дряни».

Поначалу Бодлер не придает большого значения рецензии Бурдена. Однако уже на следующий день после публикации статьи следователь парижского Трибунала заводит личное дело на него и издателей его книги, а еще через день министр внутренних дел подписывает ордер на арест книги.

20 августа 1857 года в здании Дворца правосудия на острове Сите состоялся суд, рассмотревший иск Главного управления общественной безопасности к поэту Шарлю Бодлеру и издателям Огюсту Пуле-Маласси и Эжену де Бруазу, выпустившим тиражом в тысячу экземпляров стихотворный сборник «Цветы зла». Бодлера обвиняют в скабрёзности, сотрясении устоев общественной морали и приговаривают к штрафу в 300 франков.

И все же ни уничтожающая критика, ни многочисленные оскорбительные статьи, ни судебный процесс не нанесли ему значительного вреда, скорее, наоборот — послужили укреплению его известности...

...В последние годы жизни здоровье Бодлера начало стремительно ухудшаться. Его преследовали удушье, головокружение, головные боли. Он уже не мог обходиться без наркотиков. После двух лет пребывания в Бельгии умирающего поэта перевезли в Париж.

Акутагава Рюноске за месяц до того, как принять смертельную дозу снотворного, завершил работу над автобиографической повестью «Жизнь идиота», в которой, в частности, написал следующее: «Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера...»

Шарль Бодлер умер в 1867 году в последний день лета.



Єлена ДОРОФІЄВСЬКА

/ Вишгород /

* * *

спатиму снитиму
повня змістила кути
вікон навпроти
з денця по вінця чорних
і посеред поглибленої висоти
стіни спливають
ми перекинутий човник
переколисуй
наново перевчай
перетинати
кожну таку печаль
кожну її частину або часину
передколишня сутінь
проймає сни
вперто колише
довгу луну війни
доки нанизує смерті
на волосину

* * *

а і тиха вода греблі рве
нетихої днини
каламутья імення авелеве
білі глини
перемішуються з піском
осадам глевким
молоко тече молоко
ні за ким
хвилі б'ються розплескуються по колу
ми твої мореплавці отче
святий миколо

це доми наші не човни
може диво би учинив
хвиля суне вода хлюпоче
поза волею позаочі
то корчі то ключі тягнуть руки
то хрести то хребти то гадюки
ані берега там ні дна
тільки тиха вода одна
і нічому не йняти віри
в цьому вихорі
в цьому вирі
доки спиш у своєму мирі

* * *

колись ми з тобою бували в одній воді
вище за течією водо веди веди
тобі залишалась не я а сама вода
ні тіні моєї ні ритму в її ході
прірва у пам'яті наче холодний вир
віра в забуте наче голодний яр
вниз течія неслася ходи ходи
мені залишався не ти а сама вода
і де той намул і де саме та із глин
глиби незграби більші за цю ріку
всотує мов стороте та все углиб
море що стихло
всохло на наших віку

* * *

Саме тут, на вершечку масної дніпрової кручі,
достигає щовечора сонце, утомлюючись сіяти.
Амальгама вітрів — аромат полину та м'яти,
малахітовий квас із забродженої води.
Осягни та збагни, котрий спогад тобі докучив
із відтятого міста, що жевріє просто в спину,
наче втеча сюди розділяє наполовину
безперервність життя і минущість його годин.

Від набутих подоб, від юрми та її рутини
на часинку тебе приховують поснулі граби:
ти не перший, кого краєвид цей до скону вабив —
чаклуни та князі тут мовчали вряди-годи.

І, прислужник комфорту всесвітньої павутини,
набуваєш на цих висотах затишшя келій,
щоби зрушити гори, ущент потрощити скелі,
а не ждати небесної манни, зорі, біди.

Ця могутня вода поглинала, мов гробовище,
і навколишні села, й справдавна німі собори.
Ти борониш від темряви сплутані коридори
твого міста, щоб та не вхопила тебе у нім.
Та золотиться схил, зеленіє над ним узвишшя,
б'ються хвилі у берег — пощерблені та байдужі,
неозброєний спокій в тобі оселяється й дужає,
віднаходиш себе у минулому затіснім.

Нез'ясовна пиха то з'являється, то зникає,
не згубитися би у її споконвічному лоні —
вилучаєшся з мап, документів та телефонів,
не сказавши нікому, на скільки віків чи діб,
позаяк над тобою хтось синю твердінь розкраяв
так, що вловлює вухо пророцтва й перестороги,
наче доля сама простелилась тобі під ноги
і твоя глибина віддзеркалюється в воді.

* * *

Можна і не писати нічого нового, бо
ходить поміж розвалин колишнього ще не воскреслий бог,
а поводитир, що нагострював голос твій, якщо й був — осліп,
лиш папір досі сяє, але не сприймає знайомих слів,
хоч зспай їх до купи, хоч щільно вкладай рядками.
Скільки мова носила, як море, легких золотих човнів,
доки вибухнув світ, похитнувся і почорнів.
Підймаєш з глибин милосердя за каменем камінь —
раз за разом знаходиш потрібний,
та згодом винищуєш вщент.
Слів нема, бо твої, може, й не народилися ще.

ГОРЯТЬ ЛІСИ

дими такі що боже нас спаси
стовбичать мов нагострені списи
між соснами та трунками конвалій
перун збирає в пригорщу зухвалі
громи й реве на різні голоси

палає захід загасає схід
будинки гинуть як живі істоти
виразні вікна як порожні соти
закреслені провалені глухі

а ти стоїш на крилечку бджоли
допоки воду не прониже вглиб
отара видив наче чорне птаство
і так затісно тіні облягли
тебе і світ навколо одночасно
майстри гончарства бондарі кравці
мірошники сліпці з поводитрями
чумацькими шляхами йдуть у ями
у хижі та голодні вирви ці

як доленосно сіється вогонь
лопушша в ньому корчиться либонь
у намірі зворушити його
червоні хвилі побивають човен
хоч на позір сум'яття містечкове
та полум'я жене птахів зі стріх
гуде гуде неопалимий вулик
ріка гаптує золами намули
для грішних тих

так сходить світло сам побач увіч
над маківками житлових кварталів
скидає берці та прямує далі
ліс оживає місто воскресає
навічно в кручі княжий град востає
і очерет ковтає довгу ніч



Илья ИОСЛОВИЧ

/ Нешер /

МУЛЫНДА

Это было такое сленговое выражение: «тянуть мулынду» — участвовать в каком-то неопределенном процессе, ни да, ни нет. Все это тянулось довольно долго. Они познакомились, когда Паша пришел в их квартиру за заявкой в министерство после окончания аспирантуры. Ее отец был такой научный администратор. Общие семейные знакомые посоветовали к нему обратиться. С ожидаемой заявкой его уже прокатили, а без заявки можно было внезапно отправиться на Камчатку. Ну, за разговорами его познакомили с младшей дочерью, 19 лет, учится в Физтехе. Вид у нее был довольно умный, но передние зубы выпирали, интеллигентные родители не позаботились поставить брекеты. Но отрицательных эмоций не возникало. Все при ней, весь комплект. Семья была австрийская и довольно странная. Бабушка в свое время издавала в Вене газету «Форвертс» боевых социал-демократов, шюцбунда, которые подняли пролетарское восстание в 1934 году. В них стреляли из пушек. Потом уцелевшие бежали в СССР. Теперь австрийская республика платила ей пенсию, и внучке доставались чеки магазина «Березка». Какая-то на ней была кожаная юбка, плод пролетарской солидарности. Вообще-то Паша был женат, но брак распался, наверно им это было известно от общих знакомых. Через два года он уже защитился и развелся и осенью оказался с ними случайно вместе в Гаграх. Там ее мать на всякий случай сказала: «Ну, вы же порядочный человек» — а Паша терпеть не мог этих моральных проблем, так что в основном держал свои руки при себе. Когда они все вместе гуляли по Гаграм, вдруг из ворот правительственной дачи, приплясывая, выбежал всесильный министр Костандов (плюс химизация) с какими-то дамами, и раскладываясь — глава семьи заведовал большим отделом в химическом институте.

Еще через год Паша пригласил ее встречать новый год в его компании — но ничего не произошло, встретили и разошлись. В

компании она смотрелась нормально, и под утро Паша немного подумал, куда ее везти — к себе или к ним. Она, возможно, и не возражала бы поехать к нему, но объясняться, разбираться, да ну... Потом прошел слух, что она как-то странно вышла замуж за молдаванина, тот привез на свадьбу бочку вина. Но живут порознь — он в Молдавии. А еще через два года весной одиночество достало, и Паша пригласил ее на дачу к приятелю. На даче гуляла большая компания, гениальный режиссер Боря Николаев рассказывал, как он снимал брачную ночь А. Н. Островского, кровать поставил вертикально, а актеров привязал цирковыми лонжами, чтобы не падали.

Ночью режиссер Боря в темноте в общей комнате стал сдирать трусы со своей девушки, она возражала, трусы порвались, а они были импортные, девушка взяла их взаимы у подруги на выезд. Крики были на полночи. Отдельных комнат было мало, так что Паша заранее предупредил хозяина — мне ночью нужна отдельная комната, не занимай. Там все это и произошло без особых эмоций. Хотя как знать. Любовь можно имитировать, а половой акт — подлинный (цитата из Шкловского). Некоторое время она ездила к Паше на квартиру — присматривалась. И однажды утром сказала: «Я тогда подумала и решила — ладно, пусть его, ему же хуже».

А еще потом сказала: «Я иду в театр с гинекологом, свой гинеколог — это очень полезно».

И еще через неделю: «Муж приезжает, мы разводимся. Останется у нас, но я с ним спать не буду — тебе же это очень важно?» — сказано с некоторым презрением.

Между тем стало возникать странное ощущение, что они совместны. Могут общаться не только в постели. Чтобы это значило? А потом у него была на Волге длинная конференция. А потом она должна была ехать на юг — пасти ребенка сестры, потому что больше никому. А потом это все рассосалось.

Сведения доходили, она вышла замуж, родила. Ее время от времени посылали по работе на какие-то совещания, и там они кивали друг другу. Так что ничего не осталось, и только иногда почему-то всплывает со дна памяти.

НЭЙМДРОППИНГ

В свое время я был знаком с разными знаменитостями, ну там с Евтушенко, Ахмадуллиной, Вознесенским, Красовицким, Глазуновым и т.д. В этом не было ничего особенного: я был тогда гораздо более известен, чем сейчас, а они еще не были такими уж знаменитыми. Однако уже тогда, в далеких 50–60-х, было ясно, что они прославятся — и я усердно собирал автографы.

К сожалению, при переездах все это пропало, потерялось, или я их засунул туда, где не могу найти.

Среди этих автографов особенно мне жаль стихотворения Вознесенского «Сидишь беременная, бледная, как ты переменялась, бедная...» Андрей пришел осенью 1958 года на наше литобъединение естественных факультетов МГУ и прочел свои стихи. Привел его Николай Старшинов. Потом он приходил еще несколько раз. Мы с ним сразу подружились, как люди дружатся только в ранней молодости, до опыта предательства и разочарований. Он только что окончил свой архитектурный институт, разница в возрасте в три года не слишком ощущалась. Его еще не приняли в союз писателей, первая книжка «Мозаика» вышла только в 1960 году. Говорили мы только о поэзии... и о женщинах. Я ему записал свое стихотворение «А что и было бито, граблено, зарыто в непроглядный снег...» и он сказал, что поставил его в рамке на рабочий стол и перечитывает каждое утро. Он часто заходил ко мне домой, благо я жил в центре, на Большой Молчановке, моя мама кормила его котлетами.

Ухаживал он за Горбаневской, что меня сильно удивляло: Наташа была большой поэт, но как объект ухаживания? Странно. Хотя его собственная внешность была довольно неказистой, что скрашивалось обаятельной улыбкой. В его стихах уже проскальзывали какие-то конформистские строчки для редакционной проходимости, но глаз на них не задерживался. А другие строки были прекрасны:

Сквозь белый фундамент
Трава прорастет,
И мрак, словно мамонт,
На землю сойдет...

На самом деле он происходил из весьма привилегированной семьи, его отец был директором Гидропроекта — огромного института, который проектировал великие стройки коммунизма, гидроэлектростанции, управлял жизнями сотен тысяч людей. И когда он писал «Я уезжаю в Братскую...», то, во-первых, никуда не поехал, а во-вторых, если бы и поехал, то в мягком вагоне.

Однажды они с Горбаневской (потом признались) прислали мне письмо без обратного адреса. Там якобы поклонница назначала мне свидание, потрясенная моими стихами и готовая на все. Я поразмыслил и все же решил, что это розыгрыш, хотя письмо разными деталями было очень похоже на подлинное. Дело в том, что он уже получал такие письма охапками — там было, откуда списать слова.

Так вот это стихотворение мне очень уж понравилось:

Сидишь беременная, бледная.
Как ты переменялась, бедная.

Сидишь, одергиваешь платъице,
И плачется тебе, и плачется...

За что нас только бабы балуют
И губы, падая, дают,

И выбегают за шлагбаумы,
И от вагонов отстают?

Как ты бежала за вагонами,
Глядела в полосы оконные...

Стучат почтовые, курьерские,
Хабаровские, люберецкие...

И от Москвы до Ашхабада,
Остолбенев от немоты,

Стоят, как каменные бабы,
Луне подставив животы.

И, поворачиваясь к свету,
В ночном быту необжитом —

Как понимает их планета
Своим огромным животом.

1958

В моем автографе стояло не «нас», а «вас». Первоначально стихотворение посвящалось Евтушенко с эпиграфом из его же стиха «В рубаше яркой, в шляпе войлочной, пил на базаре Хванч-кару». И последние четыре строчки были другие: «И ослепительные сволочи по ним проносятся, смеясь, в рубаше яркой, в шляпе войлочной, иль в джемпере, как я сейчас».

Потом стихотворение было переработано, приделан новый конец, очень удачный, а посвящение и эпиграф исчезли.

«Понимаешь, — объяснял он мне, — вышло очень неловко, Евтушенко импотент, а я совершенно этого не знал...»

Потом наши дороги разошлись: я встрял в историю с журналом «Синтаксис», а он стал профессионалом. Через несколько лет досталось и ему — на него натравили самого Хрущева. Дикой ругани всемогущего первого лица не удостоивался и сам Пастернак, с ним ограничились Семичастным. Поэт перерабатывает любой материал, «когда б вы знали, из какого сора...», тем более, когда речь идет о такой наглядной травле. Через сколько-то лет я встретил Андрея, и он мне прочел свои стихи о петухе:

БОЙ ПЕТУХОВ

Петухи!
Петухи!
Потуши!
Потуши!
Спор шпор,
ку-ка-рехнулись!
Урарь!
Ху-ха...
Кухарка
харакири
хор
(у, икающие хари!)
«Ни хера себе Икар!»
хр-ррр!
Какое бешеное счастье,
хрипя воронкой горловой,
под улюлюканье промчатся
с оторванной головой!
Забыв, что мертв, презрев природу,
по пояс в дряни бытия,
по горло в музыке восхода —
забыться до бессмертия!
Через заборы, всех беся, —
на небеса!
Там, где гуляют грандиозно
коллеги в музыке лугов,
как красные аккордеоны
с клавиатурами хвостов.
О лабухи Иерихона!
Империи и небосклоны.
Зареванные города.
Серебряные голоса.
(А кошка, злая, как оса,
не залетит на небеса.)
Но по ночам их кличат пламенно
с асфальтов, жилисто-жива,
как орден Трудового знамени,
оторванная голова.

1968

Незадолго до отъезда в 1990 году я встретил его на вечере приехавшего Наума Коржавина (Манделя). Он был там ведущим. Мы поздоровались и он спросил: «Ты как?» Я ответил: «Уезжаю». Он кивнул головой.

Вот и все.

ФЕСТИВАЛЬ

Как правило, я запоминаю те стихи, которые мне нравятся, но это почему-то не запомнил. Его написал и мне прочел Андрей Вознесенский в начале 1958 года, и оно было про недавний фестиваль демократической молодежи и студентов 1957 года. Помню только начало и конец, еще и какую-то фразу в середине:

Москва — столица холода,
Там водка ведрами,
Там негры голые
Танцуют бедрами...

.

Это в Бутырках стригут блядей...

.

Ах, снявши голову,
По волосам не плачут.

Тогда Андрей еще не переживал насчет «Уберите Ленина с денег» и писал вполне приличные стихи.

Речь шла, собственно, не о девушках с пониженной социальной ответственностью, как недавно было сформулировано, а о тех студентках и юных жительницах Москвы и окрестностей, которые не устояли перед привлекательностью приезжих молодых демократических иностранцев, и вступили с ними в кратковременные интимные отношения. Кто-то из милицейской общественности рассказал Андрею, что на них была произведена облава, и в Бутырках они были острижены наголо — как поступали в освобожденной Европе с коллаборантками.

Видимо ему даже показали эту красочную картину с плачущими девушками и кучей состриженных кудрей на земле — и ... «когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...». Впрочем, в СССР, где как известно, секса нет, эта тема была не для печати — и я не встречал этого стихотворения ни в одном сборнике Вознесенского.

Совсем недавно я его вдруг обнаружил в журнале «45-я параллель» — и оно сильно отличалось от тех отрывков, что я помнил:

Пляска затылков,
блузок, грудей —
это в Бутырках
бреют блядей.

Амбивалентно
добро и зло —
может, и Лермонтова
наголо?

Пей вверх тормашками,
влей депрессант,
чтоб нового «Сашку»
не смог написать...

Волос — под ноль.
Воля — под ноль.
Больше не выйдешь
под выходной!

Смех беспокоен,
снег бестолков.
Под «Метрополем»
дробь каблукков.

Точно косули,
зябко стоят —
Вешних сосулек
грешный отряд.

Фары по роже
хлещут, как жгут.
Их в Запорожье
матери ждут.

Их за бутылками
не разглядишь.
Бреют в бутылках
бедных блядищ.

Эх, бедовая
Судьба девчачья!
Снявши голову,
По волосам не плачут.

1956

Датировка, очевидно, ошибочная — фестиваль был в июле 1957 года.

В ожидании фестиваля я записался и окончил курсы переводчиков с французского — и под это мероприятие не поехал летом на целину. Впрочем на фестивале переводить почти не пришлось, молодежь и студенты прекрасно объяснялись жестами. У меня было целых два замечательных пропуска: как переводчика, и как члена аппарата подготовительного комитета. Второй пропуск мне подарил мой приятель, студент МГУ — Института восточных языков (ИВЯ) Жорик Карпунин. Вместе с ним я даже участвовал в какой-то вечеринке подготовительного комитета, где с некоторым

изумлением наблюдал за довольно разнузданным поведением демократических и комсомольских функционеров. Не помню, возможно, там даже был Иржи Пеликан, председатель оргкомитета комитета и будущий диссидент и деятель времен пражской весны. Как писал Ленин Орджоникидзе летом 1919 года после докладной записки Реввоенсовета: «По-видимому, бабы и пьянки имели место в штабе фронта — в таком случае, что за бабы?»

На фестивале разные группы молодежи имели разные цели. Во-первых, многих интересовали студентки из Швеции и вообще Скандинавии, где бушевала сексуальная революция. Музыканты имели редкую возможность завязать какие-то профессиональные контакты. Приехали студенческие театры — во многом вполне профессиональные, и привезли совершенно недоступные спектакли. И, конечно, для фарцовщиков это были недолгие именины сердца. Для прохода на фестиваль джаза в театре киноактера на улице тогда Воровского мои пропуска не действовали, но я прошел под видом участника какой-то чешской группы, держась за большой барабан. И пять часов подряд слушал восхитительный джаз — безо всякой цензуры.

Этот прекрасный праздник закончился и уже не повторялся, как мимолетное видение и все такое. Для Жорика Карпунина эти впечатления не прошли бесследно. Он впал в нервное расстройство и в один из дней поздней осени на занятиях спецподготовки ударил ногой по задку подполковника с военной кафедры. Больше Жорика никто никогда не видел, но в легендах ИВЯ он остался благородным героем и рыцарем на белом коне.



Марина БОРИСПОЛЕЦЬ

/ Київ /

* * *

Але ж ти був. І дощ звучав, як рок.
Я виграла всі примарні війни.
Та відступаю. Мій наступний крок
Від тебе. Не розтиснувши обіймів.

Я відступаю у ранковий дим.
Вкриває небо наше кволе місто.
Чому ми завжди залишаєм тим,
Кого кохали, надто довгу відстань.

Ти був всередині. Чи, радше, посеред
Святої волі та безбожних ґратів.
Я відступаю. Не назад. Вперед.
Мабуть ще тільки вчуся програвати.

* * *

Коли все замовчане — досказала.
Коли в цьому попелі — аркуш сніжить.
Коли не втікаєш квитком до вокзалу.
Оце мабуть є — найвідвертіша мить.

Оце мабуть є — найщиріше прозріння.
Пірнаєш у себе, а дна там нема.
Розплющ свої очі, нарешті ти — вільна,
І тане від свічки вселенська зима.

Ми всі ще зустрінемося за видноколом,
Постанемо потім крапками над і.
Не треба блукати світами й по колу,
Там правди не знайдеш... Шукай у собі.

* * *

Ти був мені єдиний. Єдиний і стократ.
До ніг твоїх всі зорі, лише тобі — віват!
В тобі вся справжня суть, то істина — в вині.
Ти був мені.. Ти був мені — щитом у тій війні!

Я приручила лева. Сумирний, біля ніг..
Наївна... А він потай дивився за поріг.
Тепер володарюєш. Ти — над царями цар!
Тобі не садинок? Не страшно серед хмар?

Ти був всім незабгненним. Творінням і творцем.
А я стояла знічена перед твоїм лицем.
А я стояла стомлена. Дійшла, напевно, край..
Тепер на роздоріжжі: чекай! чи...прощавай...

Спить час на моїх віях. Йде відлік до весни..
Ми ще обоє живі. Ще не було війни.
Ми ще не ділим світ: «своє», «твое», «моє»..
І ти мені не був! Ти ще у мене є.

* * *

Тонкі пальчики сосни
пестять небо.
Безборонна, без війни
йду до тебе.
Море лащить до ніг
і муркоче.
Сміх зривається на сніг,
зимні очі.
Пристрасть музики цикад —
серце рветься.
Це прощання невпаад
тут здається.
Цей перерваний політ
і нестям.
Чи ж така була Ліліт
До Адама?
Блискавиці гострий спис.
Не боюся.
Зорі, падаючи вниз,
Все ж сміються.

* * *

Ти ніколи уже не повернешся...
Так в нікуди з нічим йде жебрак.
Старий потяг тікає вереснем,
Журавлем лине в небо літак.

Терпка кава із присмаком спогадів
І заплакані очі доріг.
Восени ми чекаємо сповідей
Від тих, з ким влітку випили гріх.

Та вони утечуть кілометрами,
Невзаємно закохані в даль.
Ми не вміємо бути відвертими...
Тільки спогадів темна вуаль.

Я на тебе не ворожитиму,
Листям жовтим твій слід облетить.
Я в коханні зізналася квітневі,
А цей вересень, то — моя

* * *

Моя кара й моя мука...
В спеку буревій.
Ти цілуєш мені руки,
як вуста повій.

Стихла... Лише серця стукіт...
То невже це яв?
Що цілує мені руки
той, хто розіп'яв.

Александр ПРОТАСОВ

/ Киев /



СЛУЧАЙ С АНГЕЛОМ

Немного не так: не случай, а рука ангела. Началось с находки. Большого холста на подрамнике. Для чего я его загрунтовал? Была, видимо, какая-то идея. Да ушла. Без следа. Вот тебе и малюсенькая мастерская, а большой холст затерялся. Холст жил сам по себе, а натюрморт поставил еще раньше. Глиняный, в основном. Керамическая бутылка, кувшинчик мой любимый. Много лет тому назад привез из Грузии. Таких грузинских винных обводов кувшинчик, только маленький. Запомнился тем, что стоил 90 копеек, я дал продавщице рубль, и жду 10 копеек сдачи. Чувствую, что ей неудобно оскорбить мужчину мелкой сдачей. А мне тоже неудобно настаивать на сдаче. Как разошлись, уже не помню. Особенности этносов: у них принято так, а у нас иначе. Рядом поставил сосуд из тыквы-горлянки, прямо как напоминание о Басе. Ещё несколько предметов. А не приспособить ли этот большой холст к этому натюрморту? Натюрморт стоит, холст на мольберте, время идет. Потом появились какие-то морские раковины, и откуда-то возникла мысль, что это будет картина памяти моего друга. Море как раз и было его жизнью. Что-то заставило экспериментировать с грунтом, первая попытка с серебристым и коричневым не удалась, Но как-то утром, при первом взгляде пришла мысль о золотом и медном. Смешивал, красил кистью, потом разглаживал акрил мастихином. Закрасил какой-то треугольник и оставил. Солнце было к закату и осветило холст сбоку, из-за туч. Вот тебе раз! Это же небо с горящим золотом и медью — просто небо над пожаром! Внизу какое-то сгущение света. Огонь, пламя там где-то, далеко. А треугольник вдруг стал перспективой домов. Там, на улице, в городе большой пожар! Осталось только увидеть на этом фоне свой натюрморт. Чем не рука Ангела? Борик погиб на одном страшном и нелепом пожаре.

Раковины на берегу
Вечного моря
Станут когда-то песком.

НИ ПРИБЫЛИ, НИ УБЫЛИ

Надо сказать, что Басё почти всё разложил, что называется, по полочкам, относительно геронтологических наблюдений. Жизнь в преклонном возрасте, полагал он, доставляет радость только тому, кто избавился от забот о прибыли и убыли, забыл о различиях между старостью и юностью и обрёл в душе безмятежный покой.

В его, XVII веке, как он сам писал, «мало, кто доползает до восьмого десятка», сейчас доползших стало больше. Суть от этого не изменилась, но благодаря медицине и прочим факторам, появился некоторый избыток лет, который позволяет исследовать несколько больше, чем удалось Басё, он-то закончил свои путешествия в этом мире в пятьдесят. Правда, сами по себе, мудрости годы никак не добавляют.

Как у любого живущего существа, у человека мир делится на две области: я, мне подобные и внешние силы, природа, космос. Обе они важны и взаимодействуют между собой. Но, как показывают наблюдения, с годами всё больший вес приобретает внешнее. Всё важнее становится погода, климат и просьбы к богам о своём благополучии и здоровье. И всё меньше занимают отношения с себе подобными. И всё реже появляется просьба: Боги, усмирите моих врагов, покажите моих недругов! И что же это — прибыль или убыль?

Что не пришло, то
Уже не придёт, и нет
Разочарованья.

ТРОПИНКИ

Трудно сказать, какими путями это приходит. Когда начинаю бороться за сон и повторяю себе мысленно: спать, спать... отгоняю какие-то воспоминания, печальные и нерадостные, приходят ко мне тропинки моего детства. В нашем маленьком городке асфальта было всего три дорожки, проезжая дорога была вымощена булыжником, а остальное — песок да железно-твёрдые тропки летом в пойме реки. Поразительно, насколько точно вспоминаются все эти эфемерные, казалось бы, пути, но и почти вечные, потому, что каждый год они воскресали из-под снега. Тот же песок и та же земля. Вечность их определялась вечностью устремлений: от дома к магазину, к почте, к школе. И обратно. Или петляя вдоль меандров реки, от села — к городку, от деревни к деревне. Мне почему-то вспоминаются не дома, а тропки между домами.

Пейзаж. Ему все равно
Вижу его или нет.
Радостное остается.

ШКОЛЫ

Перечитывая баховскую «Чайку по имени Джонатан», как-то по-новому разглядел детали. Каждый возраст имеет свой взгляд. Подумал, если внук будет читать, то может не понять многого, от этого стало досадно. Например, что он почувствует и поймет в том месте, где две жемчужные чайки, прилетевшие Оттуда, говорят Джонатану: «Ты прошел свою школу, которую сам создал для себя, а теперь пора, пора попрощаться с ней и перейти к новой школе». Они не добавили только, что школ этих нескончаемо много. Мне как-то тут сразу представился Иешуа (а может, это был и Мастер), который идет с Понтием Пилатом по дороге некоей высокой школы, и они ведут свой бесконечный разговор. Что есть истина? Наверное, и старость, это тоже новая школа. Может быть, в каком-то смысле — новый полёт.

Чтобы пройти много школ,
Надо отважиться
На первую.

ПРАЗДНИК МЕСТА

Думают, что Хемингуэй написал свой «Праздник, который...» о Париже. О месте, в котором жил, которое полюбил. О домах, погоде и Сене с её мостами. Но это не так. Просто надо ведь быть в каком-то месте. Но написал он о счастливом творчестве. Это о том, как ему работалось, как работалось хорошо. Он был счастлив своей работой. Удивлялся, наверное, такому чуду — как его перо создавало образы людей, не менее живые, чем те, что реально жили там, в Мичигане. Видимо, смена Места была необходима, чтобы внимательно взглянуть на ушедшее уже время. Он был счастлив тем, что, вставая из-за стола, знал, что будет писать завтра. Видимый всем праздник, эти дома, улицы, лавочки Парижа, это все было не более чем вынужденным ожиданием, полустанком перед Завтра. Когда он снова сядет писать, совершенно не задумываясь — зачем? Зачем жизнь? А что город Париж? У каждого свой праздник Места. Иначе не было бы там Мане, Пикассо, Сутина и Модильяни. Впрочем, не они ли праздником для места и были?

Город за мокрым окном
В дожде. Зябкие сумерки.
А вспоминаться будет тепло.

РАСКАЯНИЯ И ПОХВАЛЫ

Мой друг пожаловался на несимметричность одной вещи. Его мучили большие и маленькие раскаяния за разные нехорошие дела, которые он совершил в жизни. И было вполне возможно составить этот неприятный для него список. Они были конкретны, и вина за них была ощутима. Но были же и хорошие дела, а перечень их был какой-то расплывчатый, неосязаемый, неточный. Он помнил свой неприглядный поступок с украденными дружкой Генкой у соседа патронами (но он же его, Генку, не выдал!), помнил, как они залезли пацанами на какой-то полузаброшенный военный склад, как он из-за глупого хулиганства чуть не сделал калеккой какую-то незнакомую девочку. Помнил какую-то неудачную любовь и свое бегство... Немало накопилось за жизнь маленьких и больших подлых поступков. И он сейчас видел, как они дурны. Но что же хорошие? Что было положить на вторую чашу весов? Хотелось бы уравновесить, более того — превесить эту кучку похожих на тяжелые тёмные камешки горой, пусть даже и не сияющих добродетелью, но благих дел. Но всё было смутно и ни в какую кучу не собиралось. Вспомнил только, как давно, будто в какой-то другой жизни, он сильно переживал за одну девочку, которая заболела, и он ушёл к далекому болоту, нарвал и принес ей большой букет желтых ирисов. И больше ничего не приходило на ум. Он никого не вытащил из пожара, не защитил страну от врагов, правда, несколько раз повезло не взять греха на душу.

Считай свои камни грехов.
О добром
Вспомнят другие

МАЙ ЗЕЛЁНЫЙ

На Змиевых валах в этот холодный и дождливый май было непривычно зелено. Дубы ещё совсем недавно оделись листвой, которая была ювенильно нежной, желто-зелёной. Казалось, что это какие-то парковые композиции, созданные искусной рукой садовника. Но куст бузины на развилке полевых дорог был ещё светлее, какого-то солнечно-зелёного цвета, с шапками белых соцветий. И весело пели сверчки, почти заглушая птиц. Даже сосны, вечные сосны, щеголяли кронами в оторочке новых ярко-зелёных хвоинок.

Ах, как недолго
Радоваться маю.
Смолка скромно цветёт.

ЛЕТО УХОДИТ

Уже август. Какое-то очень поэтическое время. Но в чём его поэзия не очень понятно. Лето и лето, месяц и месяц. Преддверие осени? И что из этого? Уже какое-то не лето, но и март — уже не зима. Но, согласитесь, в августе гораздо больше милой грусти, чем в любой другой поре года. И удивляет, что в августе может быть жарко. Это днём, а ночи уже прохладны, и утро может встретить зябким туманом. Что бывало со мной в августе? Вроде ничего такого особенного и не случилось. Может быть, только в облаках, вечерних облаках всё чаще фиолетовые тени. Как тени под глазами сорокалетней. Тени ещё так невняты, но уже намёк. На совершенно иное состояние. И природы, и тебя самого. В августе есть какая-то усталость, появляется тяга к созерцательности. И что важнее? Предчувствие смен, от одного к другому и дальше, дальше... Или возникающее ощущение повторяемости всего. Всё было и всё будет, хотя и немножко по-другому.

Вот август. Звёзды
Ярче стали.
В небе холодном.

ЗВЕЗДА

Я проснулся от того, что одно из худых одеял сползло, и я даже немного замёрз. Август, ночи уже холодные. Пришлось встать, разыскивать пропавшее одеяльце. В окно мансарды лился лунный свет. Будто было полнолуние. Я выглянул в окно. Серп луны был не широк, стареющий, в виде буквы С. Но сиял и светил так ярко! Не это поразило, а огромная звезда под ним. Наверное, это была какая-то планета, может Юпитер? Поразительна эта отражённая сила света! Ведь не зеркало же. Звезда или планета? Если не знаешь астрономии, то и не различишь — Венера это или Вега. Почти как люди, один светит сам, другой только отражает. А может выглядеть, как и на небе — совершенно одинаково. А ведь хорошо, правильно отразить, тоже некий талант нужен. Да и звёзд всегда меньше, чем планет: при каждой звезде своя планетная система.

Если в луже отражаются
Звёзды, можно считать
Её частью Галактики?

МУЗЫКА

В доме у меня было несколько музыкальных инструментов. Была скрипка, на которой никто не играл и даже не пытался играть.

Но она не раз присутствовала как натурщица в моих натюрмортах. У неё была жёлтая дека, но я всё время уводил её в красное. Была маленькая гитара. Мне купил её отец, когда мне было лет 12. Это был какой-то символ моей связи с его роднёй, поэтому мать невзлюбила этот инструмент, хотя сама когда-то в молодости играла и пела. Была и гитара большая. Она досталась мне как-то не очень справедливо. Мне кто-то её продал, но нашлись не то реальные, не то мнимые хозяева, однако осталась она всё же у меня. Ей много лет. И она тоже стала символом чего-то, что не радовала своими воспоминаниями. Для натюрмортов гитары мало подходили, они были слишком велики. А ещё я хотел научиться на гитаре играть. Давно хотелось.

Настроил гитару
Пара аккордов.
Но музыки нет.

ЖЁЛТЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС НА НОЧНОЙ ПЛОЩАДИ

Дверь троллейбуса ещё не закрылась, но эта девочка сорока с небольшим лет уже прошла в его чрево, где был оранжевый, такой городской, такой ночной, и безнадёжный свет, и стало понятно — ожидание закрытия дверей неуместно. Что ему было до этой девочки сорока с небольшим лет? Он просто проводил её с этой не очень удачной и в чём-то печальной встречи, посиделок старых знакомых. В чём же была печаль? Когда-то она ввела его в круг этих людей, общие интересы, литература, искусство. И вот, теперь всё разваливалось, заканчивалось, умирало. Многие в жизни приходило и уходило. Вот, не будет теперь этих встреч, как заканчивались и многие другие. Она уезжает к любимому, надо надеяться, человеку, будет новая жизнь. Потери как-то уравниваются приобретениями. Горький вкус этого вечера происходил оттого, что жизнь, как ему казалось, всё чаще напоминала, что пора от радостей находок переходить к грусти потери. Старого, милого, удобного, привычного. Жёлтый троллейбус прошуршал где-то за спиной. Через несколько дней чувство утраты, досады почти прошло. Остался только тот тёплый, но почему-то болезненный свет. И кто-то уходил, тонкая, высокая, длинноногая фигура.

Ночью потери кажутся нам
Катастрофами, хотя и знаем:
Утро приходит.

ПАМЯТНЫЕ КАРТИНКИ

У меня был друг, скажем так, хороший давний приятель. Коллега. Получилось между нами так, что стал я ему на день рождения дарить свои этюды, картинки всякие, небольшие, но неплохие. Это как-то прижилось, стал перед его днём рождения думать и размышлять, чтобы такое в этот год подарить? Даже другой раз брался и специально делал что-то для этого подарка. Казалось бы — один раз в год, нечасто, а накопилось у него на стенке, целая маленькая галерея. Значит — прошли годы! А так всегда и бывает: время течёт незаметно, только некоторые вешки, знаки и значки остаются каким-то материальным отображением времени. Когда мой друг ушёл на заслуженный отдых, в пенсионную жизнь, в его рабочей комнате так все эти картинки и остались. А я почему-то думал, что ему как-то это чем-то дорого. Что заберёт с собой, домой с работы. Но ведь это было в этой рабочей жизни, а он ушёл в совсем другую, и там дорого другое, и важно что-то иное. Не прихватил же он старенькую лампу или запылённую гортензию с окна, или эти книжки, какие бы важные они ни были на работе. И зачем ему были именно эти вешки времени, и так вешек хватало.

Всё, что дали вы мне,
Мои друзья, не унести с собой.
Простите меня.

БЕССОННИЦА ОДИНОКИХ

Бессонница это, конечно, болезнь, причин у которой множество. Хотя, это еще достоверно не известно, что хуже — расстройство сна или расстройство бодрствования. Проснулся, два часа. Посмотрел в окно, за окном снег, фонари и светло от снега. Вчера вечером было всё черно, значит снег выпал ночью, может быть, в бессоннице виноват снегопад, некоторые не могут спать, когда полная луна. Но снегопад-то я проспал. Потом лежал, обдумывал вяло какие-то неприятные старые, сто раз передуманные мысли, разгонял, как жирных мух, стаю унижительных воспоминаний. Слушал, как сопит во сне жена. Может и у неё бывает бессонница, только никогда не совпадает. Это не совпадает, то не совпадает. Но когда совпадает, это хорошо. Мой друг живёт один, хотя и не в разводе с женой, но один. Жаловался мне, что плохо спит, с перерывами, особенно в городе, где мало дел для активного пенсионера. Встаёт, два часа ночи с половиной. За окном снег, но ещё вчера шёл дождь, и земля была как асфальт, такая же чёрная. Опять ложится, разные мысли, если бы не эти мысли, то можно было бы просто лежать и считать, что

спишь. Тихо. Никто не шуршит, никто не сопит, как ребёнок. Никто не спит. Спит, наверное, кот, но кот на даче живёт. Опять мысли, надо поехать кота покормить...

В бессонную ночь падал снег
Надо было полюбоваться.
Утром — дождь, и опять черно.

ДРУГ МИХАЛЕВИЧ

Казалось, что сон ему запомнился, до мелочей, но пришло утро, солнце, и всё ушло, теряются детали. Сон как сон. Он включил воду, подставил под холодную струю руку, и мысленно отпустил сон по какому-то ручейку, который таинственно вытекал из простого крана. Куда вода — туда и сон. Так бабушка учила.

Как всегда — чужой город. Как всегда — поиски. И тут на встречу друг Михалевич. Может быть даже это вокзал, аэропорт. В каком-то капюшоне монашеском, с какими-то цветами. Проснувшись среди серой ночи, он вспомнил, что друг его недавно умер. Но из-за этой самой эпидемии похорон-то и не было, и поминак не было. И прощания не было. Только слова об этом, по телефону. Виртуальные похороны получились. А на самом деле, настоящие. Он подумал, стал вспоминать, не звал ли он его во сне с собой. Было тревожно. Но во сне была надежда, что друг подскажет ему какую-то важную дорогу. Оказалось, потеря дороги, потеря себя в этом городе, в том мире и была главной темой сна. Только что-то сейчас, не так как раньше, друг его был какой-то неуверенный. С этими странными блёклыми цветами, похоже, он сам пришёл неизвестно откуда, и сам не знал куда идти.

Кто знает,
Куда ведут эти сны —
Во вчера или в завтра?

ГАСТРОНОМ ОДИНОЧЕСТВА

Зашёл я в недалёкий, но редко посещаемый магазинчик. Как-то неуютно, будто в командировке, в чужом городе, а может, и в чужой стране. И ассортимент незнакомый, и цены странноватые. Чтобы с пустыми руками не выходить, взял чай на работу (еле выбрал среди незнакомых этикеток), колбасы какой-то. Касса. Передо мной парочка, очень взрослых покупателей. Бутылка водки, две упаковки под плёнкой — печёная картошка четвертинками и куриные ножки жареные, огурчики солёные в пакете. Только в микроволновку поставь и слюнями изойдёшь, пока дождёшься. Хорошо, грамотно подготовились. Ка-

кой вечер впереди! Ещё бы квашеной капусты! Заплатил я за свой, не очень нужный чай, да и пошёл домой. В пустую квартиру. Прямо, как будто в командировке. Жена к внукам уехала, аж на десять дней.

В чужом городе, замечали?
Фонари зелёные,
Как сама тоска.

ПОДДЕЛКА

Был один из тех дней осени, которые могут запомниться надолго. Запомниться ничем, никакими деталями, просто день, немного туманный с утра, немного солнечный к полудню. И буйства этих горячих цветов никакого нет. Есть тихое увядание, когда понимаешь Аполлинера: большая прекрасная осень... Странно получилось, поехали на пленэр вдвоём с Вовкой, как будто вспомнили давнее-предавнее время, ещё студенческой жизни. Мы как-то тогда, было лето, расположились на Гончарке, пустые улочки, жаркий день.

— Вы что, городские художники? — спросила одна-единственная дама, бредущая куда-то в сторону Житного рынка. И ответа ей не надо было никакого.

А сегодня осень, и годы прошли. Неужели мы чему-то научились? Никакие мы не городские художники, да и вообще не художники. Просто сегодня хороший день, а мы рады, что есть ещё желание и силы выбраться на этюды.

Говорить как-то не о чем. Каждый своё малюет, только сюжет один — речка, кусты почти без листвы, дальний лес, который всегда синее, хоть зимой, хоть летом.

— Ты же Кольку помнишь? — похоже, что мой друг над чем-то размышляет, с желанием поделиться. Глаза смотрят то на этюд, то на натуру.

— Ну, да, правда, давно не видел.

— Вот, не могу решить, грешен я перед ним или наоборот сделал доброе дело.

Молчу, ожидаю. Речка блестит матово, уже как-то очень по-осеннему. Мало что отражает, кроме неба. Не знаю, уж моё ли это личное восприятие пейзажа, а может у всех так, наслаивается на него множество чужих отражений, чужих восприятий. После нескольких картин Фритца Таулова, одного скандинавского художника, которые пришлось увидеть в каких-то музеях, каждая речка, с водоворотом, с матово блестящей живой водой, неизбежно несёт этот отпечаток, отпечаток его способа отражения. Реальный мир и мир отражений.

— Когда он заболел, я время от времени у него бывал, — продолжил Вовка. — Сетовал он, что, вот, накопил холстов, а что с ними делать? Я ему еще сказал, что дарить не надо, мол, подарки не ценят. Давай, говорю, я у тебя одну работу заберу, дочке на день

рождения подарю, ей точно вон тот натюрморт понравится. Согласился он и даже накарябал что-то пожелательное на обратной стороне холста фломастером. Натюрморт был крепкий, в каких-то дымчатых фиолетовых тонах. Я ему говорю: «А тут, в левом углу картины явно не хватает подписи, даже и по общей композиции хорошо бы». Он возразил, что нечем написать, красок нет под рукой, да и высохнуть же потом должна. И начал злиться, не надо никаких подписей, суета всё это! Забрал я работу, даже символически что-то за неё заплатил. И всё смотрю на неё и не могу отделаться от мысли, что подписи, действительно не хватает. Вот здесь, в левом углу. Перерисовал я подпись с обратной стороны, а как-то кисть не поднимается на лицевую перенести. Будто я не восстановить справедливость собрался, а что-то украсть. Всё-таки собрался с духом, да и вывел. Не отличить. Только вот не пойму, чего осталось больше — стыда перед автором или жалости, уж год почти из дома не выходит, и никогда, скорее всего, он эту подделанную подпись на своей работе не увидит. И будет висеть картина, и никто знать не будет, что подделка, что это была чужая, хотя и сочувственная рука...

Я ничего не ответил, не знаю, что важнее — законченность композиции или сопереживание? Скажу я вам, писать по чёрному грунту непросто. Особенно дни светлой осени. А я уж по белому и разучился. По чёрному вылезает какие-то тёмные пятнышки. Зато сами собой образуются тёмные обводки, прямо как у Ван Гога.

Старость — изысканный паразит,
Как зелёная омела.
А дерево — умирает.

ОСЕНЬ КАК ИСКУССТВО

Осень, с её светом, тёплым цветом, нет, с богатой мозаикой цвета, её холодом, как время, специально выделенное природой для адаптации к морозу зимы, она вполне вписывается в открытие Иосифа Бродского, который на основе изучения Венеции, то как чайного сервиза, то как водяного существа, лишь ненадолго вышедшего в атмосферу, заключил, что искусство есть избыток того, что не может вместить ни душа, ни глаз, ни мозг. Избыточность, сливки красоты и приводят к идее выражения её в других терминах, в упаковке всего многообразия в один стих, одну картину, один снимок, одну любовь. Только вот объём сливок определяется ещё и объёмом души. Парадокс в том, что, этот избыток всегда неизмеримо больше. Он, вообще, бесконечен. В этой относительной малости реципиента и есть, наверное, его счастье.

Вчера было жёлто, оранжево,
Голубизна. Сегодня лишь
Белое небо. И голые ветки.

Ксенія ТУРКОВА

/ Вашингтон /



* * *

«Привіт, отримала фото?
Це все, що залишилось від нашого дому».
«Дякую, я у безпеці, але тут все ще дивно і незнайомо,
Перетинала кордон пішки, з донькою і нашим собакою,
Він втомився, звісно, а донька плакала».
«Вибач, що ми не відповідали,
Майже два тижні сиділи у підвалі,
Врятувались з-під окупації тільки вчора,
Ще досі лякаюсь, коли мерехтять світильник у кінці коридору».
«В мене все добре, я у Харкові, ну як я його залишу?
Волонтеру, розвозжу по домівках ліки,
А ти як там? Дякую тобі дуже, що пишеш».
«У Києві зараз сонячно, а ще, уявляєш, до нас тут приїхав Боно!
Ну що я тобі розкажучу, ти ж сама про це розповідаєш з вашого
Вашингтону...»
«Ти, головне, про себе дбай,
не знаю навіть, як ти витримуєш читати усі наші новини...»
«Вибач, не можу передзвонити. Мій хлопець загинув».

ОДА УКРАЇНСЬКІЙ КАВІ

Як же я скучила за тобою —
Терпкою, темною, запашною,
За твоєю ранковою ворожбою,
За твоєю посмішкою на денці.

Знаєш, тут, де я зараз,
Ти зовсім інша
Тебе п'ють з високих келихів паперових

Однакових
Або з пластикових, різнокольорових —
Все рівно ти не потрапляєш у серце.

Тебе ковтають біжучи,
Без роздумів, обпікаючись випадково,
За тобою не спілкуються —
Ні, це не принципово,
Просто не чують в тобі
Мелодичних терцій.

Вибач мені, будь ласка, і я теж тут так роблю,
Просто тому, що не знаю,
Коли я тебе побачу.

Ти знаєш, я завжди п'ю без молока, цукру,
Нічого не додаю, звичайно,
Але коли зустрінемося, негайно
Додам солоного присмаку,
Бо заплачу.

* * *

Коли після довгої подорожі зовсім не буде сил,
Ти відчуєш їх знову, звісно,
Десь біля Теннессі.
Почуєш, ніби повітря дзвенить та змінює ритм,
І навіть твоє дихання потрапити хоче у біт.
Спочатку не зрозумієш, що відбувається, в чому сіль?
Ти щойно проїхав стільки спокійних миль,
Від спеки та втоми майже не засинав,
А зараз співаєш Can't help falling in love.
Ніби розкачує хтось твій легкий корабель
Під звуки й вібрації Heartbreak hotel.
Немає ніякого сенсу втікати від цих спокус,
Коли звідусюди чується Blue Suede Shoes.
Так що звірся ретельно з наказом дорожніх мап
Та готуйся, готуйся, готуйся до All shook up!
Одного разу ввечері десь біля Теннессі
Ти почувеш раптово музику звідусіль
І здивуєшся: хто цей створює ореол?
Це все Елвіс, детка!
І він каже:
«Shake.
Rattle.
And roll!»

Виталий АМУРСКИЙ

/ Париж /



БРОДСКИЙ, КОТОРОГО Я НЕ ЗНАЛ

31 год назад Иосиф Бродский написал стихотворение «На независимость Украины». Нигде при жизни его оно не публиковалось. Не вошло ни в один из его сборников. Не фигурирует даже в самом полном на сегодняшний день его Собрании сочинений («Сочинения Иосифа Бродского», Тома I–VII, Общая редакция: Я.А.Гордин, составители В.П.Голышев, Е.Н.Касаткина, В.А.Куллэ. Пушкинский Фонд, СПб, 1997–2001). Бродский первый раз прочитал его на публике 30 октября 1992 года в еврейском центре в Пало-Альто, Калифорния, в присутствии почти тысячи человек, предварив чтение словами: «Нечто рискованное, но, тем не менее, я это прочту». Второй раз — 28 февраля 1994 года в Куинз-колледже в Нью-Йорке. Выплыло оно из забвения вскоре после российской аннексии в 2014-м году Крыма, разумеется, став аргументом в защиту путинской операции, и вспомнилось сторонниками «Русского мира» относительно недавно, в связи с началом полномасштабной войны РФ против Украины. Понять ликование их, получивших как бы духовную поддержку в лице крупнейшего поэта России последних десятилетий, лауреата Нобелевской премии, действительно, можно. Достаточно прочитать этот едкий, необыкновенно злой по отношению к украинцам, текст.

Дорогой Карл Двенадцатый, сражение под Полтавой,
слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,
«время покажет кузькину мать», руины,
кости посмертной радости с привкусом Украины.

То не зелено-квитный, траченный изотопом,
— жовто-блакитный реет над Конотопом,
скроенный из холста: знать, припасла Канада —
даром, что без креста: но хохлам не надо.

Гой ты, рушник-карбованец, семечки в потной жмене!
Не нам, кацапам, их обвинять в измене.
Сами под образами семьдесят лет в Рязани
с залитыми глазами жили, как при Тарзане.

Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:
скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.
Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире,
по адресу на три буквы на все четыре

стороны. Пусть теперь в мазанке хором Гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.
Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в щаче,
а курицу из борща грызть в одиночку слаще?

Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.
Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит,
брезгую гордо нами, как скорый, битком набитый
отвернутыми углами и вековой обидой.

Не поминайте лихом! Вашего неба, хлеба
нам — подавись мы жмыхом и потолком — не треба.
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.
Кончилась, знать, любовь, коли была промежду.

Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом!
Вас родила земля: грунт, чернозем с подзолом.
Полно качать права, шить нам одно, другое.
Эта земля не дает вам, кавунам, покоя.

Ой-да левада-степь, краля, баштан, вареник.
Больше, поди, теряли: больше людей, чем денег.
Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза,
Нет на нее указа ждать до другого раза.

С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.

Боже, чего же тут только нет — и «кузькина мать» (явная отсылка к памяти Хрущёва), и желто-блакитный флаг, припасённый Канадой (где, как в США и Австралии, особо сильная украинская община, видимо, не столь приятная поэту), и Гансы с ляхами, ставящие украинцев на «четыре кости», и желание плюнуть в Днепр, и «брехня Тараса»... Что ни строка — то презрение к украинской культуре, быту, прошлому. Презрение без иронии, что делает его особо неприятным, занижая вместе с тем интеллектуальный уровень культуры самого автора.

Может быть, хотя что-то положительное? Перечитываю и, увы, не нахожу ничего.

Откуда, почему вдруг вырвался этот поток ненависти ко всему украинскому? Кажется, никакого отношения к Ленинграду, где он родился и вырос, украинцы не имели. Хрущёв? Ну, Хрущёва он мог бы (и должен был бы) помянуть всё же благодарностью — за оттепель, прежде всего. Мог бы посмеяться над ним, кукурузником. Мог бы ухмыльнуться, зная, как Никита плясал перед пьяным Сталиным. Об этом ходили анекдоты, и это было правдой. Но — украинцы вообще? Украина? Они перед деспотом не танцевали. Они знали и помнили голодомор. Они помнили окровавленные шашки красной конницы.

В Одессе перед памятником Пушкину (имея в виду стихотворение, написанное там, на украинской земле в 1969-м или в 1970-м году) Бродский стоял, очевидно, без подобных мыслей и ощущений. Более того, там, на «нежном юге», где «сердце сбрасывало прежде выюк», он словно шептал:

Нет в нашем грустном языке строки
отчаянней и больше вопреки
себе написанной, и после от руки
сто лет копируемой. Так набегают на
пляж в Ланжероне за волной волна,
земле верна.

Так что же случилось, если прежде там сердце сбрасывало груз (тюк), а теперь (два десятилетия спустя после этого) стало вдруг ему всё отвратительно (ибо Одесса, сколь не исключительная во всём — в частности, в смешанном языковом колорите, — всё же осталась частью Украины)?

Я читал и слышал, что в данном случае в Бродском проснулся всегда сохранявшийся в нём дух принадлежности к Империи. Через Санкт-Петербург, через те внешние черты родного города, который он всегда любил. По большому счёту, это вполне возможно. Пушкин, несмотря на то, что жил и рос вне той свободы, к которой он стремился, тоже оставался приверженцем держащей его крепко за полы сюртука и за горло Империи, и его строки, обращённые, скажем, к Мицкевичу, прекрасный тому пример. Тем не менее, даже оставаясь имперцем, совсем не обязательно обливать грязью кого-то, а тем более, целый народ!

Увы, самого Бродского сейчас о том, почему он написал своё омерзительное «На независимость Украины», не спросишь. Можно лишь выстраивать какие-то версии, догадки, без уверенности, что та или иная из них верна.

Предполагаю, импульсом к данному сочинению явилось то, что при провозглашении независимости Украина оторвалась от России, не пошла далее с нею в одной упряжке. А 1991-й год для

России был годом подлинного прорыва (или даже отрыва) из советской реальности, — годом, когда, казалось бы, впереди — свобода, демократия!.. Отказываясь же от подобной перспективы, Украина как бы показывала, что предпочитает нечто иное, и это «иное» представлялось поэту как архаика. А ведь, впрямь, именно украинскую архаику клеймит он в своих строках! Перегибая, передергивая! Однако (вот чутьё!) одновременно подсознательно чувствуя, что что-то не совсем так — иначе, зачем было ему говорить о том, что он прочтёт «нечто рикованное»...

Рискованное, кстати, в каком смысле? В смысле грубости или неочевидности правильности своего осуждения чужой (вернее, чуждой ему) культуры? Однако попутно задел он в этом стихотворении и немцев с поляками («Гансов с ляхами»). Про его отношение к первым — судить не берусь, но поляки-то были всегда близки ему, дружба с Чеславом Милошем являла тому пример яркий. Под словами «близки ему» я имею ввиду и его переводы на русский стихов Галчинского, Норвида, того же Милоша.

Так, может быть, говоря о «риске», Бродский думал вовсе не о том, насколько жёсток он в оценке всего украинского, а о том, как воспримут это тот же Милош или другой их общий друг, литовец Томас Венцлова? Вряд ли кто-либо из них выразил бы согласие со столь антиукраинской, к тому же ничем не оправданной, позицией!

Не сомневаюсь, что сегодня, когда, оставшись обломком канувшей империи, путинская страна совершила и совершает преступление против Украины, и среди первых, кто выразил глубокую солидарность с нею, оказались именно связанные общими историческими корнями поляки и литовцы, ничего подобного написать он не мог бы. Написанное же давно, к сожалению, топором не вырубись.

И видеозапись, где Бродский как-то особо озлоблен, не убедит. Это, увы, та тень, которая будет следовать за ним вечно.

Я любил и люблю поэзию Бродского, но, конечно, не этого.

Этого — антиукраинского — я прежде вообще не знал. Пропустил. Судьба миловала.

И так оно, конечно, лучше.

А всё-таки написалось:

Ком грязи в страну Незалежную бросив,
За что и зачем — разобраться б...
Но главное всё же, — печально, Иосиф,
Что братство вы спутали с рабством.

Надежд не бывало в имперских просторах,
И стоило ль, право, стараться,
Забыв про шпицрутены и про остроги,
Порочить потомков Тараса.

24 августа 2022

Дмитрий БЛИЗНЮК

/ Харьков /



* * *

бомбоубежище.
сидим тихо, точно кроты в рыхлых кишках земли.
напуганные выблядки.
мерцают грязные детские лица,
пока пьяный сумасшедший отчим
лупит чугунными кулаками по стенам.
крушит мебель,
мычит и ухаает, как филин.
вылезайте!

* * *

громадный аквариум на кухне друзей.
рыбины грациозно мягко плавно
плывут
практически шагают плавниками на месте —
подводной лунной походкой Майкла
чуть вперед и чуть назад
это завораживает а там за окном война
безглазый червь
хватает черным ртом
снежинки людей.

СОРОКОНОЖКИ УБИЙЦ

Господи забери бессмертие оставь нам
холодный погреб для яблок.
забери
души все свои игрушки только оставь нас в живых
неАдама неЕву и не твоего моего
маленького сына.

сырая пещера в подвале с дощатым полом.
земля обетованная.
но нам нужен бетон.
запах кошек матрацы куча засаленных одеял.
а город живой и в него втыкают
снаряды как иглы. безумный портной шьет
уродливую безрукавку безголовку.
но здесь люди.
не манекены

будущее — дверь из мутно белого оргстекла
цвета неотшлифованных алмазов.
дверь плавно отодвигается от тебя каждую минуту.
каждый вдох выдох.
иногда быстрее иногда медленнее если ей любопытно.
это в мирное время но во время войны
будущее просто отпрыгивает в сторону
как кузнечик или лягушка.
секунда и больше нет ничего впереди
пропасть пульсирует пустота
сбитая из ехидных квадратиков-пикселей
в игре маньяка.

в мирное время эпоха размеренно медленно
слизывает нас
точно мороженое а сейчас
кремлевский вонан сумасшедший варан
грызет нас.
нашу землю пропитанную кровью.
усыпанную кусками бетона щебня.
истекает ядовитой слюной.
ракетный бал смерти.
так чернобурка пробивает снежный наст в прыжке
ныряет в снег
чтобы схватить полевку. соседку валю.
идет охота на людей.
российские убийцы подсвечены
мерцающей слизью больных идей.
я их вижу за десятки сотни километров.

мысли прыгают будто камни по толстому льду.
дыхание превращается в белые водоросли.
держимся за руки.
черно-синяя пустота голодная ночь

исполинская пума обнюхивает балконы.
блестят белки глаз. есть кто живой?
вырваны с корнями стены.
деревья скручены по спирали.
оборванные каменные лестницы как недописанные поэмы.
тело на асфальте — черно-красный спальный мешок:
разве это человек?
тьма прыгнула на.
зверь шума и пыли.
в этом мире тотальной смерти
нет любви сострадания добра. нет места
для тебя и меня.
но не утопить в крови
море море свободных людей.
сороконожкам убийц на механических коленях
не забрать нашу землю.

* * *

ватерлиния безумия.
жизнь до войны и после начала войны :
красивая женщина
с длинными черными волосами до пят
и правая половина ее волос сострижена,
часть скальпа содрана,
и половина черепа выпилена,
и на нежно розовой половинке обнаженного мозга
кто-то тушит снаряды как окурки.
а женщина что удивительно
поет сопрано,
прекрасную печальную песню про свободу.
про любовь и силу и синее небо.
и пшеничное поле в черных ожогах.

* * *

ночью детям в подвалах снится
мирное пушистое время
так нарисованной колибри снится сахарная вода
а на город несутся калибры
запущенные
из черного
чернейшего
моря

* * *

я все видел.
печальный ангел-хранитель,
обвисшие крылья покрыты бетонной пылью,
сидел на обгоревших камнях в сожженном доме.
вся семья погибла быстро
будто отсосали зародыши.
точно не было никого.
теперь ангелу нужно встать и идти по осколкам
утиными лапками хрусть трясать,
искать новых людей для защиты.
однажды вечером сюда придут
огненно-оранжевые чуткие лоси заката
на солончак горя,
и будут жевать лизать вкусную землю,
где нас уже нет.

* * *

шум дождя за окном —
скрипка завернутая в мокрое полотенце.
наш дом
слон который спит стоя покачиваясь.
дождь прошел но душа не земля.
душа сморщена
точно кожа на локте.
солнечный свет прорастает сквозь яблоню —
лимонадное дерево.
пьем золотистые ветки плоды
глотаем свежесть
зыбь ветра — зеркально-водяные розы в лужах.
Микеланджело мгновений
простых и недолговечных.
самый хрупкий мрамор в мире.
и твое впечатление
останется для вечности.
останется?

жена складывает зимние вещи в шкаф
спрашиваешь себя — наденешь их снова однажды?
или нужно прощаться с временами года.
с зимним пуховиком
и шерстяной кофтой навсегда.
эти вещи помнят войну впитали ужас
как волосы запах сигарет.
они никогда ее не забудут.
необратимость разрушенного мира.

Людмила ЗАГОРУЙКО

/ Широкий Луг, Украина /



НЕПОМЕРНО ТЯЖКИЙ ГРУЗ

Он, она и поэзия

Она ушла в день его похорон. Тихо и незаметно, как и жила. Случилось это в крошечной городской квартире. Первом и последнем их с матерью пристанище по приезду в страну. Два тела. Одно — в Париже. Другое — в Стокгольме.

Есть ли связь между фактом кончины женщины и мужчины, живущих в разных странах? Несомненно. За рамками бытового контекста, невидимая. Возможно, подсказала интуиция: одна, рядом никого. Окружавшая пустота перестала излучать лёгкое живое тепло. Оно приходило оттуда, из окна, с той стороны света, где был он. Стало холодно, будто зима, мороз, вьюга. Ушло естественное для человека желание согреться. Поняла, что безмерно устала. Даже если случайное совпадение, в нем доля мистики присутствует. Жизнь конкурирует с литературой. У неё сюжеты — дух захватывает. Нематериальный гений мистификаций, жизнь наша.

Его конец драматичен, хотя неожиданным назвать нельзя. Сознательно шёл к самоуничтожению. Перечеркнуть себя. Бросить вызов-протест создателю. Хочу быть среди своих. Должен. Подобно Иову вопрошаю к тебе бесконечно: как допустил? В чем согрешили мы, всевышний? Нет ответа, нет утешения.

Бросился с моста Мирабо, не дотянулся до альтернативной планки, за которой спасение в обыденности существования. Но ведь есть сын, семья, в конце концов, память способна отдалять прошлое. Эффект перевернутого бинокля очень бы кстати, многим помогает. Можно пригвоздить себя к письменному столу, окунуться в работу, в ней утешение и спасение.

Боль наваливалась беспощадно. Становился бестелесен, уходил вес, объём, оставались контуры. Уже не он. Карандашная, обрисованная выкройка, чёрная тень, выжженная напалмом.

Непомерно тяжкий груз, как крышка гроба, на груди живого человека.

Близкие люди

Нобелевский лауреат по литературе Нелли Закс и поэт Пауль Целан виделись дважды: в Цюрихе и Париже. Она старше почти на три десятилетия. Огромная дистанция между людьми. Принадлежность к разным поколениям — весьма существенная причина, чтобы остаться равнодушными друг к другу. Вопреки существенным «но» эти люди ещё до знакомства поняли, что слеплены из одного теста. Нашлись в стихах — и сразу стало ясно. Схожесть личных историй придавала особый акцент отношениям. Их письма полны нежности и понимания.

Родители Пауля Целана погибли в концлагерях. Фашисты разграбили и отобрали у Нелли Закс дом. Чудом избежала уготованной участи. Вероятно, господь уберег. Она — апокриф, исключение. Острое для обоих ощущение сиротства. Он и она знали, что такое палата в психиатрической клинике. Оба трепетно относились к языку. Это — мистическая, трансцендентная субстанция, способная организовывать и изменять действительность, голос, преодолевающий молчание, но он одновременно и язык убийц. Для обоих поэзия за пределами жизни, бестелесна и каменно тяжела. В ней холодно и страшно. В огне ассоциаций и ветхозаветных аллюзий корчатся горящие символы из строк.

Пауль Целан

Черное молоко рассвета мы пьем его вечерами
мы пьем его в полдень и утром мы пьем его ночью
пьем и пьем
мы роем могилу в воздушном пространстве там тесно
не будет.

Это перевод замечательной Ольги Седаковой. Продолжу переводом Миколи Бажана, не менее прекрасным и тонким.

Один чоловік живе в хаті він зі зміями грає він пише
він пише коли темніє в Німеччині твоя золотиста
коса Маргарито
твоя попеляста коса Суламиф ми копаєм могилу в повітрі
де буде лежати не тісно
Він гукає глибше рийте землю ви перші ви другі
співайте і грайте
він хапається заліза в кобурі він хитається
очі в нього блакитні
глибше лопатами рийте ви перші ви другі
Грайте далі до танцю...

«Фуга смерти». Одно из самых пронзительных стихотворений поэта. Ни слова о войне: траурный рассвет, ночь, день, бесконечность приглушенного ритма, что ирреальное, немислимое, невозможное — через метафизическую пелену варварского действия. Разорванная строка, голубые глаза палача, косы Маргариты и Суламифь (поэтические символы немецкого и еврейского народов). Музыка. Над небесными могилами рыдают скрипки.

Фуга — главный полифонический жанр эпохи барокко. Одна и та же тема на разные голоса, возвращается, ширится, изменяется. Тема не отпускает, стучит в голове в унисон шагам.

Да, удивительно музыкальная нация. Фюрер своих солдат масово принуждал Вагнера слушать. Для крепости и закалки национального духа. Сам фанател и нацистскую паству приобщал. С фронта — прямо в концертный зал, мужайтесь, братья.

Пауля Целана, нам, украинцам, открыли фестиваль в Черновцах, Петро Рихло и многие другие, реанимировавшие потерянных среди геополитических катаклизмов немецкоязычных литераторов Буковины. Лично знаю человека, сменившего профессию после знакомства со стихами Пауля Целана. В Киеве живет. Был дипломированным строителем, стал переводчиком. Постоянный участник того самого Черновицкого фестиваля, на который съезжаются немцы, австрийцы, украинцы.

Нелли Закс

Нелли Закс не популярный литератор. Знают о ней немногие. Трудная судьба, трудные стихи. В них много отчаянья, страха, боли. Время другое. Сытое. Для нас еще донедавна. Жизнь снова за пасьянсы принялась. Никто не верил. Оно, вечное зло, взъерепенилось — и шарах! 24 февраля. В четыре утра. Без Вагнера. На тройке пропаганды с бубенцами прилетело.

Нелли Закс родилась в семье фабриканта. Квартира в центре Берлина, поместье, ручная лань в ухоженном, модно спланированном парке. Единственный ребёнок. Нежная, застенчивая девочка. Хочешь звезду? Получай! Девочка пишет романтические стихи. Отец издает произведения дочери небольшими тиражами. Почетное поручение и исполнение родительского долга. В семье — поэт. И это серьезно. Порой стихи печатают в немецких журналах. Неплохо, но только и всего. Ничего выдающегося. Одна из...

Первый удар, предвестник грядущих катастроф, — смерть отца. Второй — явились в дом, перевернули все, велели убираться. Имущество их с матерью отныне принадлежит рейху.

В Швецию выехали в последний момент и чудом. Отдельная необыкновенная история. Пропустим, чтобы от главного не отвлекла, хотя замечательная совершенно.

Все заново. А что она умеет? Две испуганные женщины в Стокгольме.

Сегодня нам понятен холодный ужас неприкаянной бесприютности. Потому что близко, очень близко. Память — ластик, потом поколений череда и забыто. Почему повторяется? Не должно. Есть опыт. Увы, каждое поколение опирается только на свой. Из века в век. Мы победили фашизм. Мы и они. Вместе. Никогда больше, а дальше через годы — болезненные судороги из слов-оборотней.

В семье Заксов считали, что в силу образования, воспитания и мировоззрения — они ассимилированы в немецкую культуру, то есть стали ее частью. Фашизм ясно указал, где их место. Война перевернула жизнь. Нелли обращается к иудаизму, иудейской мистике, Ветхому завету, увлекается Каббалой, ибо в чем-то надо черпать силы и не только. В конце концов, по природе своей она еврейка, значит, ей туда, к истокам.

Тогда, в Германии, паралич слов. Задышалась без них. Во время допросов в гестапо (и через это прошла) Нелли Закс потеряла голос. Она утверждала, что речь оставила ее, бежала к рыбам. Рыба — символ страданий Христа. Немота, как результат стресса, тоже оттуда. Слова вернулись здесь, в другой стране.

В Швеции поэтесса лихорадочно пишет. Переводит поэтов этой страны на немецкий язык и наоборот. Работает и над своими текстами. Постепенно в ее творчество входит тематика, принеся ей мировую славу. Произведения о холокосте, истреблении евреев в концлагерях. Книга стихов «В жилище смерти» (1946). «Затмение звезд» (1949), «И никто не знает, как быть дальше» (1957), «Бегство и превращение» (1959). Критики называют ее стихи религиозными апокалиптическими гимнами. Ещё поэзией немого вопля, катастрофы. В них жизнь приравнивается к смерти и наоборот.

Поэзия Нелли Закс — хасидские предания, немецкие легенды, притчи Нахмана из Брацлава, библейские мотивы и каббалистические символы в сплетениях с образами современности. Только подготовленным открывается ее многогранный смысл.

Невозвращение

В Германию Нелли Закс не вернётся. Не сможет. Хотя повод посетить родную страну был. После войны немцы отметили премиями, пригласили на мероприятие. Приехала буквально на несколько часов. Ночевала в другой стране. Не потому что боялась, потому что спокойней. Выступая, обратилась к бывшим соотечественникам со словами веры в обновление нации. О жертвах должно помнить всегда, чтобы не допустить расчеловечивания, обычное явление на войне, причём с обеих сторон. Ненависть разрушает. Насильника, убийцу любить невозможно, ибо послан разрушать. Увидеть в нем себе подобного трудно. Войны недопустимы. У Нелли Закс хватило

сил призвать к обновлению нации, вопреки собственной беспомощности, зыбкости жизни и страданиям. Потому что у неё ручные лани из слов. Она их приручила.

Пропагандистские асы трудятся упорно. Ткут полотно из ненависти, чтобы опутать им земной шар. Легкомысленная бравада можем повторить. Наверное, так звучит, если свести к минимуму лавинообразную риторику, льющуюся с экранов телевизоров. Месседж весело пошёл по рукам, закрепился, вырос.

Народы Земли,
не разрушайте вселенную слов,
не рассекайте ножами ненависти
звук, рожденный вместе с дыханием!

.....

Народы Земли,
оставьте слова у их истока,
ибо это они возвращают
горизонты истинному небу
и, своей изнанкой, прикрывая зевок ночи,
помогают рождаться звездам.

Поэзия после Освенцима и войны

Один немецкий философ сказал: после Освенцима поэзия невозможна. Один поэт возразил: творчество дает силы выжить.

В стихах Нелли Закс нет ненависти к палачам, как, впрочем, проклятий и призывов к мести. Ее герои жертвы.

О ночь плачущих детей!
Ночь клейменных смертью детей!
Нет больше доступа сну.
Жуткие няньки
Матерей заменили.
Смертью стращают их вытянутые руки,
Сеют смерть в стенах и в балках.
Всюду шевелятся выводки в гнездах ужаса,
Страх сосут малыши вместо материнского молока.

Вчера еще мать навлекала
Белым месяцем сон,
Кукла с румянцем, потускневшим от поцелуев,
В одной руке,
Набивной зверек, любимый
И от этого живой
В другой руке —
Сегодня только ветер смерти
Надувает рубашки над волосами,
Которых больше никто не причешет.

О языке и родине

Нелли Закс больше не немецкий традиционный поэт. Все изменилось. Ворота закрыты на замок. Война помогла обрести духовную родину. Для нас, сегодняшних, запуганных и встревоженных, опыт одного человека, маленькой хрупкой женщины, внешне чем-то напоминающей Эдит Пиаф, бесценен.

Мантия — боль заката
в которой темная душа дрозда
оплакивает ночь —
маленькие ветерки над зыбкими травами вея
развалины света угашая
и умирание сея...

Немецко-еврейская поэтесса

Мудрые евреи придумали термин: израильская литература на не еврейских языках. Вот бы нам, украинцам, так поумнеть. Осмыслить — не значит предать. В этом тонкость.

Когда ей с Самуилом Агноном (Нобелевскую премию по литературе в 1966 году разделили два поэта) предоставили слово, Нелли Закс сказала: «Агنون представляет государство Израиль, а я — трагедию еврейского народа». Можно расширить рамки — человечества.

Очень важная для поэтессы фраза. Агنون, выходец из той же, благодатной Буковины, обрёл родину в Израиле. Нелли Закс говорила, что на земле нет места, где бы она чувствовала себя дома. Горькое признание. Ее отчизной стал язык. Немецкий. Язык агрессора и ее собственный.

Теперь о человеке, обыкновенном человеке Нелли Закс, из крови и плоти, болезненном, с надломленной психикой, живущей неуютно, на обломках собственной судьбы. Ты не можешь приехать в Германию, потому что видел и пережил, был изгнан, чудом выскользнул. Твой немецкий больше не может быть для тебя родиной и тем не менее он ею является. «Крик» есть у Мунка, «Герника» у Пикассо. Музыка в звуках передаёт отчаяние народов. У поэта слово. Живешь в Швеции, переводишь с близкого на немецкий и наоборот. Любовь и неприятие одновременно. Расплата за ассимиляцию, принадлежность к чужой культуре? Позднее осознание своего еврейства, которое, впрочем, и позволило ей состояться как большому поэту?

Вы, созерцающие,
у кого на глазах убивали.
Как чувствуешь взгляд спиной,
так чувствуете вы всем вашим телом
взгляды мертвых.

Она отошла в мир иной в день его похорон. Это случилось в Стокгольме. Маленькая старая женщина, писавшая пейзажи из криков. Как, впрочем, и он, Пауль Целан. Шел 1970 год. Один английский поэт и критик (имя не привожу, все равно известно только специалистам) писал: «Её поэзия учит знать то, что мы обязаны знать о нашей истории, прежде всего, — кошмар и возрождение».

Читаю стихи Нелли Закс и Пауля Целана. Сегодня, сейчас мою Родину уничтожает враг. Мне страшно, больно, тяжело.

Высокая поэзия рождает острую эмоцию. Знаю, что каждая строка у Нелли Закс пропитана иудейской символикой, а значит, полутона и многие смыслы широкому читателю недоступны, тем не менее, стихи поразительны. Мало того, они нам созвучны. В нашей стране гибнут дети. Мой родной язык — оружие агрессора. Бесконечно думаю и сомневаюсь. Возможно, когда-нибудь в будущем мы позаимствуем термин «украинская литература на не украинском языке», и тогда моей боли и мысли найдется место.



Юлія ШЕКЕТ

/ Київ /

Із Єжі Фіцовського

ПОМІЖ ЗЕЛЕНИМ І ЗЕЛЕНИМ

* * *

(w ströme wieczory zasypiania...)

в стрімкому вирі засинання
під тими дверима
що з кімнати батьків
дитячий кошмар перекреслює
золотом скісна риска

давно вони згасли
батьки та кімната
вибух і сну вже немає
сама розвіяна хмара

забрати з дому вдалося
тільки той золотий місточок
по якому піду собі часом
неплинним
із темряви в темінь

ПІСЕНЬКА ПРО ПРИВ'ЯЗАНІСТЬ

(Piosenka o przywiązaniu)

Захід тоне. День тоне.
Ген іржавіє ліс хвостатий.
Красвид осипається, сипле луска.
Все — осипання.
Все — осипання.

Руде останне! Тут зостатись,
перехопитись об коріння.
То плутанина західного лиса в глиці.
Все — на прощання.
Все — на прощання.

Та в темряві безлистій, бездоріжній
я — в чорній учті за зникимим світом —
так випалю його в уяві, закарбую,
Що знов постане.
Знов постане.

РИБА НА ПИСКУ

(Ryba na piasku)

З води, що розступилася
покірно,
на берег витягнена
риба ледве дише,
запалює і тлумить
рожеві зябра,
і встромлена у мене
срібна шпичка ока.

Заріжемо її
ножем мовчання.

Нехай не будить нас
у вітті ночі
виттям нечемним.

* * *

(babie lato prababie lato...)

бабине літо прабабине літо
небо фарбу збирає
відбілює льон
світ іще мовить те слово
слава Богу
жовте золото соняхів
розпорошує джміль
а вітер то
відволікання
павутинок

ЖИТТЯ

(Życie)

Аж ось рослини
вже квітнуть
Потім ми
А далі ще вони

Прийшли сюди
ми на хвилинку
А квіти — старші
І омана нам не юність
а плинність квітів

Нерухома зелень
випереджає нашу
червону кров

Якщо зустрінемось
то тут
тепер
поміж зеленим
і зеленим

Михаил ОКУНЬ

/ Аален /



СЕКЦИЯ ПОЭЗИИ

Что поэту хорошо, то филологу смерть

* * *

И в сердце растрava.
И дождик с утра.
Откуда бы, право,
Такая хандра?

О дождик желанный,
Твой шорох — предлог
Душе бесталанной
Всплакнуть под шумок.

Откуда ж кручина
И сердца вдовство?
Хандра без причины
И ни от чего.

Хандра ниоткуда,
Но та и хандра,
Когда не от худа
И не от добра.

Это известный перевод Пастернака стихотворения Верлена. Стихотворение это переводили неоднократно (Брюсов, Ф. Сологуб, Гелескул и др.), но Пастернак, очевидно, не стал ломать голову над подстрочным переводом («Плачется в моем сердце, / Как дождь идет над городом. / Что это за томление...» и т.д., М. Варденг), а просто написал собственное стихотворение на тему, и вышло прекрасно.

Недавно в фейсбуке редактора толстого московского журнала этот перевод обсуждался. Одна дама привела доводы, что во второй строке последнего четверостишия имеется явная опечатка, которая всегда всегда казалась ей полной бессмыслицей. А недавно благодаря одной из первых публикаций обнаружен правильный вариант: «На то и хандра...»

Спорить я не стал (там народ всё филологический, ученый), но для меня в этом варианте стихотворение теряет очень многое. Ведь именно так: «Но та и хандра, / Когда не от худа / И не от добра». Что и находит свои резоны в предыдущей строфе — «Хандра без причины / И ни от чего...»

Если у Пастернака и было «На то и хандра...», а позже он ушел от этого варианта, то сделал это абсолютно правильно. Что поэту хорошо, то филологу смерть.

«Важнейшее отличие»

Совершенно комические утверждения встречаешь в статьях новых критиков (они же и поэты, как нынче водится). Тут даже что-либо и комментировать затруднительно:

«Важнейшее отличие силлабо-тоники от верлибра в том, что она гораздо дальше отстоит от естественного, обыденного языка. Никто не говорит в рифму и соблюдая размер в обычной жизни. Традиционная поэтика — маркер того, что всё происходящее в произведении ненастоящее, что автор отделён от лирического героя, что созданный мир — простая игра разума (даже если сам автор считает иначе)». (Из статьи с сайта «Современная литература», 16.11.2021).

Следуя этой логике, пиши, в конце концов, прозу, на верлибрические столбики не порубленную, — будешь еще ближе к «естественному, обыденному языку». А лучше не пиши ничего, а зайди в разливуху и прими грамм 300 — вот тогда и окунешься с головой в «обычную жизнь», хлебнешь «настоящего».

Бетономешалка

Краем глаза, без каких-либо побудительных мотивов наблюдаю за движениями в «актуальной поэзии». Всё же, без постоянной накачки «выступления-статьи-интервью», а по новому времени также ЗУМы, в этом цеху быть не может. Это как машина для доставки бетона на стройку — цистерна должна постоянно вращаться, иначе содержимое окаменеет и станет непригодным к употреблению.

Стихотворная правка

У меня хранятся пожелтевшие машинописные страницы моих старых стихов с карандашными пометками поэтов, из жизни ушедших. Вот их варианты строк, вопросительные и восклицательные знаки, предлагаемые эпитеты... Стихотворная правка.

Всегда хотелось, чтобы ее, кроме восклицательных знаков, было поменьше. Соглашался ли со всеми поправками? — нет, конечно. Но и позиции «ни запятой моей не тронь» не было. Зато бывали и озарения — как же я сам этого не увидел? Ведь именно так гораздо лучше!

Нынче, думаю, стихотворная правка ушла в прошлое. Ну, действительно, до каких таких более точных, единственных слов можно докапываться в длиннющих столбиках, занудно излагающих какой-нибудь жизненный казус? Что тут править? Зачем?

Нет, не останется у них пожелтевших страниц с пометками давно ушедших поэтов...

«Ну разве это поэт?»

«Между нами говоря, я не понимаю, что о Лермонтове так много говорят, в сущности, он был препустой малый, плохой офицер и поэт неважный. В то время мы все писали такие стихи. Я жил с Лермонтовым в одной квартире, я видел не раз, как он писал. Сидит, сидит, изгрызет множество перьев, ломает карандашей и напишет несколько строк. Ну разве это поэт?» (цит. по: В. Михайлов. «Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей»).

Это Александр Арнольди, сослуживец Лермонтова по Гродненскому лейб-гусарскому полку, пишет через 40 лет после смерти поэта в своих воспоминаниях, будучи уже стариком, отставным генералом. И ведь, похоже, действительно так думал. И перьев не изгрызали, и карандашей не ломали...

О поэтических прозрениях

В брошюре «Молодым поэтам», изданной небольшим тиражом в 1981 г., Е. Долматовский приводит отрывок из стихотворения Блока «Моей матери», написанного 4 декабря 1904 г. (стихотворений с таким названием Блок написал несколько — но дата важна не только по этой причине):

...Мы провидели светлые цели
В отдаленных краях лабиринта.
Нам казалось — мы кратко блуждали,
Нет, мы прожили долгие жизни,
Возвратились — и нас не узнали
И не встретили в милой отчизне.
И никто не спросил о Планете,
Где мы близились к юности вечной...

Долматовский вспоминает, что академик М. Пасечник увидел в этом стихотворении «поэтическое изложение теории относительности, открытой и сформулированной Эйнштейном лишь через год после Блока».

Действительно, внимательный читатель может усмотреть в этих строках одно из следствий теории: время для человека, движущегося со скоростью света — например, на межпланетном корабле, — течет «медленнее», поэтому возвратившиеся на Землю космонавты будут выглядеть моложе своих одногодков. А работа Эйнштейна «К электродинамике движущихся тел», где были впервые изложены принципы специальной теории относительности, была опубликована в 1905 г.

И далее Долматовский говорит о существовании целого ряда прозрений в мировой поэзии, когда поэты опережали научные открытия. Называет имена Гёте, Верхарна; напоминает, что термин «атомная бомба» впервые ввел А. Белый в 1921 г.

Этот ряд я бы дополнил еще одним примером. Французский поэт Жерар де Нерваль (1808–1855) в одном из сонетов цикла «Христос в Гефсиманском саду» дает поразительные строки (речь в сонете идет о скитаниях во Вселенной в поисках «бессмертного духа»):

Глаза Всевышнего искал я — лишь глаznица,
Дыра бездонная, в которой мрак таится,
Была там: ночь глядит на мир из той дыры.

И странной радугой обвита мгла провала,
Преддверье хаоса, небытия начало,
Спираль, съедающая время и миры.

(Пер. М. Кудинова)

«Дыра бездонная» Нерваля в своем поэтическом описании удивительно сходна с загадочными черными дырами, областями пространства-времени, засасывающими всё вокруг, включая свет. А современная теория астрофизических черных дыр была разработана лишь в XX веке.

«Уходит поезд в Магадан!»

Стихотворение Бориса Рыжего, написанное в 1999 г.:

* * *

В обширном здании вокзала
с полуночи и до утра
гармошка тихая играла:
«та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра».

За бесконечную разлуку,
за невозможное прости,
за искаленную руку,
за чёрт-те что в конце пути —

нечетные играли пальцы,
седую голову трясло.
Круглоголовые китайцы
тащили мимо барахло.

Тургруппы чинно проходили,
несли узбеки арбузы...
Не поимеешь, выходило,
здесь ни монеты, ни слезы.

Зачем же, дурень и бездельник,
играешь неизвестно что?
Живи без курева и денег
в одетом наголо пальто.

Надрывы музыки и слезы
не выноси на первый план —
на юг уходят паровозы.
«Уходит поезд в Магадан!»

Вот картинка, многими десятилетиями бывшая и остающаяся типичной для любого вокзала любого города необъятной страны. Разве что теперь уже не играют, а просто просят милостыню. Умельцы, видать, перевелись.

А я еще помню, как слепой с гармошкой, бродивший по электричкам колпинского «рабочего» направления, неизменно говорил, услышав звон мелочи: «Вот и я, граждане, так же сыпал фашистов из пулемета и автомата, как вы мне теперь сыплете!»

Итак, поэт встретил своего инвалида — с трясущейся седой головой, с искаленной рукой. Но обращается к нему не слишком-то уважительно: «Зачем же, дурень и бездельник, играешь неизвестно что?..» Действительно, зачем?..

Затем, чтобы, увидев эту картину, поэт пропустил бы ее через свое сердце и душу, и посланием оставил нам. Чтобы и мы сопереживали этой «непарадной» судьбе, услышали «надрывы музыки» и увидели слезы, вынесенные «на первый план». Чтобы, наконец, запечатлели упрямое «Уходит поезд в Магадан!»

Упорно вдабливает вокзальный калека детям разных народов, спешащим по своим делам, что есть на Руси такой город, который не вычеркнешь из памяти, какой бы распрекрасной ни сделалась жизнь. И всегда останется в ней место и для «бесконечной разлуки», и для «невозможного прости».

А поэт и пожизненно, и посмертно остается с теми, кого поезд навечно уносит в Магадан. Другого пути он для себя не видел...

Бахыт КЕНЖЕЕВ

/ Нью-Йорк /



НА ЯЗЫКЕ НЕДРУГА

На новой книге «Исходник» Александра Кабанова я бы поставил гриф «+21». Книга мощная и страшная. Книга о предчувствии войны и самой войне. Книга, которую стоило бы проиллюстрировать фрагментами из «Безумной Греты» Брейгеля-старшего. Книга, в том числе, о праведном гневе и жажде мщения. Но это лишь ее первый пласт. Иначе стихи превратились бы в агитационную однодневку, которая через несколько лет (или десятилетий) стала бы представлять разве что исторический интерес.

Как и полагается большому поэту, Кабанов создает свою собственную вселенную. Законы логики в ней едва ли действуют, слова отменяют сами себя, метафоры причудливы и противоречивы. Стихи его, как правило, решительно не поддаются пересказу, поскольку лишены обычного житейского смысла. Эта вселенная пропитана всепоглощающей иронией, которая, как ни странно, не снижает лирического накала, а скорее содействует ему. Может быть потому, что насмешка нередко направлена на самого автора.

Поэзия Кабанова густо замешана на игре. Далекое слова, связанные только похожим звучанием, сводятся друг с другом. Это одна из граней любопытства поэта к окружающему миру. Точно так же сталкиваются реалии разных времен, от советского детства до нынешних невеселых событий. Сталкиваются и культурные пласты: скрытых и явных цитат у Кабанова немеряно. И каким-то волшебным образом из этих столкновений рождаются не столько яркие поэтические искры, сколько натуральный фейерверк, а лучше сказать — звездопад.

Так поэт и путешествует по миру, словно наблюдательный и дотошный пассажир машины времени и пространства.

Война дала ему новый угол зрения.

Замечу, что в РФ быстро появились z-поэты, в рифмованном виде излагающие методички ФСБ, и стишонки их, будучи не многим хуже опусов, скажем, Демьяна Бедного, неизменно ближе к проституции, чем к литературе.

Кабанов, несмотря на «политизированность» своих стихов последних лет, выдержал этот нелегкое испытание.

Одну из своих предыдущих книг он издал под хлестким названием «На языке врага». Вызов очевиден, но педалировать его, полагаю, не стоит: разве не на языке того или иного врага писали Пауль Целан, Генрих Белль, Томас Манн, Мандельштам, Набоков, Джеймс Джойс, да и тот же Гоголь, если угодно?

Вместе с Кабановым я уверен, что в конечном итоге язык принадлежит творцам, а не временщикам.

Редкое слово «исходник» — вроде бы читаемый текст компьютерной программы, однако у Кабанова в нем, разумеется, таится и библейский выход поработанного народа на свободу. Как некогда Ахматова, он мягко укоряет уехавших в «израильское болотное», а сам остается наедине со страшной новой реальностью.

«Один исход — отец и мать, окно в саду, песок и сода,
и я могу его назвать — исходом моего народа,
под слезы от днепровских вод, под вой сирен внутриутробных,
и это будет все — исход моих людей, давно свободных».

Какова же эта новая реальность?

«Я сжимаю в троеперстии круглый ползунок луны —
чуть вдавливаю его в отверстие — передвину в ваши сны,
сквозь винтажное звучание с плесенью, как сыр дроблю,
тишину по умолчанию — до утра установлю».

Изысканно, изобретательно, и неожиданно. Читатель уже готовится, так сказать, получить эстетическое удовольствие, но автор отправляет его в нокаут:

«Лето в буче и в гостомеле, зреют звуки на словах,
чтобы люди мира помнили — это мы лежим во рвах,
до сих пор еще не найдены — вот нога, а вот рука —
дети гришины и надины, безымянные пока».

А вокруг — сады и грядочки совершают свой обряд,
нам кроты поют колядки, нам медведки говорят:
мол, на всех в достатке сырости, здесь — подземный водоем,
говорят, мы скоро вырастем и до свадьбы заживем...»

Мороз по коже. Оказывается, когда поют пушки, музы не обязательно молчат. Мне кажется, что в такие времена писать такие горестные, но никак не людоедские стихи — это истинный подвиг.

КРЕЩАТИК
(Перехрестя)

Международный
литературный
журнал

Дизайн обложки Н. Макаров
Оригинал-макет Б. Марковский

Подписано в печать 21.10.2022
Формат 66x88^{1/16}. Усл.-печ. л. 21,8
Печать офсетная

КНРЕСЧАТЮК #98
П Е Р Е К Х Р Е С Т Я

www.kreschatik.kiev.ua
www.imwerden.de

Мы в неустанном поиске
новых имен, неизвестных авторов,
где бы они ни жили — в Киеве, Иерусалиме,
Нью-Йорке или Мюнхене, мы — перенесенный
в ментальное пространство проспект,
как бы он ни назывался в каждом городе,
где когда-то завязывались великие дружбы,
писались великие стихи,
происходили знаменательные встречи...

Ми в невпинному пошуку
нових імен, невідомих авторів,
де б вони не жили — у Києві, Єрусалимі,
Нью-Йорку чи Мюнхені, ми — перенесений
у ментальний простір проспект,
як би він не називався в кожному місті,
де колись зав'язувалися великі дружби,
писалися великі вірші,
відбувалися знаменні зустрічі.

